Глава I

МОЯ БОЛЬШАЯ СТРАНА

Контрасты России. — Логика навыворот. — Лицемерие с колыбели. — Воспитание «человекоединицы». — Кое-что из личного опыта.

I

Выходя из дома, я первым делом нюхаю мороз. Я втягиваю носом воздух, и если ноздри слипаются, значит, сегодня кусает здорово: поднимай воротник да поторапливайся. Этот верный признак я придумал сам для себя в детстве и считал собственным секретом, говорить кому-нибудь о такой ерунде было просто неловко. Но потом я узнал, что моим секретом владеют очень многие.

Я нюхаю мороз, и ноздри схватывает, как цементом, в самом начале вдоха. Но я уже и без того вижу, что сегодня наверняка под тридцать. У русского мороза есть свои краски: голубоватые тени на снегу, розовый воздух и в нем какие-то крохотные искорки — вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут. Есть и свои звуки: снег под ногами потрескивает, если не больше пятнадцати градусов; жалобно скрипит до двадцати пяти. Сегодня снег громко визжит при каждом шаге — стало быть, еще холоднее.

Прохожие в моем московском переулке идут размашисто, греются ходьбой. Рты закрыты, глаза сощурены, руки в карманах. Из магазинных дверей вырывается белый заманчивый пар. Сегодня там теснее, чем обычно: половина входящих ничего не покупает, просто оттаи-

мит с мороза, похлопывает ногой об ногу, утирает слезящиеся глаза — и с Богом, дальше.

Но вдруг я останавливаюсь как вкопанный, не дойдя до магазина. И все останавливаются, даром что мороз. Все провожают глазами одного человека.

Идет этот человек спокойно, не суетясь, по-спортивному взмахивая руками. Он уж немолод, за сорок, должно быть, но статен и прям. Вся его одежда — трусы и майка. На голове нет шапки, и твердые свои шаги печатает на снегу босыми ногами. Он явно привык к восхищенному оцепенению окружающих и не улыбается при виде какой-нибудь особенно потешной бабки, замотанной в дюжину платков и застывшей с разинутым ртом, на него глядя. Он посматривает вокруг доброжелательно и весело, без превосходства, словно говоря: «Видите, как славно, когда мороз не берет! Захотите — и вы так сумеете. Ничего особенного».

Это — Россия.

Сумасшедшее, безжалостное солнце. Оно сжигает, кипятит кровь, останавливает мысли. «Степное солнце — раскаленный чайник — на спины хлещет желтый кипяток» — сказал поэт Юрий Панкратов, когда он еще умел писать стихи. В этом уютном степном городке люди никогда не слыхали о нудизме, а то бы, наверное, все стали нудистами — при такой жаре любой повод хорош, чтобы сбросить всю одежду.

Но нет, оказывается, нудистами стали бы далеко не все. Примерно половина жителей городка — казахи, и в жаркие часы на них невыносимо даже смотреть: идет человек по самому солнышку в длинном, теплом халате и меховой шапке. Ни одна капля пота не блеснет на бронзовом лице, и выражение лица — хитровато-бесстрастное как всегда, а не глупо-измученное и отрешенное какое появляется у всех приезжих, едва столбик термометра в тени поднимается выше черты «45». По уверению местных жителей, не пить и быть плотно одетым при сильной жаре — два главных правила. Мест-

ные жители эти правила соблюдают, они не знают послеполуденной «сиесты» и при 50 градусах выше нуля, когда яйцо, зарытое в песок, становится крутым через минуту, работают свои положенные семь часов, как при всякой другой погоде.

Это тоже Россия.

По белой глади Чукотской тундры ползет собачья упряжка. Она видна с очень далекого расстояния — кроме нее просто ничего нет в поле зрения. Трое чукчей, стоящие у бревенчатого домика фактории вместе со мною, деловито обсуждают, кто бы это мог быть. Они досконально знают не только имена, но и малейшие подробности семейной жизни всех, кто обитает в радиусе 300 миль. Разглядеть человека на нартах еще совершенно невозможно, а чукчи на основании теоретических выкладок приходят к убеждению, что едет старик Хэу и что ему нужна выпивка, потому что он завтра женится. Через десять минут не кто иной, как старик Хэу красиво осаживает упряжку перед самой дверью фактории, могучим и точным движением вонзив глубоко в снег свой длинный остол. Ему 65 лет (мне кажется, что больше), на нем праздничная кухлянка и он, после обмена приветствиями, какой и не снится дипломатам в Объединенных Нациях, идет в факторию за выпивкой. Он не проявляет ни малейшего волнения, узнав, что спирта в продаже нет. Приветливо улыбнувшись, он объясняет купцу (до сих пор зовут купцами кладовщиков и продавцов на Заполярных факториях), что ему о ч е н ь надо, потому что он завтра женится. Снова купец отвечает, что нет, и Хэу снова, все так же приветливо, повторяет просьбу. Я жду, кто из них первый потеряет терпение, сорвется, нагрубит — но нет, ничего такого не происходит. Убедившись, после очередного раунда, что спирта действительно нет, старик глядит на полки с товарами. Он показывает куда-то пальцем и говорит слово, смысл которого я не улавливаю. «Купец» улыбается.

— Это пожалуйста. Сколько?

Хэу показывает ему три растопыренных пальца и получает три флакона духов «Красная Москва», Бог весть зачем привезенных сюда за 6000 миль, из самой столицы. Щедрый, однако, жених. Три флакона дорогих духов в подарок невесте!

Но это не подарок невесте. Хэу тут же, у прилавка, вынимает один флакон из ярко-красной коробки, а самую коробку с кокетливой шелковой кисточкой прячет куда-то в свои необъятные одежды. Он откупоривает пробку и степенно выпивает духи. Кашляет, любезно прощается, платит 18 рублей (20 долларов), захватывает с собой остальные две коробки и уходит, распространяя нежный запах.

И это Россия.

Через двое суток после свидания с Хэу новенькое такси «Волга» мчит меня по узкому, но хорошо асфальтированному шоссе к югу от Новосибирска. Два десятка километров машина пролетает за пятнадцать минут. Потом несколько поворотов — и из густого леса выныривает ультрасовременный отель «Золотая долина». Девять этажей, стеклянные двери, полный комфорт. Это я приехал в Академгородок, научный центр Западной Сибири. Первый камень (точнее, первое бревно) этого ныне 40-тысячного города заложили в 1955 году.

Я здесь не первый раз, я поднимаю трубку в моем теплом номере с фантастическим видом на тайгу и на здание торгового центра в стиле «модерн» и звоню друзьям. Мы назначаем свидание на половину двенадцатого ночи — так здесь принято ходить в гости. К полуночи номер наполняется великолепной публикой — «неосибиряками», как они себя называют. И дамы и мужчины в свитерах, в свободных и простых куртках, и тут совершенно бесполезно гадать, кто из них аспирант университета, а кто член-корреспондент Академии наук СССР. Возраст — не примета, ибо в Академгородке полно профессоров и даже академиков моложе трид-

цати. Многие из них — настоящие, крупные ученые; решительно все — глубокие, мыслящие, остроумные люди. Мы совсем не говорим о науке, предметы разговора — искусство, литература (особенно поэзия), музыка и внутренняя политика. Расходятся в пять.

Это опять-таки Россия.

II

Из 235 миллионов человек, населяющих Советский Союз, очень немногие могут похвастать тем, что видели свою страну по-настоящему. Больше половины советских граждан рождаются и умирают, не побывав в Москве. Примерно такой же процент людей проводит всю жизнь в Европейской части страны, ни разу не повидав Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Средней Азии. Путешествия дороги и хлопотливы — без нужды не ездит никто. А те, кто могут позволить себе ехать летом на отдых, отправляются главным образом к теплому Черному морю, в лучшем случае бегло оглядывая полоску родины, несущуюся мимо окна вагона.

Еще меньше видят, меньше узнают страну иностранные туристы, корреспонденты, дипломаты. В СССР почти 1500 городов, из них только 39 открыты для посещения иностранцами. Что до деревень, то гостей из-за рубежа пускают лишь в несколько отобранных. Правда, автомобильные туристы по дороге из Москвы в Ялту проезжают довольно много сел, но ни в одном из них нельзя даже заночевать — за этим зорко следят уполномоченные милиции, расквартированные во время туристского сезона в каждом придорожном поселке.

Судьба подарила мне редкую возможность исколесить страну вдоль и поперек. От бывшей Восточной Пруссии до Дальнего Востока. От Северного Ледовитого океана до реки Пяндж, где проходит самая южная гра-

ница СССР — граница с Афганистаном. Я ловил рыбу у Карельских водопадов и петлял по извилистым Карпатским дорогам; загорал в благословенном черноморском Сухуми, любовался огнями Тбилиси с вершины Мтацминды и пробовал 60-градусный якутский мороз. Опускался на вертолете на шаткий дощатый настил посреди Каспийского моря, где с искусственных эстакад, с так называемых «Нефтяных камней», качают поддонную нефть; прыгал с парашютом на подмосковные лесные озера и приволжские степи; часами высиживал на разных съездах и совещаниях в Кремлевских дворцах; был заключенным в концлагере, мастером на автозаводе, трактористом в колхозе, журналистом и редактором в Москве. Так сложилась жизнь, и я ей за это благодарен.

Конечно, самую большую страну мира, даже при самом лучшем с нею знакомстве, ни в какую книгу не уместишь. Как ни соблазнительно заняться, например, географическими описаниями, от них придется почти полностью отказаться. В конце концов, густые леса вроде Сибирской тайги есть и в Канаде; пустыни можно увидеть в Африке; заполярные красоты — в Гренландии; а полноводных рек, живописных гор или красивых городов много по всему свету. Очевидно, надо выбрать нечто такое, чего ни в какой Африке и ни в какой Гренландии не найдешь. Это «нечто» — жизнь людей, населяющих Союз Советских Социалистических Республик.

В повседневной нашей жизни мы придаем больше значения характеру людей, чем образу их мыслей. Добрый, веселый, щедрый, покладистый, общительный человек с резко противоположными нам идеями легко переносим, и с ним возможны самые сердечные отношения, несмотря на разницу взглядов. Напротив: человек злобный, угрюмый и лишенный чувства юмора тяжел даже для друзей, полностью разделяющих его убеждения. Вот почему, чем дольше живешь в России, тем

больше привязываешься к ее людям. Они в большинстве и добры душою, и щедры на редкость, и гостеприимны, и общительны, и с великолепным юмором. Другое впечатление остается у людей, побывавших в России с коротким визитом: они не успевают проникнуть в душу человеческую и ужасаются образу мыслей рядового русского гражданина. Я постараюсь сейчас коротко рассказать, о чем думает, как судит и мыслит о событиях мой соотечественник, но не хочу, чтобы это настроило вас враждебно; в дальнейших главах выяснятся некоторые причины «советского» образа мыслей, а пока, читая изложение этих мыслей, помните о привлекательном облике жителя России и знайте: не очень он в своих мыслях виноват.

Итак, вот что думает про себя (а не для публичных высказываний) гражданин СССР, который может быть и токарем, и колхозником, и чиновником, и инженером, и артистом, и продавцом в магазине.

«Я живу в необычной стране, где создается совершенно новое общество — коммунизм. Пятьдесят лет назад рабочие, крестьяне и солдаты под руководством Ленина совершили революцию, и это было справедливо, потому что были уничтожены капиталисты и установилась советская власть. Революция была неизбежна: ведь Карл Маркс открыл единственно правильный закон развития человечества: первобытно-общинный строй — рабовладельческий строй — феодализм — капитализм — социализм — коммунизм. Так что деваться некуда, и мы волею судьбы оказались во главе поступательного движения истории — первыми перешли от капитализма к социализму.

За пятьдесят лет мы сделали громадные достижения: построили тысячи заводов, запускаем в космос спутники, владеем атомными и водородными бомбами, стали страной сплошной грамотности, имеем бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, соци-

альное обеспечение в старости. Угнетенные люди всего мира смотрят на нас с надеждой.

Правда, жизнь у нас тяжелая и скучная. Зарплаты никогда не хватает, живем тесно, еды в обрез, одежда дорогая и достать хорошие заграничные вещи трудно. Но теперь вот проходит экономическая реформа, новая власть занимается повышением жизненного уровня, так что должно стать полегче. Ну и, понятно, на оборону много денег уходит: капиталисты ведут гонку вооружений, приходится и нам вооружаться, хотя мы целиком за мир. Отстанем — сразу нападут и завоюют. А тогда пропало дело — реставрируют капитализм, заводы, фабрики и землю опять захватят миллионеры и будет как до революции.

Жаль только — не везет России с руководителями. После смерти Ленина власть захватил Сталин, от него и пошло. Он, конечно, хотел хорошего — превратить страну из аграрной в индустриальную, ликвидировать кулаков-богатеев в деревне и коллективизировать сельское хозяйство. Но делал это жестокими методами — не русский ведь человек был, грузин, восточный деспот. А в последние годы жизни, говорят, был совсем сумасшедшим — понятно, чего уж хорошего от него ждать.

Но только и Хрущев толстопузый был ничуть не лучше. Арестовывал он поменьше, казнил совсем мало — это да. Но Сталин хоть цены снижал раз в год, а при Хрущеве они только поднимались. И потом, зачем ему нужно было весь этот цирк устраивать с разоблачением Сталина на двадцатом и на двадцать втором съездах? Хотел ликвидировать культ личности — ну и ликвидируй потихоньку, а то крик на весь мир. Популярности добивался, хотел место Сталина занять в истории, но куда ему до Сталина: труба пониже и дым пожиже! Скопырнули его в конце концов и правильно сделали, а то бы он совсем развалил сельское хозяйство своими фокусами — то с кукурузой, то с освоением целины, то с отнятием коров у колхозников.

Посмотрим, что теперь Брежнев с Косыгиным и Подгорным сделают. Они все к чему-то готовятся, широких обещаний не дают, языком зря не болтают, как Хрущев. Может, это и хорошо. Пока легче жить не становится, но ведь и хуже не делается — у нас на Руси и это благо.

В газетах, конечно, по-прежнему много врут, иногда читать противно. Только иначе-то трудно: буржуазная пропаганда любые наши недостатки и трудности раздувает. Напишешь, что рабочие бедно живут — они там за границей сразу: ага! Вот вам, дескать, научный социализм, сами пишут, что жизнь тяжелая. И это нанесет удар международному коммунистическому движению. Зарубежным коммунистам и так очень трудно работать — разоблачение Сталина им сильно повредило, венгерская контрреволюция еще неприятностей подбавила, Мао Цзэ-дун проклятый их раскалывает, Чехословакия подоспела, — а тут еще мы будем в своей печати плохое про нас самих писать? Нет уж, мы лучше о наших недостатках помолчим, постараемся с ними тихо справиться, без шума. А об успехах, если правда, надо говорить громко, это привлекает к нам всех рабочих и крестьян в других странах.

Последнее время много идет разговоров и анекдотов всяких о нашей и ихней жизни. По радио тоже слышно — и Би-Би-Си, и «Голос Америки», и «Свобода», когда прорвется, — что в свободном мире жизнь, мол, лучше. Говорят, в Америке — так там даже рабочие ездят на собственных машинах и все живут в отдельных квартирах, а коммунальных квартир совсем нет. Если не врут, то это странно: у нас все-таки социализм, рабочему человеку должно быть легче, там ведь его капиталисты эксплуатируют. Да, тут призадумаешься — молодежь такие вещи теперь говорит, что раньше за это бы... знаете куда? Но, с другой стороны, надо помнить, что капитализм ведет против нас бешеную пропаганду и идеологическую диверсию. Хотят соблазнить нас

тряпками, сытым брюхом, мещанским благополучием и под шумок повернуть колесо истории вспять. Смешно, на что они рассчитывают? Вот эти наши молодые ребята — кричат, кричат, иногда пропаганду «Голоса Америки» повторяют, а спроси их: чего вы хотите, чего добиваетесь? Не ответят. Мы, мол, за свободу слова, за свободу печати, против диктатуры. Хорошо, а какая свобода вам мерещится — буржуазная? Это что же значит: пустить к нам капиталистов, заводы наши им продать с молотка, частные лавочки открыть? Чудаки! Конечно, плохо живем и несправедливости много и света не видим — но ведь неизбежный исторический этап, железные законы марксизма. Вы что, голубчики, против марксизма? В общем не против? То-то же! С такими разговорчиками докатитесь до прямой контрреволюции и попадете, куда эти два подпольных писателя попали — Синявский и Даниэль. Подумайте только, клевету на родную страну писали и за границу продавали. Ведь это же надо потерять последние остатки совести и патриотизма! То-то буржуазные пропагандисты из себя выходили, когда Верховный суд приговорил этих писателей к лагерям. Подумаешь, дали им семь да пять лет — при Сталине их бы без всякого суда в два счета к стенке поставили. Об этом Михаил Шолохов так открыто и сказал на съезде партии.

Нет, теперь всякому видно — не сталинские времена, дышать легче. Вот только одна беда: наверху руководители сменились, а внизу те же самые живоглоты сидят. Взять хоть нашего директора. Собака собакой, чтобы план выполнить и свою жирную премию заработать, три шкуры с людей спускает. Кричит: «военный заказ, для арабских друзей работаем, голову снесу за невыполнение!» Кому они нужны, эти друзья-то арабские? Качаем да качаем наши миллионы в этот Египет, да в Сирию, да в Алжир, — а толку нисколько. Вот, всыпали им по первое число, несмотря на советское оружие, на нашу заводскую продукцию. И кто всыпал-то —

евреи, которых там в Израиле всего-ничего, два миллиона с лишним. Это как с китайцами: десять лет их поили-кормили, сами голодные сидели, и заводы им, и оружие, и машины, и что хотите. А потом они против нас же и обернулись. Теперь говорят «клика Мао Цзэ-дуна». Завтра может быть «клика Насера» или «клика Кастро» — и плакали денежки.

Хотя, конечно, начальству виднее. Оно больше нас знает. Нам только и известно, про что в газетах пишут. Созвали на митинг против Израиля — мы и идем, поднимаем руки. Не с нашим образованием соваться в большую политику. Да если и не согласен с чем — разве проголосуешь против? Никогда. Это что ж, значит, все за, а ты один против? Глупо, только беду на себя накличешь. А если заранее сговориться с друзьями — давайте, мол, на ближайшем митинге «против» проголосуем, — так это уже будет организация. И не какая-нибудь, а контрреволюционная. Против к о г о голосовать? Против партийного решения — ведь оно принято раньше, чем нас спросили. Значит, против советской власти, против правительства. А за такое дело и сегодня поедешь в дальние края, если не хуже.

Нет, напрасно кричат все эти мальчишки насчет свободы. На что мне ихняя свобода — с хлебом не съешь, в карман не положишь и шубу из нее не сошьешь. Вот, даст Бог, пятилетку выполним да урожаи хорошие пойдут — тогда, может быть, строительство побыстрее двинется и я получу, наконец, квартиру. Лет уж десять обещают, а достаются квартиры все больше начальникам. И начальников этих до того много, что до простого жителя никак очередь не дойдет. Жаль, погорячился я тут недавно при распределении квартир, сказал им в глаза, что все квартиры начальство себе грабастает. Теперь они на меня зуб имеют — будут тянуть, пока я тут сдохну в своей одной комнате со всей семьей да с нашими извергами-соседями. Надо будет пойти в завком, спрятать гордость свою подальше, да поговорить

с кем надо по-хорошему, водочки, что ли, бутылку поставить — может, дадут, наконец, пожить по-человечески.

Интересно, доживу ли я до коммунизма — хоть поглядеть, как это будет: все без денег, всем по потребности. Сколько раз его уж обещали, коммунизм этот, да все откладывают. В последней программе партии, в 1961 году, прямо написали: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». А сейчас что-то убрали эти слова со всех плакатов. Так и помрешь, не повидав коммунизма, — обидно».

Пожалуйста, не думайте, будто я написал сейчас пародию или привел мысли какого-нибудь тупицы. Отнюдь нет! Изложение таких мыслей в различных вариантах я слышал сотни раз от самых разных людей, говоривших со мною откровенно — как с доверенным человеком, а не как с журналистом. Среди этих людей были весьма образованные, даже интеллигентные, и когда я осмеливался указать им на полное отсутствие логики в их рассуждениях, они искренне удивлялись. Они тут же заявляли, что их позиция отличается от «газетной», что они ведь смело критикуют и плохие условия жизни и даже международную политику. И, глядя на меня подозрительно, спрашивали: ведь в главном-то я разделяю их убеждения? Не хочу же я сказать, что надо возвращаться к капитализму? И если я давал недостаточно определенный, уклончивый ответ на эти вопросы, собеседник немедленно прекращал разговор и чаще всего испуганно уходил. Иные говорили: «Ну, если для вас нет вообще ничего святого, тогда мы не столкуемся». Или: «О таких вещах я и говорить не хочу».

Убеждение в незыблемости, в некоей высшей справедливости основ существующего в России строя сидит в людях очень глубоко. Сидит, вопреки любой очевидности. Чтобы подтвердить это важнейшее обстоятельство, я приведу отрывок из статьи самого Андрея Синяв-

ского — человека, которого меньше всех можно обвинять в приверженности к русской диктатуре. За честную и суровую критику этой диктатуры писатель Андрей Синявский пошел на семь лет в лагерь, он истинный борец, умный и высоко талантливый человек. Ему принадлежат знаменитые слова, звучащие приговором всей советской системе: «Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали».

Это я цитировал статью А. Д. Синявского «Что такое социалистический реализм». Предельно ясно, точно, убедительно. Позиция автора не вызывает никаких сомнений, не правда ли? Но вот что написал Андрей Синявский в т о й ж е с т а т ь е, когда его перо логически дошло до самых основ системы:

«Стоит мне произнести «советская власть», как я тут же представляю себе революцию — взятие Зимнего, тарахтенье пулеметных тачанок, осьмушку хлеба, оборону красного Питера — и мне становится противно говорить о ней непочтительно. Рассуждая строго логически, «советская власть» и «социалистическое государство» — это одно и то же. Но эмоционально — это совсем разные вещи. Если против социалистического государства у меня что-то есть (самые пустяки!), то против советской власти я абсолютно ничего не имею. Это смешно? Может быть. Но это и есть романтизм».

Андрей Синявский не предназначал эту статью для публикации на родине, он переслал ее за границу, где она была напечатана под псевдонимом «Абрам Терц». Стало быть, он не кривил душою и не подделывался под требования внутренней пропаганды. Он был вполне искренен, будьте уверены. Он вполне искренне допустил поразительную непоследовательность, прямой ало-

гизм. Допустил, потому что, выросший и воспитанный в послереволюционной России, он так думал, так чувствовал. Замечу в скобках, что последней цитатой из статьи Синявского изо всех сил пользовался на суде его адвокат. Но советская власть не умилилась теплым к ней отношением со стороны подсудимого. Прокурор огласил первую из двух приведенных мною цитат, и писателя приговорили к лишению свободы сроком на семь лет в «исправительно-трудовом» лагере. Его послали на каторгу, которую он себе напророчил.

Замечательно, что сам автор понимал, чувствовал логический порок своей статьи. Перо запнулось, он написал: «Это смешно? Может быть. Но это и есть романтизм».

То, что А. Синявский назвал в себе романтизмом, на самом деле имеет мало общего с какой бы то ни было романтикой. Что это такое на самом деле — попытаюсь объяснить в конце книги, когда у нас в распоряжении будет больше фактов и сведений о повседневной жизни русского общества. А здесь скажу лишь, что если уж такой человек как Синявский оказался непоследователен в оценках и усматривал некую высшую справедливость в революции, в советской власти — то чего же требовать от менее одаренных мыслителей, каковыми являются 95 процентов всех граждан Советского Союза?

Работая над моей книгой, я показал эти страницы английскому коллеге, крупнейшему знатоку России и такому же, как я, горячему поклоннику таланта Андрея Синявского. Англичанин был поражен и попытался объяснить так: статья «Что такое социалистический реализм» написана в 1956 году. Может быть, тогда, всего через три года после смерти Сталина, Синявский еще не обрел способность мыслить строго логически, он, как и вся Россия, не оправился тогда от дурмана сталинщины. Сегодня он не написал бы второго отрывка.

Что ж, может быть. Тем более, что с е г о д н я , когда шел наш разговор, Андрей Синявский находился на

каторге, а там многие пересматривают свои жизненные позиции. Я имею право так писать, сохраняя полную почтительность к Синявскому: я сам пробыл в «исправительно-трудовом» лагере пять с половиной лет, с 1947 по 1953 год, и это, поверьте, были годы основательных размышлений.

Историки, исследующие итальянский и германский фашизм, до сих пор пытаются дать исчерпывающее объяснение тому факту, что режимы Муссолини и Гитлера пользовались поддержкой широких народных масс и практически не имели дела ни с каким сопротивлением, ни с каким подпольем внутри своих стран. Одна из версий, на мой взгляд, самая правдоподобная, заключалась в том, что фашизм говорил обывателю: ешь и молчи. И итальянцы и, особенно, немцы жили во время фашизма довольно сытно и благополучно. Это объяснение не подходит, однако, к коммунистическим режимам — в частности, к русскому. Вместо «ешь и молчи» коммунистическая диктатура требует: «ешь поменьше и кричи ура». И, как видите, народ подчиняется целых пятьдесят лет. Некое подобие «ура» прокричал, пусть сквозь зубы, даже Андрей Синявский. Тут никаким простым объяснением не отделаешься, тут надо исследовать, и чем глубже, тем лучше.

Цель этой книги — скорее показывать, чем исследовать, но ведь точное знание фактов необходимо в первую очередь на любом уровне изучения предмета. Я покажу сейчас тот механизм, который формирует изложенное выше мировоззрение советского гражданина.

III

Старинная русская поговорка гласит: воспитывай младенца пока он поперек лавки лежит; а как вдоль лавки ляжет, так уж поздно будет. Изречение сильно

отдает фрейдизмом, но, хотя учение Фрейда яростно отвергается в СССР, весь воспитательный аппарат действует в соответствии с этой «народной мудростью».

Подавляющее большинство русских женщин работает наравне с мужьями — иначе невозможно прокормить даже небольшую семью. Работают и беременные — им предоставляют оплаченный отпуск лишь на восьмом месяце (до недавнего времени давали только на девятом). И через два месяца после рождения ребенка женщине снова перестают платить: хочешь — возвращайся на рабочее место, не хочешь — можешь продлить отпуск до года, но уж за свой собственный счет. Последней возможностью пользуются очень немногие, жить-то не на что.

В результате всего этого миллионы младенцев в самом нежном возрасте попадают в так называемые ясли. Учреждения с этим библейским именем, содержащие детей от двух месяцев до трех лет, широко распространены в стране. Мать утром кормит ребенка грудью и относит перед работой в ясли где-нибудь недалеко от ее завода или конторы; четыре часа спустя она получает право уйти на час с работы для нового кормления ребенка; а те, у кого много молока, сцеживают его в бутылочку и оставляют в яслях для своего малыша. Впрочем, свой законный час кормления они все равно берут, используя его для покупок или других семейно-хозяйственных дел, которых всегда так много у русской женщины. По дороге домой, после окончания трудового дня, женщины или их мужья забирают младенцев домой до следующего утра. Когда период кормления грудью оканчивается, наступает некоторое облегчение: мать может не посещать ясли целый рабочий день.

Начиная со второго года жизни, малышей в яслях учат говорить, а кое-где петь и танцевать; специальные воспитатели играют с ними в игры, разработанные сектором дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР. И когда ребенка в трехлетнем возра-

сте «выпускают» из яслей, он уже весьма политически грамотен. Он знает массу умильных историй про «дедушку Ленина, который был самым лучшим человеком на свете» (раньше знал и про «великого дядю Сталина»); он знает, что «раньше у нас в стране правил плохой и злой царь, а потом рабочие и крестьяне его свергли и стали управлять сами»; что «самые лучшие, самые умные люди у нас в стране входят в коммунистическую партию и они называются коммунистами»; и даже что «за океаном, в Америке, сидят проклятые буржуи, которые хотят убить всех коммунистов и вернуть на прежнее место царя». Это, так сказать, лишь азы политграмоты. Трехлетние малыши обычно осведомлены и побольше. Они в курсе дела насчет непобедимой и храброй Советской армии, насчет славных пограничников, которые день и ночь сторожат нашу землю, не пуская на нее врагов, и так далее.

С самого невинного возраста малыша учат не только любить, но и ненавидеть. Даже так: не столько любить, сколько ненавидеть. Злобные враги, отвратительные и коварные буржуи-капиталисты занимают важное место во многих советских сказках для маленьких детей. На картинках этих буржуев изображают толстыми, страшными, с оскаленными зубами. Попробуйте убедить трехлетнего малыша, что дело обстоит не совсем так! У вас ничего не выйдет: детская душа чиста и прямолинейна, она не принимает раздвоения. И если вы покуситесь на авторитет воспитательницы из яслей, начнете по вечерам учить маленького чему-нибудь другому, то ребенок занервничает и может вас, родителей, даже возненавидеть. Большинство отцов и матерей не делает поэтому никаких попыток полемизировать с ясельной «политграмотой», и первичные абсурдные представления утверждаются в человеке исключительно прочно.

С трех до семи лет маленький советский гражданин посещает следующее воспитательное учреждение —

— детский сад. Мест в детских садах Советского Союза гораздо больше, чем в яслях. Плата за пребывание в детском саду очень невысока — в среднем около 10 долларов в месяц, включая питание и, конечно, воспитание.

За четыре года, проведенных в детском саду, ребенок познает многое. Он, например, замечает несоответствие между рассказами о счастливом детстве в Советском Союзе (ежедневный репертуар воспитательниц) и собственной жизнью в семье. Он постигает неравенство между людьми, даже между детьми в группе детского сада. И в первые год-полтора задает головокружительные вопросы как родителям, так и воспитателям. У моего четырехлетнего сына его «коллега» по детскому саду деловито спросил:

— Скажи, Митя, а твой папа, когда пьяный приходит, маму бьет или нет?

Митя ответил, что его папа никогда пьяный не приходит. И был бит сверстником за явную ложь. «Как это пьяный не приходит? У всех папы приходят домой пьяные».

Воспитательницы детских садов — женщины закаленные, они привыкли ничему не удивляться. Они умеют «идеологически выдержанно» ответить на любой дикий вопрос из социальной, религиозной или национальной области. Если они видят, что какой-нибудь малыш задает слишком уж рискованные вопросы, следует предупреждение родителям: воздержитесь от опасных разговоров при ребенке. Родители воздерживаются.

В результате у маленького гражданина постепенно выковывается очень важная в советском обществе черта — понимание, о чем можно спрашивать и вообще упоминать, а о чем нельзя. Типичное оруэлловское двоемыслие, основанное на инстинкте самосохранения. Много позже, если ребенок станет партийным работником или журналистом, про него скажут, что у него хорошее политическое чутье — это в Советском Союзе звучит похвалой, без всякого оттенка иронии. Если же он не

станет, как принято говорить в России, «работником идеологического фронта», то чутье, развитое в детском саду, поможет ему прожить жизнь без неприятностей — где надо смолчать, где надо прокричать «ура», а где надо — даже критически высказаться (ведь критика недостатков, если она «конструктивна» и лежит в определенных пределах, поощряется партией).

Однако не только это качество развивается в детском саду. Персонал прилагает громадные усилия, чтобы воспитать в детях так называемое чувство коллективизма. Под этим понимается только одно: безусловное подчинение меньшинства большинству, а всех в целом — одному руководителю. «Все едят кашу, а ты не ешь — стыдно!» «Все поют про красный флаг, а ты не поешь — ты что же, против всех?» Самый большой грех в детском саду — чем-нибудь выделяться, чем-нибудь отличаться от остальных. Воспитатели легко добиваются, что таких детей дразнят, травят, даже бьют. И это действует исключительно сильно. Дети очень заботятся о том, чтобы «быть как все»; если мать утром предложит малышу надеть какую-нибудь обновку, с его точки зрения экстравагантную, — он откажется: «меня дразнить будут». С другой стороны, у детишек появляется особая «коллективная ревность», они высматривают индивидуальные особенности у сверстников и стараются в меру сил их подавить — поднять «индивидуалиста» на смех, побить, а то и нажаловаться на него воспитателю.

Этот «коллективизм» тоже остающийся в человеке на всю жизнь, очень сродни консерватизму — недаром ведь в отношении одежды или соблюдения так называемых «внешних приличий» русские — самая консервативная нация в мире. Совсем еще недавно, лет пять назад, комсомольские патрули буквально вылавливали на улицах молодых людей в узких брюках, в рубашках навыпуск или в темных очках(?). В курортных городах, главным образом в Сочи и Ялте, милиция арестовывала

и штрафовала мужчин в шортах, а женщин с чрезмерным декольте. Помню, как летом 1961 года работник Запорожского горкома комсомола (на Украине) с энтузиазмом рассказывал мне о принятых там мерах против «стиляг» (так он называл нестандартно одетых юношей и девушек):

— Наши патрули ловят этих узкобрючников, затаскивают в ближайший подъезд и режут ножницами одну штанину. Здорово действует!

Сейчас узкие брюки, а летом рубашки навыпуск — почти норма. Но идет борьба с длинными волосами у юношей и с короткими юбками у девушек. Через три-четыре года смирятся и с этим — начнут бороться против чего-нибудь другого, против очередного «тлетворного влияния Запада».

С первого взгляда все эти консервативные «перегибы» не кажутся чем-то серьезным. Они выглядят откровенно глупо, да и проходят с течением времени. На деле, однако, мы встречаемся здесь с проявлением того же «коллективизма», воспитываемого с самых ранних лет. Мысль, что коллектив может и даже должен вмешиваться в частную жизнь каждого, кто в чем-то отклоняется от стандарта, звучит в Советском Союзе аксиомой. Сомнения в правильности этой аксиомы только-только начинают зарождаться — да и то главным образом в кругах интеллигенции.

Параллельно с этим, как логическое следствие, развивается в маленьких людях и нетерпимость ко всему странному, необычному, не такому как у всех. «Непривычно — значит плохо» — вот железная формула советской нетерпимости. Человек, воспитанный «по всем правилам» в Советском Союзе, не умеет давать самостоятельную оценку новым для него явлениям. И в малом (ширина брюк) и в большом (марксистская философия, например) он решительно избирает «единственно правильный» курс, не далая реальных сопоставлений. И когда сама жизнь, очевидные факты

сталкивают его с «единственно правильной» точки зрения, он теряется, злится, старается опровергнуть факты или просто не замечать их. Нелегко в зрелом возрасте менять весь образ мыслей, если и «единственно правильные» концепции на все случаи жизни и нетерпимость ко всяким иным концепциям ты впитал буквально с молоком матери!

Так что влияние детского сада на формирование человека, как видите, огромно. В человеке развиваются черты, жизненно необходимые власти, режиму. Кроме того, существование широкой и все растущей сети яслей и детских садов преподносится народу как трогательная забота партии о подрастающем поколении да и о родителях одновременно. И сегодня в России почти никто не сомневается в нужности, полезности, даже неизбежности этой воспитательной сети. Если слышатся иногда жалобы, то они носят частный характер: в таком-то районе не хватает мест в яслях и детских садах, в таком-то детском саду плохо кормят, в таких-то яслях дети часто болеют. О возможности освободить женщин-матерей от необходимости работать, хотя бы в первые три года жизни ребенка, никто и не заикается — ведь для этого пришлось бы резко поднять заработок мужчин или не менее резко снизить цены, а такие предложения звучат чистой утопией.

Поэтому советская пропаганда очень заботится об идеологическом обосновании женского труда. Пропагандисты опираются здесь на идею женского равноправия и достигают неплохих для себя результатов. Женщина-домохозяйка (несколько миллионов таких есть в стране) рассматривается как неудачница, как отсталая личность, навек привязавшая себя к плите и корыту. О том, как привязаны к плите и корыту работающие женщины, как выбиваются они из сил и в 35 лет становятся старухами, пропаганда, естественно, умалчивает. И до сих пор женский труд в СССР рассматривается самими женщинами не как экономическая

необходимость, а как результат стремления стать вровень с мужем, быть независимыми. Некоторые хорошо зарабатывающие мужья предлагают женам оставить работу и встречают отпор: как это так, ты хочешь сделать меня служанкой?

Социологических исследований в этой области в СССР не существует, и население пока не отдает себе отчета, как разрушительно действует «равноправие» не только на женщину, но и на семью в целом. Работающая жена, вечно усталая, замученная, при всем желании не может дать мужу достаточно любви и комфорта. И муж ищет — и легко находит — другую женщину. Число семейных трагедий такого рода в Советском Союзе колоссально, оно намного больше числа разводов. А если семья существует лишь формально (часто ради детей), то жизнь такой семьи становится истинным адом. Ссоры между супругами, грязные скандалы происходят, как правило, на глазах детей, потому что дети в СССР вообще не имеют отдельных комнат. Легко представить себе моральные комплексы несчастных малышей, растущих в такой обстановке. По-иному, но тоже плохо, чувствуют себя дети, пережившие развод супругов, когда мама и папа вдруг становятся враждующими сторонами и между ними непонятным для маленького образом нарушается естественное единство. Мои родители развелись, когда мне было восемь лет — я хорошо помню, что это для меня значило.

Все эти переживания, все свое горе дети, понятно, несут в детский сад. Но воспитательницы, часто по натуре добрые и любящие детей, мало чем могут помочь в таких ситуациях. Коммунистическое вероучение похоже на религию во всем, кроме одного, — оно не дает духовного утешения.

Зато другие дети, не испытавшие дома таких катастроф, детально узна́ют о них в детском саду. Если у них, по счастью, родители живут дружно, отец не пьет, сквернословия не слышно, то все равно они всегда в

курсе дела насчет пьянства, семейных скандалов, измен, разводов и прочего. И благополучие в собственной семье не спасает моральные устои малышей от катастрофического расшатывания. Ребенок слышит каждый день, что у одного папа пьянствует и избивает маму, у другого папы нет, а мама приводит по вечерам пьяных дядей, у третьего папу за что-то арестовали, у четвертого дома не умолкают грязные ругательства и так далее. Он начинает считать подобные события нормой жизни, и этому влиянию ничто практически не противодействует — ведь о Десяти Заповедях ребенок не имеет понятия.

Вот такими приходят эти семилетние малыши из детских садов в школы — уже умудренными жизнью, знающими ее многие темные стороны, приученными говорить на людях одно, а думать другое, и считающими всех людей вокруг подозрительными и опасными. За всем этим в них живет прочное убеждение в «единственной правильности» того порядка, в котором они растут. В них уже сильны консерватизм и бездумная неприимость ко всему непривычному. Такие дети, как правило, легко и быстро осваиваются в школьной обстановке.

IV

В первом классе общеобразовательной школы (обязательной для всех детей в СССР от 7 до 14 лет) встречаются два типа маленьких граждан: те, что пришли из детских садов, и те, которые воспитывались дома. Первые доминируют в классе.

Учителя начальной школы охотно признают, что «домашние» дети, как правило, более интеллектуальны, лучше воспитаны внешне, более вежливы и ласковы. Но те же учителя гораздо больше любят «детсадовских» учеников. С ними педагогу неизмеримо легче.

Ребенок из детского сада не так капризен, не так

требователен, не так чувствителен, как воспитанный дома. Он осознает себя не столько как личность, индивидуальность, сколько как член коллектива. Он привык спокойно реагировать на мелкие обиды и умеет постоять за себя, пустить, если надо, в ход кулаки, а потом свалить вину на другого. Он уже знает, что понятие «справедливость» относительно, что важно вовремя сказать нужное слово.

А педагог в первую очередь озабочен тем, чтобы «создать в классе коллектив» (это официальный термин советской педагогики). Дети из детсада помогают «создавать коллектив», а домашние мешают. Учитель вовсе не хочет подавлять или дискриминировать кого-либо в классе, но это получается само собою, ибо всякое проявление индивидуальности идет вразрез с намерением и долгом учителя. Кроме того, пришедшие из детского сада всегда подчиняют себе остальных. Если это делается иногда с присущей детям жестокостью, учитель воспринимает жестокость как неизбежное зло. Он ведь сам коллективист, сам так воспитан и ни за что против большинства не пойдет. А если придет к нему мать «домашнего» ребенка с жалобой, что малыш горько плачет дома и не желает идти в школу по утрам, учитель знает, что сказать:

— Видите ли, ваш ребенок не привык к коллективу. Он у вас немножко индивидуалист. Чем скорее он это в себе переборет, тем лучше. У нас дети хорошие и в конце концов он с ними подружится, но первое время и ему трудно и им с ним трудно. Отсюда взаимные обиды. Вы не беспокойтесь, я посмотрю, чтобы его не обижали, а вы, со своей стороны, внушайте ему, что жаловаться на коллектив нехорошо, что коллектив всегда прав, и надо к нему приспособиться.

Родители вздыхают, но ничего ужасного в таких доводах не видят. С течением времени ребенок, действительно, перестает жаловаться на школу, он приспосаб-

ливается тем или иным путем: либо усваивает черты «полноценного члена коллектива», либо замыкается в себе, и тогда его рано или поздно оставляют в покое.

А политическое воспитание идет своим чередом. Из восьмидесяти страниц русского букваря — книги с картинками для первого класса — шестьдесят три посвящены либо Ленину, либо революции, партии, Кремлю, советской армии и так далее. На эти темы в букваре и короткие рассказы, и картинки и стихи, которые дети должны учить наизусть.

Учебный год начинается с 1 сентября и почти сразу же учитель начинает готовить детей к празднику 7 ноября — очередной годовщины революции. Каждому дается стихотворение или песенка на политическую тему: выучить и исполнить на праздничном утреннике, который состоится в школе. Еще не умея читать, маленькие заучивают эти пропагандистские стишки и песенки «с голоса». В этом, как правило, им помогают родители, читающие стишки детям дома. Отказаться помогать ребенку в выучивании бездарного вздора — невозможно. Ему нельзя объяснить, почему это вздор, а то он придет в школу и передаст объяснения учителю, после чего у родителей могут начаться весьма серьезные неприятности. Нельзя и просто отказать — будет глубокая детская обида. Как же так, все папы и мамы помогают своим детям готовиться к празднику, а мои родители не хотят!

В общем, никто не отказывает, и на утреннике принаряженные детишки мило лепечут рифмованную пропаганду. Родители, сидящие тут же, тают от гордости за своих способных деток, пропуская мимо ушей содержание того, что они декламируют и поют — ну кто же, в самом деле, принимает всерьез всякую детскую чепуху! Но сами исполнители принимают вирши о «мудром Ленине», о «партии, которая дала нам счастливое детство» совершенно серьезно. Они все больше этим пропитываются.

Такая обработка — с постепенным изменением методов — идет как минимум семь лет, а большей частью десять, потому что все больше и больше людей в Советском Союзе получают не семилетнее, а так называемое «полное среднее», десятилетнее образование. По ходу учебы в школе ребенок неминуемо становится членом политических организаций — в восемь лет его торжественно принимают в «октябрята», в десять — еще более торжественно — в пионеры, причем в этот момент он дает так называемое «торжественное обещание», своего рода присягу на верность партии, перед застывшими в строю товарищами.

В четырнадцатилетнем возрасте школьник получает возможность вступить в комсомол — коммунистический союз молодежи. Это важная организация: в свое время Шелепин, а потом Семичастный стали шефами тайной полиции — КГБ СССР — после того, как поработали известный период секретарями ЦК комсомола. Число желающих вступить в комсомол в последние годы сильно убывает, но и теперь около половины всех школьников становятся комсомольцами.

Октябрята, пионеры и комсомольцы проходят в этих своих организациях практический курс еще одной важной в России науки, которую я назвал бы «иерархизмом». Дело в том, что во всех детских политических организациях есть выборные «вожди», «начальники», которым остальные обязаны подчиняться. Их выбирают по всем правилам коммунистической внутрипартийной демократии, то есть формально за них голосуют (и даже против можно голосовать), а фактически избранными всегда оказываются те, кого «рекомендуют сверху». Так у одних закладываются основы карьеризма, другие приучаются беспрекословно подчиняться, и все вместе образуют первичную иерархию. Они привыкают к иерархизму и, попав после школы в строго расслоенное советское общество, не ощущают его бремени. Понятия коллективизма, то есть подчинения меньшинства боль-

шинству, и иерархизма, то есть подчинения большинства ничтожному меньшинству, не вступают в противоречие в их сознании, хотя это главное противоречие «социалистического» общества в СССР бросается в глаза каждому стороннему наблюдателю на третий день пребывания в стране.

Политическая обработка человека отнюдь не заканчивается с окончанием школы — она продолжается всю его сознательную жизнь. Начать с того, что человек читает газеты и журналы, ходит в театры и кино, слушает радио и смотрит телепередачи. А по выражению Сталина, до сих пор нисколько не утратившему силы, «печать — самое острое, самое сильное оружие нашей партии». Печать, радио, кино, телевидение, определенного сорта литература — надежно ведомые отделом пропаганды ЦК партии и не менее надежно контролируемые цензурой — каждый день вбивают в головы взрослых все то же, что преподносят малюткам в яслях — обожествление Ленина, самовосхваление партии, консерватизм, патриотизм, нетерпимость к инакомыслящим, ненависть к Западу, веру в некий будущий коммунистический рай. Как это конкретно делается — я надеюсь показать в главе VI, а здесь отмечу лишь, что этот способ идеологической обработки — не единственный. Есть и другие.

Где бы человек ни работал, он всегда состоит под присмотром местной партийной организации. Даже если он не член партии, его следует «воспитывать». Так и говорят — «воспитывать», хотя воспитуемому может быть за пятьдесят и он может носить звание профессора. Для такого воспитания повсеместно организуются кружки и семинары по изучению, главным образом, истории КПСС или марксистской философии (никакая другая философия изучению не подлежит). «Сеть партийного просвещения», как собирательно именуются все эти кружки и семинары, работает с октября по июнь ежегодно, наподобие одного исполинского учебного заведения, раскинувшегося на всю страну. В каждом учреж-

дении, заводском цехе, научной лаборатории, в ресторане, на киностудии, в таксомоторном парке, в колхозе — словом, везде — один день в неделю называется днем политучебы. В этот день люди остаются после работы на час, а то и на два, чтобы усваивать партийную премудрость под руководством пропагандистов.

Тут надо сказать, что политучебу не любит решительно никто. Всем она до смерти надоела. Если представляется случай, предлог пропустить занятие, улизнуть по уважительной причине — все делают это с радостью, в том числе и члены КПСС. Но открыто отказаться от занятий — дело совсем другое. На это пока решаются редкие единицы. «Отказчик от политучебы» это опасный ярлык. Партийная организация будет мстить такому изо всех своих немалых сил: его в должности не повысят, и премии к случаю не дадут, и путевки в дом отдыха ему не достанется. Нечего уж и говорить, что ему навсегда отрезан путь за границу — даже в Восточную Европу. Кому же хочется попасть в подобную опалу? Да и ради чего? Не проще ли посидеть смирно в день политучебы часок-другой, порисовать чертиков, слушая в сотый раз о борьбе Ленина с меньшевиками?

Однако и регулярную политучебу власти считают не совсем достаточным средством повседневного «воспитания». Кроме нее, по всей стране ведется так называемое «изучение текущих партийных документов». Так, например, за три месяца до 50-летия Октябрьской революции отдел пропаганды ЦК издал громаднейший и невероятно скучный документ длиной в 25 000 слов — так называемые «Тезисы ЦК КПСС о 50-летии Октября». И вот эти тезисы три месяца подряд «изучали», то есть читали вслух во всех учреждениях, на всех предприятиях. А газеты с серьезным видом сообщали, что «сталевары Магнитогорского металлургического комбината с энтузиазмом изучают программный исторический документ — Тезисы ЦК КПСС» или «животноводы

колхоза «Красный Луч» с большим волнением приступили к изучению партийных Тезисов». Этих газетных сообщений никто, абсолютно никто, кроме корректоров, не читает, но никто и не приходит в ярость, каждодневно наталкиваясь на них в газетах. Так надо, к этому привыкли. Пропаганда к празднику. Все нормально.

Вот в этом нормальном восприятии абсолютно ненормальных вещей — главная беда моего соотечественника. Беда, но не вина: как ему вырваться за пределы своего рабского мировоззрения, если это мировоззрение вдалбливается в него чуть ли не с рождения, если вся окружающая жизнь идет по таким «нормам», если он отрезан от общения с миром и если основные его заботы сосредоточены на хлебе насущном.

Удивляться надо скорее обратному: как в такой стране, где человека ведут на партийном поводке от яслей до могилы, развивается свободомыслие? А оно развивается, и день ото дня все шире.

V

После того, как я попросил политического убежища в Великобритании, мне пришлось десятки раз слышать один и тот же вопрос:

— Скажите откровенно, почему вы все-таки это сделали? Ну да, политические убеждения, несогласие с режимом диктатуры — все это так. Но конкретно, конкретно? Может быть, на вас были гонения? Или вы жили в нужде? Или причины семейного свойства? Что дало толчок к вашему отчаянному шагу?

Люди, задававшие вопросы, вполне искренне считали, что политическая обстановка в стране, поскольку она лично меня не затрагивала, не могла служить поводом для эмиграции. Эти люди живут в свободных странах, где политика — лишь одна из областей жизни, далеко не самая приятная, и где ею при желании можно

просто не заниматься. Объяснять им мотивы моего поступка было очень трудно.

Я подумал, что такое объяснение нужно попытаться дать здесь, на вступительных страницах этой книги. Оно важно не само по себе — оно, я думаю, пригодится для понимания процесса освобождения мысли, идущего сейчас в России. Процесса трудного, зигзагообразного, подчас трагического, но абсолютно необратимого.

Мой пример хорош еще и потому, что я не был в России никаким исключением. Обыкновенный представитель сословия, именуемого там интеллигенцией; обыкновенный журналист среднего поколения — мне 43 года, я отлично помню Сталина, пережил войну, сидел в лагере (тоже обыкновенно для моих сверстников), видел изнутри «великое десятилетие» Хрущева, почти два года жил при теперешних хозяевах страны. Словом, таких, как я, в России миллионы.

Сразу же хочу предупредить, что никакого повода, никакого внешнего толчка к выезду из страны у меня не было. Более того, уезжая, я отдавал себе отчет, что нигде и никогда не буду так хорошо устроен в жизни, как был в Москве. В самом деле, к 1966 году я занимал превосходную и хорошо оплачиваемую должность заведующего отделом в редакции крупного журнала; жил в небольшой, но отдельной квартире в самом центре Москвы; писал книги, которые охотно издавали и на доходы от которых я даже купил автомобиль; постоянно ездил по стране, выступал по радио и телевидению; выезжал и в страны Восточной Европы; занимался любимым спортом — парашютизмом; был одним из первых членов основанного в 1957 году Союза журналистов СССР и пользовался лучшим в Москве закрытым клубом — Домом журналиста; семейные дела тоже были в полном порядке. Казалось, чего еще желать? Но при всем том, у меня не было в России ни одной счастливой, ни одной спокойной минуты.

Может быть, начало всему положил мой отец. Он

был профессором математики в Ленинграде и главной звездой моей юности. Четыре предвоенных года мы прожили с ним вдвоем — мать после развода вышла вторично замуж и уехала в Москву, я же категорически пожелал жить с отцом в Ленинграде. Четыре года — с тринадцати до семнадцати лет — я смотрел на жизнь умными и ясными глазами моего отца.

Годы были страшные — 1937, 1938, 1939, 1940. Любое неосмотрительное слово могло стоить головы. Отец был готов к аресту в любой день и даже сделал мне все необходимые распоряжения — как поступать, если его заберут. Но он был человеком исключительной воли и отваги. До революции он командовал дружиной еврейской самообороны в Петербурге и открыто предупредил полицию, что если волна погромов, катившаяся тогда по России, дойдет до столицы, погромщики встретят сильное вооруженное сопротивление. Предупреждение подействовало — ни одного еврейского погрома в Петербурге так и не было.

Отец понимал, конечно, что царская полиция была благотворительным заведением по сравнению со сталинским НКВД и что в тридцатые годы никакой открытый протест был немыслим. Но он видел и силу и слабость террористического режима. Отец знал, что реки крови текли по стране для устрашения инакомыслящих, для подавления любой мысли о сопротивлении, для превращения 200 миллионов людей в нерассуждающих рабов. И он не хотел, чтобы его единственный сын стал одним из 200 миллионов рабов диктатуры. Рискуя жизнью, он стал по вечерам рассказывать мне правду о том, что творилось в стране.

Его риск заключался не только в том, что нас могли подслушать соседи (за тонкой перегородкой жил некто Минеев, гордо носивший значок «почетного чекиста»). Риск был куда сильнее: в те времена дети часто доносили на отцов. Такова была атмосфера психоза «борьбы с врагами народа» за стенами нашей комнаты, что я

вполне мог счесть «врагом» и собственного отца. Тем более, что он, собственно, и был врагом — врагом насилия, террора, кровопролития, подавления свободы, унижения личности — всего того, что гораздо позже стали называть сталинщиной. Но я-то этого не понимал: школа, улица, газеты, радио, кино учили меня, что я живу в счастливом и свободном мире строящегося социализма, освещенного гением Сталина, и лишь кучка подлых врагов мешает достроить этот социализм. Разбить в подростке такую веру за один день было невозможно, а наутро после первого же разговора я мог, очертя голову, побежать в НКВД. Повторяю, таких случаев отцеубийства в те годы было очень много, и отец о них знал.

Несмотря на все это, он решился. Терпеливо, шаг за шагом, вливал он в мою душу противоядие от сталинской чумы. Он показал мне, что в стране давно нет никакой народной власти, а есть власть кучки негодяев, сеящей ложь и террор для сохранения собственных шкур. Тогда, в 1937 году, он сказал мне, что Сталин непрерывно трясется от страха, что он боится Гитлера и Чемберлена, но еще больше — собственного искалеченного народа («он и нас с тобой боится» — говорил отец). Когда в 1938 году с невероятным шумом появилась книга «История ВКП(б) — краткий курс» и началось насильственное заучивание этой книги буквально наизусть, отец тоже стал «изучать» эту книгу со мною — но по-своему. Он методично показал мне, что каждая страница «Краткого курса» наполнена ложью, что «философская» четвертая глава, написанная Сталиным, — примитивна, догматична, рассчитана на оглупление читателя.

— Поверь мне, — говорил отец. — Ты еще услышишь, как над этой книгой будут открыто смеяться, как будут удивленно спрашивать друг у друга: «Неужели мы считали этот бред откровением Высшего Разума?»

Предсказание сбылось с полной точностью. Сегодня

при упоминании «Краткого курса» люди в России лишь улыбаются и пожимают плечами.

Но я теперь думаю, что, говоря о будущем крахе сталинского учебника, отец связывал это с крахом всей диктатуры в стране (хотя он не делал прямых предсказаний на этот счет). Если так, то он ошибался.

Отца не стало в самом начале войны. 29 января 1942 года он умер от голода в осажденном немцами Ленинграде. А я в 1940 году уехал в Москву, чтобы поступить в Авиационный институт, о котором давно мечтал, и потому остался в живых.

Помня отца, я всегда старался оценивать и анализировать ситуацию в стране настолько реалистически, насколько был в состоянии. Я, например, имел свою точку зрения на исход войны в первые, самые тяжелые ее дни. Я твердо считал, что союзники победят и, более того, Сталин удержит и укрепит власть в послевоенные годы. Я считал, что Сталину невероятно повезло: на Россию напали фашисты, еще более отвратительные в глазах народа, чем сталинцы. Кроме того, против фашистов поднялись все великие державы. Нацистская Германия в ходе войны оказалась гораздо сильнее, чем мне представлялось, но сомнений в победе у меня не возникало ни на одну секунду.

Когда в конце войны Сталин стал «освобождать» страны Восточной Европы и насаждать там коммунистические марионеточные режимы, его агрессивная политика была мне тоже абсолютно ясна. Я понимал, что это хуже, чем просто агрессия: это трусливое и наглое воровство, подбирание кусков, захват того, что «плохо лежит». Однажды я сказал близкому другу, что на месте Сталина не мог бы смотреть в глаза Трумэну и Эттли — ведь он же бесчестно воспользовался тем, что союзники при всем желании не могли в 1945 году защитить Восточную Европу от русского нашествия. Друг пришел в ужас, он умолял меня никому не повторять этого и благодарить Бога, что он не предатель. Оглядевшись и

проверив, плотно ли закрыта дверь, друг шепотом сказал мне, что со мною не согласен: мы понесли огромные жертвы в войне и имеем право влиять на послевоенное устройство наших соседей. Тогда я спросил его, что было бы, если бы, скажем, Англия в 1945 году решила присоединить к себе Бельгию и Голландию — англичанам не хватает территории на их островах, а защищать Бельгию и Голландию никто бы всерьез не мог.

Как ни был напуган друг, он все-таки рассмеялся — очень уж нелепым и неестественным было мое предположение. Но потом, еще раз предупредив меня о необходимости держать язык за зубами, он ушел в задумчивости. С тех пор я много раз проверял, как понимают положение в стране и в мире мои сверстники. Вывод был печален: интеллигентные и неглупые люди либо искренне заблуждались, либо не желали думать на опасные темы, гнали от себя любую мысль, не соответствующую официальной пропаганде. Это все были честные люди, они предостерегали меня от «таких разговоров», но не доносили. Когда же в стране разразился послевоенный антисемитизм, пошли варварские гонения на писателей, я стал менее осторожным. Я спрашивал у многих людей, как они дышат в фашистской атмосфере, говорил, что мне не хватает воздуха. В те годы кое-кто стал со мною осторожно соглашаться, но и эти люди без конца просили меня молчать. Я, однако, не мог полностью следовать их добрым советам. В августе 1947 года на меня донес человек, которому я с глазу на глаз сказал, что в стране царит антисемитизм. Никто, кроме него, этих слов не слышал, а в 1947 году, в отличие от 1937, для политического ареста требовались показания двух свидетелей. Но опытные специалисты из МГБ, как тогда именовалась тайная полиция, быстро нашли выход из положения: мне устроили несложную полицейскую провокацию, и 23 августа 1947 года я был арестован как «спекулянт».

Дальше произошел некий парадокс, не очень ха-

рактерный для того времени. Обвинение было состряпано так грубо, что суд не решился вынести приговор. Судья был молод, и, видимо, в нем еще таились остатки понятия о справедливости. Решение было такое: отправить дело на новое следствие. Это практически означало свободу.

Однако люди из МГБ только усмехнулись судейской наивности. Последовал протест от имени прокурора, и решение о новом следствии было отменено. Суду — уже в другом составе, конечно, — приказали судить меня по старым «материалам». Тут произошел новый парадокс: и второй суд очень уж ясно увидел мою невиновность. Вместе с тем, судья имел приказ свыше — осудить во что бы то ни стало. И он, как я потом понял, сделал интересный трюк: написал в тексте приговора, что ни скупки, ни перепродажи в моих действиях суд не усматривает, а потом... приговорил к лишению свободы на семь лет. Таким образом, по выражению юристов, описательная часть приговора прямо противоречила резолютивной, и это давало все основания для обжалования и отмены приговора.

Что ж, я благодарен обоим моим судьям — они в то время сделали абсолютно все, что могли. Разумеется, мои жалобы остались втуне, и освободила меня только смерть Сталина после пяти с половиной лет заключения. Но хитроумный приговор моего опытного второго судьи все-таки сослужил мне службу — совсем недавно. После того, как я попросил политического убежища в Англии и опубликовал несколько статей в западной печати о советской цензуре, об антисемитизме, о полицейском паспортном режиме в СССР, обеспокоенные московские правители решили меня опорочить — ведь спорить с содержанием моих статей они не могли. И вот наследники тех молодчиков из МГБ, что стряпали мое «дело», вытащили его из архива, дабы доказать, что я не политический эмигрант, не противник режима, а всего-навсего спекулянт. И тут-то они, бедные, основательно почесали

в затылках — как опубликовать такой приговор? Публикация судебного заявления о моей невиновности не входила в их планы. Что ж, они доказали, что вполне достойны своих предшественников — сталинских чекистов. Из приговора просто вырезали середину и опубликовали в «Литературной газете» (сентябрь 1966 года) лишь начало и конец.

После этого мне уже легко было отвечать. Я опубликовал открытое письмо Председателю Совета министров СССР Косыгину, посоветовав ему затребовать полный текст моего приговора, прочесть, что там написано, и попросить мошенников из Комитета государственной безопасности не ставить его в смешное положение. По-видимому, кое-кто в КГБ получил выговор за глупость, и обвинения в мой адрес (а они шли до того и по московскому радио пять раз в день) моментально прекратились.

Вернемся, однако, к пятидесятым годам. Не стану рассказывать, как провел я полгода в тюрьме и пять лет в лагерях. О лагерях и тюрьмах в последние годы написано много, это не моя задача, я буду говорить о сегодняшней России, и это историческое отступление — вынужденное. Гораздо интереснее вспомнить, что я думал и чувствовал, выйдя на свободу в апреле 1953 года.

Разоренная, истощенная и одурманенная сталинизмом страна жила тогда по инерции. Но дурман мало-помалу проходил, и все больше людей начинали понимать, что в России никогда не было и нет никакого социализма, ни малейшего намека на социализм. Сталинская концепция правления — пропаганда плюс террор — никуда не годилась без настоящего террора. И Хрущев, сам участник сталинских террористических акций, понял это своим хитрым крестьянским умом. Чтобы сохранить власть, нужно было либо возвращаться к кровавому подавлению, искать очередного палача страны вместо расстрелянного в 1953 году Берия, либо найти какую-нибудь новую — и сильнодействующую концепцию.

Первый вариант не годился: ведь сразу после смерти Сталина террор был частично разоблачен — выпустили невинно арестованных и ждавших казни участников «заговора врачей», расстреляли всех руководителей тайной полиции, больше, чем наполовину, разгрузили лагеря. Новая волна террора могла натолкнуться на активный протест, а страх народного восстания всегда стоит адским призраком перед обитателями Кремля. И Хрущев, отдадим ему справедливость, нашел очень неплохой второй вариант.

Двадцатый съезд партии в 1956 году, где были разоблачены злодеяния Сталина — ЛИЧНО Сталина — преследовал абсолютно ясную цель: отделить сталинщину от советского режима. Представить ее не как закономерность существующей в стране однопартийной диктатуры, а как печальное отклонение от «линии партии», вызванное злой волей одного человека. В тот миг, когда я узнал содержание речи Хрущева (она была секретной, в газетах ее опубликовали позже и в сжатом виде, но слух распространился мгновенно), я понял: Сталина выбрасывают за борт, чтобы сохранить плавучесть корабля диктатуры. И, помню, я тогда же подумал, что попытка безнадежна: одной пропагандой, без палки, Россию в рабстве не удержать.

Но этого понимания не было — нет и теперь — у большинства населения страны. Даже когда оправдались мои опасения насчет палки, когда стали хватать писателей и студентов, когда снова стала расти численность лагерников — понимание значения двадцатого съезда как громоотвода не распространилось в России достаточно широко. Причина все та же — тотальное воздействие на человеческий мозг в одном направлении, начиная с годовалого возраста.

Но активность политической мысли в России сегодня совсем не та, что была в тридцатых годах или после войны или даже в 1956 году. Люди заговорили — и заговорили громко. Когда я в последние годы высказывал

«крамольные» соображения — меня слушали и в спорах о будущем России высказывали не менее крамольные идеи. Правда, недовольство в стране, хоть оно и широко распространено, концентрируется пока вокруг частных недостатков — вокруг скуки и неудобства жизни, дороговизны, газетной лжи и так далее. В самый корень заглядывают немногие, большинство еще полагает, что совершенствование возможно в рамках действующего режима. Революцию и Ленина по-настоящему не трогают и даже, как я выше отмечал, нередко защищают.

В такой обстановке я долго и напряженно искал — где мое место? Люди в стране остро нуждаются в правде, в точной оценке положения. Работая журналистом, я не только не мог помочь людям — я был принужден так или иначе обслуживать режим, хоть и никогда не писал фальшивых восхвалений. Показывать, как говорят в России, кукиш в кармане, то есть днем работать на пользу власти, а вечером произносить обличительные монологи за плотно закрытой дверью собственной квартиры — не позволяла память отца. Метод Синявского и Даниэля — писать аллегории в художественной форме и посылать для публикации за границу — не приходил мне в голову, да и какую помощь моим соотечественникам в понимании сущности режима мог я этим оказать?

Вместе с тем я видел, как сильно отзывается в стране правдивое слово с Запада — приходит ли оно по радио, пересылается ли тайком в книгах и газетах. Я знал, как, сильно рискуя, читают в России обличительные книги людей, сумевших порвать с режимом. Кроме того, каждый уход за рубеж и свободно произнесенная там правда, колеблют в глазах обывателя «незыблемость» и «несокрушимость» диктатуры. А я, как журналист, много знал о стране и мог рассказать больше, чем представитель другой профессии. Все эти соображения и привели меня к мысли эмигрировать.

Надеюсь, я ответил этим и на другой вопрос, который мне нередко задают по сей день: если мыслящие

люди в России понимают сущность диктатуры, если они стремятся открыть глаза остальным, почему же так мало русских просят политического убежища на Западе? Почему русские писатели, художники, журналисты, нередко выезжающие за границу, систематически возвращаются домой?

Видимо, вам ясно из моего рассказа, что у всякого в России свой путь. Я был больше подготовлен к выезду из страны и моим отцом, и лагерем, и многолетними напряженными раздумьями. Кроме того, не сочтите за нескромность: это очень трудно — уехать с любимой родины, порвать все жизненные связи без ясной надежды когда-нибудь вернуться, и на такой поступок способен далеко не каждый. Наконец, есть ведь в СССР и бдительная тайная полиция. Тех, кого хоть капельку подозревают в желании остаться на Западе, попросту не выпускают за границу. Мне потребовалось несколько лет подготовки, чтобы усыпить бдительность КГБ и уверить власти в моей безупречной лойяльности. На это, поверьте, тоже не каждый способен.

Поставим теперь точку на моей истории и обратимся к людям, живущим в России. Как выглядит их жизнь изнутри, увиденная глазами советского гражданина, — об этом расскажут мои следующие главы.

Глава II

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РАБОЧИЙ КЛАСС

Угнетенные «творцы побед». — Довольный жизнью Николай. — $ 0,29 в час и как их заработать. — Необходимая «ловкость рук». — «Советское — значит отличное». — Энтузиазм, страх и экономика. — Мы на митинге. — Две цитаты в заключение.

I

Я иду по узкому грязному проходу между двумя тесно поставленными линиями станков. Меня ведет мрачный узкоглазый человек в синем халате, через каждые несколько шагов он останавливается и тихо, почти не разжимая губ, дает скупые пояснения. Напряженно стараюсь проникнуть в смысл его слов — это трудно, мешают тихий голос моего спутника, татарский выговор и заводской жаргон, на котором он изъясняется.

Летний день 1955 года, когда я после окончания Автомеханического института пришел работать в цех моторов Московского завода малолитражных автомобилей, мне никогда не забыть. Я бывал на заводах и до того, конечно, даже на этом самом заводе, и не обстановка, не холодная недоверчивость моего будущего начальника поразили меня. Главным впечатлением дня — и всех последующих дней в цехе — было совсем другое.

Давая свои малоразборчивые пояснения, мой будущий босс иногда подводил меня вплотную к какому-нибудь станку, чтобы показать те или иные подробности. У станка стоял рабочий, и если он мешал начальнику уча-

стка, если что-нибудь заслонял, начальник просто отодвигал его легким движением руки, словно неодушевленный предмет. Он не здоровался с рабочим, не представлял меня — будущего мастера, — даже не взглядывал на человека. И это, по-видимому, никого не удивляло. Рабочий покорно отходил и молча ждал, пока уйдет начальство, искоса наблюдая за нами. На второй или на третий раз, когда мой спутник проделал то же самое с пожилой работницей, я не стерпел и сказал ей «добрый день, извините, пожалуйста». Женщина лаконично ответила «ничего», а начальник, казалось, не обратил на наш диалог никакого внимания. После этого я говорил каждому рабочему «здравствуйте» — кто отвечал, а кто и нет.

Когда обход закончился, и мы вышли из лабиринта моего будущего участка, начальник сказал мне нечто вроде напутствия. Главным образом это были технические рекомендации, но завершил он их довольно неожиданно. Все тем же равнодушным голосом босс проговорил:

— Теперь насчет работяг. На участке тридцать семь станочников и два наладчика, оба коммунисты. В основном народ ничего, только не надо с ними этих самых «простите-извините». Интеллигенции тут нет, они такого обращения не понимают. Подумают, что вы слабенький и в два счета сядут вам на голову. Тогда пеняйте на себя. Понятно?

Два последующих года показали, что он был неправ. Я никогда не следовал его совету в моих отношениях с рабочими, и никто не «сел мне на голову». Напротив, я встретил с их стороны только теплое отношение, товарищескую поддержку. Но вот со стороны начальства — от этого самого босса и до директора завода включительно — я немало вытерпел за «панибратство» с моими рабочими. На каждом совещании это было предметом попреков, ядовитых насмешек и служебных выговоров, каждый мой промах в работе, любой неуспех участка

приписывался тому, что мастер «неправильно воспитывает людей», «идет на поводу у работяг» и даже «сеет рознь между руководством и рабочими».

Но все это было потом, а тогда, в тот первый день, меня потрясло отношение начальника к рабочим как к стаду механических исполнителей, отнюдь не как к людям. За два года до того я вышел из лагеря, успел уже несколько отвыкнуть от обращения с собой как с заключенным номер такой-то — и вот вновь, уже «на свободе», увидел воочию совершенно такое же отношение к людям. Я услышал отвратительные слова, полные презрения, — «работяги» и «рабсила» — которыми в беседах между собой заводские руководители именуют рабочих. Меня коробило хамское «ты» по отношению к любому рабочему, даже если он был старше начальника.

Эти мои смятенные чувства углубились еще более, когда я стал посещать всевозможные собрания и митинги, которых на заводах устраивается великое множество. В официальных речах на этих митингах и даже на маленьких собраниях нет и следа истинного презрительного отношения к «работягам». Напротив, ораторы не скупятся на слова, восхваляющие «его величество рабочий класс», этот правящий класс советского общества. Говорится, что рабочие — это «передовой отряд строителей коммунизма», «творцы наших побед», «наиболее сознательная часть народа». Нередко в роли ораторов выступают сами рабочие, они, конечно, говорят то же самое, и это особенно трудно выслушивать. А потом, после собрания, передовые строители коммунизма и творцы побед возвращаются к своим станкам и вновь становятся нищими и бесправными работягами, которыми помыкают, как хотят, под прикрытием гнусных льстивых фраз.

Мы сейчас войдем на территорию того самого завода, где я работал мастером, технологом и одним из редакторов ежедневной заводской газеты. Этот завод, выпускающий легковые автомобили «Москвич» и имею-

щий около 14 000 рабочих, считается одним из лучших предприятий страны. Во всяком случае, его охотно показывают иностранцам, а таких заводов, которые разрешено показывать, во всей стране очень немного. По сей день я знаю здесь каждый уголок, потому что, уйдя с завода и став профессиональным журналистом, никогда не порывал связи с заводскими людьми. Со мною обычно говорят откровенно, нередко приглашают в гости — заводской поселок Текстильщики сравнительно недалеко, — и я надеюсь, что, побывав на заводе, вы сумеете разобраться в жизни советского рабочего глубже, чем любой иностранец, который был здесь до вас.

II

Мы получаем в окошечке разовые пропуска, предъявляем их вахтеру в заводской проходной, вместе с нашими паспортами, и вот уже стоим на территории завода. Здесь не выпускают никакой секретной продукции и потому пропускная система — самая легкая из существующих в СССР.

Люди, работающие на заводе, имеют постоянные пропуска — маленькие книжечки с фотографией владельца внутри. Но книжечки р а з н ы е. Инженеры, мастера и вообще начальство по своим пропускам пользуются правом войти на завод и выйти с территории в любое время. Рабочие таким правом н е пользуются. В их книжечках имеется так называемый сменный вкладыш, показывающий охраннику, в какие часы владелец пропуска может находиться на заводе. Вас по такому пропуску впустят на завод не раньше как за час до начала вашей смены, а потом до конца смены у ж е н е в ы п у с т я т. Если рабочему необходимо срочно покинуть завод — например, он заболел или получил травму у станка или даже его послали представителем трудящихся встречать прибывшего в Москву президента де

Голля, — мастер выдает ему особый талон на выход. Такая дискриминация, основанная на недоверии к «наиболее сознательной части народа», — в порядке вещей, она применяется на всех заводах страны.

Ба, как «удачно» мы попали: главный конвейер как раз остановлен. Нет, это не перерыв, сейчас рабочее время, а сборочная лента не движется потому, что на каком-то ее участке нет тех или иных деталей — своевременно не подали из цехов или складов.

Такие остановки — по несколько раз в смену — бывают на конвейере каждый день. Особенно частая причина их — нехватка изделий, присылаемых другими заводами. Например, электрического оборудования, специальных пружин, пластмассовых деталей. Помимо обычного отдела снабжения, добывающего сырье и материалы, на заводе имеется многолюдный отдел кооперации, специально предназначенный для «выколачивания» внешних поставок. Быть начальником этого отдела — самая проклятая должность на заводе: как ни старайся, все равно будешь на плохом счету, потому что если конвейер останавливается из-за нехватки внешних деталей, то это считается виной начальника отдела кооперации. А на объективные причины, как известно, ссылаться нельзя.

На моей памяти сменилось много начальников отдела кооперации — как правило, они убегали с этого поста куда глаза глядят или же их снимали «с треском» — с понижением в должности и партийным взысканием. Сейчас отделом руководит сорокалетний Семен Китаин, человек с железными нервами, в прошлом офицер КГБ. Но и он недавно сказал мне: «Работенка у меня первый сорт. В любой момент могу потерять партбилет или помереть от инфаркта».

Возникает, конечно, вопрос, почему же люди идут на такую адову работу. Ответ прост: они не идут, их принудительно назначают.. Существует неписаный закон, что коммунист не имеет права отказываться ни от

какой работы, если на эту работу посылает партия. Зная это, директор завода использует партком как безотказный инструмент для давления на людей. Те тоже знают, что это вовсе не партия их посылает, а отдел кадров и директор завода. Но сказать об этом вслух нельзя — в момент расстанешься с партийным билетом, и тогда конец тебе. В сто, в тысячу раз лучше быть беспартийным в Советском Союзе, чем исключенным из партии.

Как бы то ни было, а конвейер пока стоит. Где-то там, в диспетчерской, горят на пультах красные лампы, неистовствует директор, угрожая Китаину страшными карами, а здесь сравнительно тихо. Одни рабочие используют паузу, чтобы подготовить свои узлы к установке на машину, ибо они знают, что к концу смены будет непременный аврал, и конвейер пустят на предельную скорость; другие, сбившись в кружок, слушают рассказчика; третьи просто дремлют на сиденьях автомобилей.

Познакомьтесь, пожалуйста, — это Николай, один из лучших сборщиков завода. Его должность на конвейере — «скользящий». Так называются самые опытные слесари, умеющие выполнять абсолютно все сборочные операции. Их обязанность — помогать там, где не справляется основной рабочий, присматривать за новичками, заменять людей, отлучающихся от конвейера по естественным надобностям или внезапно заболевших. Николай пришел на конвейер еще в мои времена, больше десятка лет назад, и работает здесь по сей день.

— Коля, сколько здесь таких как ты, с десятилетним стажем?

— Таких-то? Раз-два и обчелся. У нас на сборке народ долго не задерживается, хоть и платят ничего, прилично. Работа, сам знаешь, трудная, однообразная, для стариков не подходит, сил требует. Гонят нам молодняк, все новых да новых — обучай, Никола! Только его обучишь, только он темп наберет — бах, и ушел.

Кто в армию, кто на учебу, а большинство в механические цеха подаются, там не так выматываешься.

— Хорошо, а что значит «платят прилично»?

— Ну, я вот в самый плохой месяц меньше ста двадцати не получаю ($ 132). Бывает и сто сорок ($ 154). Это скользящие, а рядовые — им идет в месяц от девяносто до ста десяти (от $ 100 — $ 121). В цехе у станка попробуй-ка, выколоти такие деньги, там и семьдесят пять многие с трудом берут ($ 83).

— Напомни, Коля, какая у тебя семья. Я что-то запамятовал, давно не виделись.

— Семья какая была, такая и осталась, только Танька с Юркой подросли. Считая с моей мамашей, нас пятеро.

— Жена работает?

— Конечно, а то как же? Лаборантка она теперь, здесь же, в заводской лаборатории. Устает не очень, получает семьдесят. Да мамаша моя тридцать один рублик пенсии имеет ($ 77 и 34). Ну, а меня ты знаешь, я почти не выпиваю, так что у нас, можно сказать, с деньгами порядок. Соседи приходят пятерки да трешки до получки занимать, богачами считают.

— Рад за тебя, Коля. Но все-таки хотелось бы знать окончательную цифру — сколько у вас чистыми в месяц остается, после удержаний?

— Что ж, на все налоги двадцатку в месяц долой, Налога на малосемейных с нас не берут, у нас дети, мать со своей пенсии вообще ничего не платит. Чистыми на руки получаем всем колхозом примерно 210 в месяц. Это в среднем. ($ 230)

— С квартирой как?

— Роскошь! Живем как боги. В прошлом году наш барак, слава Аллаху, пошел на дрова — ты ведь помнишь, какие у нас были царские палаты. Ну, дали в поселке две комнаты, одна 22 метра, другая 15. А всего-то квартира трехкомнатная, одна семья соседей. И с ними повезло: Яша Горский, инженер из производственного

отдела, может знаешь? Парень, дай Бог, — тихий, непьющий, все читает вечерами, и жена у него правильная. Беда только, что она теперь беременная ходит. Появится у них крикун — он нам всем даст жару.

— И сколько за такие две комнаты?

— Да в общем пустяки. Вместе с газом, электричеством и прочим рублей восемнадцать-двадцать ($ 20 - 22). Зимой побольше, летом поменьше. Как всегда. Оп, извините-ка! Пошел конвейер. Будет сейчас гонка!

Николай стремительно убегает.

III

Мы только что беседовали с одним из самых благополучных рабочих — со сборщиком Николаем. Выяснили его бюджет и как он живет. Посмотрим, что может купить на свои деньги наш «богатый» знакомый.

Мы с вами походили уже по магазинам и хорошо знаем советские цены. Сравнив их с английскими, американскими, итальянскими или скандинавскими, мы при самом благожелательном подходе получим средний коэффициент 3. Фактически он больше, но давайте уж считать, что цены на все товары в СССР втрое выше средних западных цен. Сделаем теперь еще один шаг в пользу Советского Союза — учтем, что цены на некоторые товары и услуги там н и ж е, чем на Западе. Дешевые квартиры (не будем сейчас говорить об их качестве и размерах), дешевые сигареты ($ 0,15 - 0,20 за пачку, а американский «Астор» — $ 0,44), низкая плата за проезд на городском транспорте и некоторые бытовые услуги вроде починки обуви или стирки белья — великодушно сбросим на это целую единицу с нашего коэффициента. Примем, что общая стоимость жизни всего вдвое выше, чем в средней западной стране.

А теперь вернемся к нашему Николаю, средний годовой заработок которого составляет $ 1700. Разделив

пополам, получим $ 850. По самым скромным западным стандартам это уровень глубочайшей нищеты.

Если взять в расчет весь семейный доход Николая — как вы помните, среднемесячная цифра после уплаты налогов была названа $ 230 — то в годовом пересчете это будет $ 2760. После деления на два — $ 1380. Как же жить пятерым на такие деньги?

А вот как. Николай и его жена обедают в заводской столовой, где при тщательном выборе блюд, можно поесть за $ 0,50. Их дети получают в школе легкий завтрак еще дешевле — примерно за $ 0,30. Таким образом, четверо из пяти членов семьи двадцать пять раз в месяц едят за общую сумму $ 40. Что же касается завтраков, ужинов и питания в воскресные дни, то жена Николая после работы бежит в магазины и стоит в очередях за какими-нибудь более дешевыми продуктами — рыбой, крупой, овощами. Вместе с недорогим сравнительно молоком, с дешевым хлебом, которого едят очень много, с картофелем по $ 0,05 за фунт, это составляет рацион семьи. Разумеется, их дети не едят фруктов, не пьют фруктовых соков, а маленькая шоколадка или пирожное — для них праздничный подарок.

Сложнее обстоит дело с покупкой одежды и обуви. Постойте у заводских ворот в самый лютый мороз — вы не встретите рабочих в зимних пальто. Покупают плохенькие демисезонные, а потом жены утепляют их домашними средствами — подшивают ватин, например. Такое демисезонное пальтишко рабочие метко назвали «семисезонным», намекая на то, что его носят много лет, пока окончательно не изорвется. Бесконечные штопки, починки и переделки носильных вещей — вот обычные вечерние занятия миллионов русских женщин.

По этой же причине рабочие на советских заводах, как правило, не имеют спецодежды. Для работы используют всякое ветхое старье, изношенное дома до предела. Ведь, не забудьте, что семья Николая — «богатая», что по крайней мере 70 процентов всех рабочих

в СССР живут хуже, чем он. Впрочем, вот официальная справка с того же завода Малолитражных автомобилей — я взял ее в Отделе труда и зарплаты: средний месячный заработок рабочего на заводе — 94 рубля в месяц ($ 103). Продолжительность рабочей недели в СССР составляет ныне 41 час, отсюда почасовая оплата — $ 0,58, а после нашего снисходительного деления всего на два — $ 0,29.*) Результат несколько даже ошеломляет, это ведь по крайней мере в десять раз меньше, чем получает американский рабочий-автомобилестроитель. Но такова правда.

Группа советских экономистов подсчитала два года назад прожиточный минимум, необходимый человеку в Советском Союзе. Условия были взяты самые скромные: минимальная цифра калорий в пище, позволяющая поддерживать здоровье, один костюм в год, одно пальто в три года, раз в неделю кино, раз в два месяца недорогой билет в театр и так далее. Вышло, что человеку нужно, как минимум, 81 рубль 30 копеек в месяц ($ 89). Все, что ниже этого — уже явная нищета. А на каждого члена семьи «богатого» Николая приходится $ 42 в месяц. Полная ясность.

Тут стоит добавить, что эта цифра — 81 рубль 30 копеек — не была, конечно, опубликована в советской печати, ее запретила цензура. Была опубликована другая цифра: в пятилетнем плане, принятом на XXIII съезде КПСС, сказано, что к 1970 году реальная зарплата советских трудящихся возрастет на 20 процентов. Как видим, если даже это обещание будет выполнено, нищета останется в полном расцвете.

Так обстоит дело с размерами оплаты труда в России. Но есть еще система оплаты, механика на-

---

*) Сейчас, уже после написания этой книги, в СССР осуществлен переход на 40-часовую рабочую неделю, но это почти ничего не меняет в приводимых здесь расчетах.

числения денег за труд. С ней тоже полезно познакомиться.

На советских заводах господствует сдельная система оплаты, она теоретически отвечает ленинскому принципу социализма — «от каждого по способностям, каждому по труду». В первый момент кажется, что это справедливая система — сделай больше, больше и получишь. Но послушайте, что это такое на самом деле.

В первый же день моей самостоятельной работы мастером ко мне осторожно подошел один из двух наладчиков участка («оба коммунисты», сказал про них мой босс).

— Товарищ мастер, надо рабочих переставить. Сами будете делать или в первые дни, пока вы не в курсе, мне разрешите?

— Откуда и куда переставить?

Наладчик улыбнулся моей наивности и принялся объяснять.

Оказалось, что сдельные расценки за выполнение работ очень различны. Есть д е ш е в ы е операции, где за обработку ста деталей рабочий получает каких-нибудь двенадцать копеек, и есть д о р о г и е — рубля по два за сотню. Теоретически эти работы отличаются сложностью и длительностью, но практически разницы почти нет — просто одни операции рабочему выгодно выполнять, другие невыгодно. А для того, чтобы снабжать конвейер деталями, участок, естественно, должен выполнять все без исключения операции. Как же заставить рабочего обрабатывать «дешевые», невыгодные детали? Единственный способ — та самая перестановка, о которой говорил наладчик и которой я в моей последующей деятельности только и занимался.

Подходишь к рабочему с утра и говоришь ему примерно так:

— Петя, я сейчас тебя поставлю точить крыльчатку. Дело, конечно, копеечное, но ты не беспокойся, это

всего на полтора-два часа. Зато потом получишь расточку корпусов и заработаешь нормально.

Человек соглашается, зная, что другого выхода у мастера нет. Надо ведь всем д а т ь з а р а б о т а т ь. Так целый день и переставляешь людей с места на место, стараешься держать слово, никого не обидеть. Но это очень трудно, особенно, если хочешь быть справедливым к людям.

Таким образом, ясно, что заработок станочника при этой «сдельной» оплате зависит не от его квалификации и не от усердия в работе, а исключительно от произвола мастера участка. Если мастер относится хорошо — он «подбрасывает» выгодные работы, и получка растет. Не взлюбил мастер — будешь ходить голодным на самом законном основании.

Я знаю много случаев, когда обиженные рабочие ходили жаловаться на мастеров начальнику цеха и в цеховой комитет профсоюза. Но не помню, чтобы хоть раз они чего-нибудь добились. Начальство или представитель цехкома, бывало, приходили на участок, проверяли записи в книге рабочих нарядов. Там всегда все было правильно: человек получил деньги за ту работу, какую в действительности проделал. А когда он жаловался, что мастер держит его на невыгодной, низко оплачиваемой работе, ему говорили:

— Ваша жалоба неосновательна. Работа соответствует вашему тарифному разряду, нарушения трудового законодательства нет. Хотите — работайте, не хотите — уходите.

Не удивительно, что первая забота каждого рабочего — установить с мастером как можно лучшие отношения. Я был немало изумлен, когда после первой же получки двое рабочих моего участка пригласили меня поужинать вместе с ними и принесли с собой к этому ужину литр водки. В соответствии с традицией они решили «поставить» мастеру угощение, оторвав крохи от своего мизерного заработка. Мне стоило большого труда

отказаться от «угощения» и в то же время сохранить добрые отношения с ребятами.

Другие мастера, увы, не отказывались — рабочие поили их по очереди, каждую получку. Это только одна из форм «налаживания отношений» с мастерами — есть и другие формы подкупа, среди которых на первом месте обыкновенные денежные взятки. Рабочие складываются между собой и подносят мастеру конверт со списком «участников», так что он знает, кто ему платит, а кто нет. Знает — и распределяет работу соответствующим образом. Такие поборы особенно распространены в гаражах, в таксомоторных парках — шоферы регулярно платят дань начальникам колонн и заведующим гаражами.

Однако это далеко не все о сдельной оплате в русском понимании. Очень скоро после начала работы мастером я столкнулся еще с одним удивительным явлением.

У меня на участке был прекрасный станочник — высококвалифицированный, очень прилежный человек. Я знал, что Иван (так его звали) кормит большую семью, живет очень бедно и старается выжать из себя на работе все, что может. Наладчики подсказали мне, что этому человеку надо дать заработать больше других и что остальные рабочие, зная его нужду, обижаться на это не будут.

Но я был неопытен тогда и немножко перестарался. Я весь месяц давал Ивану только выгодную работу, и оказалось, что он должен был получить около 160 рублей ($ 175, то есть около $ 43 в неделю). За день до выплаты денег рабочим я был внезапно вызван в заводоуправление, в отдел труда и заработной платы. Меня там гневно отчитали.

— Вы что это астрономическую зарплату людям платите?

Я объяснил, что Иван честно заработал свои деньги. Тогда меня обозвали «невинным младенцем» и назида-

тельно объяснили, что мастер обязан регулировать зарплату на участке, не допуская высоких заработков, что станочник в механическом цехе н е д о л ж е н получать больше ста тридцати рублей, да и то лишь в исключительных случаях, потому что иначе завод будет обвинен в занижении трудовых норм, в сокрытии возможностей роста производительности труда и прочих страшных грехах.

— Если вы печетесь о рабочих, — сказал под конец разговора начальник отдела, — то не будете допускать таких случаев. А то повысят нам нормы, снизят соответственно расценки, и ваши рабочие останутся на бобах. Поняли? Ну вот. Я сейчас срежу этому вашему рекордсмену тридцать рублей с заработка, а вы ему постарайтесь объяснить мое решение. Если он не дурак — поймет.

Иван получил сто тридцать рублей и на меня не обиделся. Он даже сказал, что подозревал о таком обороте дела, когда день за днем получал выгодную работу. Я был тронут. Я только начал постигать тогда, что рабочие в России куда честнее, искреннее и терпимее любых руководителей.

Каждые полгода на советских заводах происходит так называемый пересмотр норм. Это чрезвычайно болезненная и жестокая операция. Дело в том, что согласно коммунистической теории, все предприятия должны непрерывно повышать производительность труда. По той же теории рост производительности труда должен обгонять рост зарплаты. А коли так, то надо дважды в год повышать нормы выработки, снижая соответственно расценки — тогда производительность труда будет идти вверх, а рост зарплаты будет сдерживаться. Что касается благосостояния рабочих или постоянного роста цен на товары, то такие мелочи коммунистическая теория в расчет не принимает.

И вот дважды в год многочисленные «экономисты-трудовики» на заводах вместе с бухгалтерами-расчет-

чиками перетряхивают все нормы, выискивая, где бы как можно менее болезненно выколотить из рабочих этот заданный планом процент. Заводу ведь надо «уложиться» в фонд зарплаты, а этот фонд заранее снижен на грядущее полугодие в связи с предстоящим «повышением производительности труда». Никто в верхах не интересуется, за счет чего поднимется производительность, будет ли использована хоть одна новая машина. Надо поднять производительность труда — и баста. Не выполнит директор завода план по труду (так это деликатно называется) — значит плохой директор, дать ему для начала партийный выговор! Вот и сидят экономисты, перерывают в который раз дикие, давно изуродованные нормы, не имеющие никакого реального отражения в действительности. Наконец, появляется приказ по заводу со списком повышенных норм и сниженных расценок.

Экономисты на заводах люди опытные, и в деле пересмотра норм, как говорится, собаку съели. Они осторожно «трогают» нормы, они вообще не касаются сильно «затянутых», особенно бедных расценок. Но рабочие все равно чувствуют себя ущемленными принципиально, даже если лично их пересмотр не коснулся. Их естественная реакция в такие дни — грубость, отказ выполнять распоряжения мастеров, ядовитые вопросы о том, насколько снижена зарплата начальству (в действительности пересмотр норм даже повышает доход высшего заводского руководства, ибо оно получает жирные премии за повышение производительности труда, выведенное на бумаге). Обстановка в цехах накалена, и хотя начальство предпочитает не появляться на людях, а мастера в эти трудные дни заискивающе улыбаются, скандалы вспыхивают повсюду, по малейшим поводам.

Известное рабочее восстание в Новочеркасске в 1962 году началось как раз из-за пересмотра норм. То ли экономисты на тепловозостроительном заводе были недостаточно опытны, то ли нормы там многочисленными

«пересмотрами» были завинчены до предела, но только в день очередного «пересмотра» люди обиделись особенно сильно. Большая группа самых уважаемых на заводе рабочих явилась в заводской комитет профсоюза искать защиты. Видя возбуждение людей, предзавкома обещал им поговорить с директором. Но прежде он позвонил секретарю парткома, и оба «народных избранника» отважились пойти к директору с необычайной просьбой смягчить на сей раз суровый «пересмотр».

А директор — он ведь имел план повышения производительности труда. И хотел его выполнить во что бы то ни стало. Доводы о бедности рабочих, приводимые председателем завкома, рассердили его, и он взорвался. Он закричал:

— Ладно, не плачьте мне тут о работягах! Подумаешь — несчастные. Ели пироги с мясом три раза в неделю, теперь будут есть два раза — вот и вся разница. Хватит!

Каким-то образом злополучная фраза директора о пирогах стала в течение получаса достоянием всего завода. Народ бросил работу, выплеснулся на заводской двор. Пока директор испуганно звонил в городской отдел КГБ и в горком партии, люди вышли за ворота. Они разгромили магазины города, освободили заключенных из тюрьмы, потребовали выдать им первого секретаря горкома партии, который в панике бежал из города на чьем-то частном автомобиле; они приварили колеса поездов, стоявших на станции Новочеркасск, к рельсам и прекратили этим железнодорожное сообщение. В печати ничего, конечно, не сообщали, но рабочие соседнего Ростова (35 миль) быстро узнали, что происходило в Новочеркасске, и тоже заволновались. По приказу из Москвы в город вошли регулярные воинские части с танками. Только после этого — и после заверения, что никто не будет арестован — люди вышли на работу, и порядок в Новочеркасске постепенно восстановился. Вот что такое «пересмотр норм».

Если вы думаете, что я вам все рассказал о прелестях сдельной оплаты, то ошибаетесь. Как, например, обстоит дело с простоями и сверхурочными работами?

Помните, когда мы вошли в сборочный цех, главный конвейер завода не двигался, рабочие простаивали. Но будьте уверены, что в заводском бухгалтерском отчете графа «оплата простоев» будет чистенькой. Организация производства в советской промышленности самая плохая в мире, простои случаются каждый день и на всех без исключения участках. По кодексу законов о труде администрация обязана оплачивать рабочему-сдельщику часы простоя из расчета 50% его среднего сдельного заработка (совершенно непонятно, кстати, почему 50, а не 100 процентов, если рабочий ни в чем не виноват, да уж Бог с ними, с советскими законодателями). На деле простои не оплачиваются н и к о г д а, ибо оплата простоев относится к так называемым непроизводительным расходам предприятия, а иметь непроизводительные расходы на социалистическом предприятии — страшный грех. Директор завода, главный инженер и прочие власти предержащие немедленно лишаются своих высоких премий, если в графе «оплата простоев» стоит любая цифра, отличная от нуля. Поэтому там в с е г д а нуль — нет простоев на советских предприятиях.

Хорошо, а как же рабочие? Чтобы они не жаловались, директор завода в последние дни месяца, когда план висит на волоске, назначает премии «за перевыполнение норм». На всех участках, где выполняется план (а план в месячном разрезе всегда выполняется, скоро станет ясно, каким образом), рабочим «подкидывают» под видом премий по 5 - 15 рублей в месяц. Фактически это оплата простоев.

С механикой «ликвидации» простоев тесно связана другая механика — «ликвидации» сверхурочных работ. Иметь сверхурочные на предприятии тоже грех — с

точки зрения начальства это свидетельствует о неритмичной работе завода, о штурмовщине в конце месяца. Кроме того, сверхурочные по закону должны оплачиваться в повышенном размере, и это вызывает перерасход фонда заработной платы, повышение себестоимости продукции, а в конечном счете — опять-таки ставит под угрозу премии руководителям завода.

Но как выполнить месячный план, если в течение месяца из-за отсутствия материалов или инструмента или неполадок со старыми, изношенными станками было много часов вынужденного простоя? Способ только один: заставить рабочих «прихватывать» по два-три часа после окончания смен. Сверхурочные? Ничуть не бывало. Мастеров строго предупреждают: ни в коем случае не оформляйте сверхурочной оплаты. Платите сдельно, как за продукцию, изготовленную в течение смены. А с рабочими договаривайтесь сами как знаете, на то вы и мастер.

Довольно скоро я понял, что именно в данном случае требуется от мастера: некая ловкость рук, а проще говоря, жульничество, для которого система сдельной оплаты дает широкий простор. Сейчас я впервые в жизни исповедаюсь. Я расскажу о жульничестве, которое вынужден был творить самолично — разумеется, будучи в сговоре с обоими наладчиками-коммунистами и с ведома всех рабочих!

Наш участок выпускал, кроме отдельных деталей, два узла двигателя: газопровод и водяной насос. На обоих узлах мы здорово «зарабатывали». Как это делалось?

Газопровод состоял из двух основных деталей — впускной трубы и выхлопного коллектора. Получая эти детали со станков по отдельности, сборщик привинчивал одну к другой. Привинчивал, понятное дело, не вручную, а электрическим гайковертом. Для того, чтобы массивная головка гайковерта могла «дотянуться» до конца резьбы и плотно соединить детали, на впускной трубе приходилось фрезеровать две специальные лун-

ки. Они нужны были только для сборки и в дальнейшей работе двигателя никакого значения не имели.

Для этой операции — фрезерования лунок — на участке стоял отдельный станок, и в технологической карте значилась соответствующая операция. На нее была определенная расценка. И вот кто-то еще до моего прихода на участок «додумался», что лунок на трубе можно и не делать. А чтобы головка гайковерта проходила без лунок, ее, головку, несколько стачивали по окружности, делали тоньше.

Таким образом, не выполняя никакой фрезеровки лунок, мы могли начислять деньги за эту работу кому угодно из станочников. Это был «секретный фонд» мастера, он составлял примерно $ 4 в день. Чтобы никакое начальство, ненароком заглянувшее на участок, не обнаружило жульничества, мы каждое утро обсыпали бездействующий фрезерный станок стружкой и небрежно клали на станину одну трубу с лунками, специально хранимую на сей предмет в тайнике. В конце смены один из моих наладчиков-коммунистов прятал эту символическую трубу и аккуратно сметал со станка стружку. А утром и труба и стружка появлялись опять.

С водяным насосом дело обстояло еще проще. Норма на сборку этого узла была абсолютно дикая, ни один сборщик-виртуоз с ней справиться не мог. И вот, как ни странно, из этого грустного обстоятельства мы стали извлекать пользу. Я сам и оба мои наладчика освоили сборку насосов и в течение дня использовали каждую свободную минуту, чтобы помочь сборщику. Так нам удавалось собрать 30 - 40 насосов в смену — помимо тех, которые проходили через руки рабочего. Деньги за эту сборку (тоже от $ 3 до $ 5) я мог начислить кому угодно из рабочих — например, написать в книге, что Иванов такого-то числа собрал десять водяных насосов и ему за это полагается рубль. Нужды нет, что Иванов понятия

не имел, как устроен насос и никогда его не собирал — было бы записано, соответствовало бы месячному количеству сданных насосов!

В результате таких махинаций (я привел только два примера из многих) у меня в записной книжке всегда стояла некая тайная сумма, которую я мог распределить между людьми, как хотел. И когда наступал критический момент, когда надо было «выбить» месячный план любой ценой и не допустить остановки конвейера, я подходил к нужному мне рабочему и говорил:

— Вот что, друг. Сегодня останься часика на три и отфрезеруй-ка мне пару сотен головок блока. Сверхурочных писать не будем, но я тебе за это пятерочку подкину. Договорились?

И рабочий согласно кивал головой.

Абсолютно так же действовали все мастера в цехе, во всех других цехах. Так действуют они по сей день на всех заводах. «Секретные фонды», добытые мошенническим путем, необходимы им, как воздух, не только для маскировки сверхурочных работ или простоев. Из этих фондов приходится оплачивать и многие другие услуги, не предусмотренные дурацкой сдельщиной.

Вот пример. Ни в каких технологических картах не записана переноска деталей. Между тем по участку все время приходится таскать на руках тяжелые ящики с заготовками, катить тележки с готовой продукцией на конвейер и так далее. Кому это делать?

Отвлекать рабочих на переноску всяких грузов — и глупо и совестно. Глупо потому, что они из-за этого недодадут продукции, и план, без того очень напряженный, наверняка «погорит». Совестно — ибо за переноску нельзя заплатить человеку ни копейки, ведь «операция» не предусмотрена технологической картой. Вероятно, вы уже поняли, в чем выход. Конечно, в секретных фондах. У меня на участке был, например, здоровенный парень, и он охотно выполнял обязанности «под-

польного грузчика». Когда особой надобности в перетаскивании грузов не было, этот парень потихоньку работал на каком-нибудь станке. Когда надобность появлялась, я или любой из наладчиков показывал парню, что и куда перетащить. Его станочную работу (примерно $ 2 - $ 3 в день) мы ему никогда не записывали, она тоже шла в мой «секретный фонд». А грузчик получал у меня фиксированный месячный оклад независимо от выработки. Так мы умудрялись при сдельной оплате держать рабочего на твердом окладе, и он трудился прилежнее всех остальных, потому что был уверен в своем заработке и не хотел потерять такое надежное место. Для меня этот парень всегда служил живым опровержением не только самой сдельщины, но и всей советской системы, подобно множеству врачей, учителей, портных и прочих, которые проявляют чудеса искусства когда работают по частному найму.

IV

Как видите, система оплаты труда и его организации в России такова, что начисто исключает честную работу, вынуждает всех руководителей, от мала до велика, лгать и жульничать. Ведь, скажем, начальник нашего цеха тоже мошенничал ежемесячно. Как?

Обычно к концу месяца оказывалось, что дотянуть выполнение плана до заветной цифры 100,1 процента невозможно. А одна десятая процента сверх плана, эта скромная единичка после запятой, имеет огромное значение в русской системе плановой лжи. Без этой единицы в отчете ни один руководитель не имеет права получить премию «за перевыполнение плана». И начальник цеха пускался во все тяжкие.

Например, нельзя было собрать недостающие 500 моторов из-за того, что к ним не было головок блока цилиндров. Именно такой случай произошел в первый

же месяц моей работы мастером. Головка блока — это, можно сказать, половина мотора, на нее ставят множество агрегатов. Собрать мотор без головки невозможно ни при какой ловкости рук. Но, представьте, выход из положения нашелся немедленно.

Головок не хватило потому, что множество заготовок для них, полученных из Горького, были бракованными отливками — имели трещины, свищи в чугуне и так далее. Для горьковчан эти отливки были «принудительным ассортиментом», работой на сторону, и они их делали как попало. Казалось бы, вполне основательная причина, чтобы недодать 500 моторов — нельзя же винить начальника цеха за то, что с Горьковского автозавода поступает брак. Ан нет — по неписаным законам советского руководства начальник цеха все равно будет виноват ибо «на объективные причины ссылаться нельзя». Он это знает — и вот...

На моем участке, вдоль стены, лежал могучий штабель бракованных головок — тысячи две, я думаю. Они лежали и ждали приезда из Горького «представителя поставщика», чтобы совместно засвидетельствовать брак, написать акт и потом по этому акту потребовать от горьковчан бесплатной замены головок. Как вдруг я получаю распоряжение: выдать бракованные головки на конвейер для сборки двигателей!

Я был молод и глуп. Я знал, что за выпуск брака по сталинскому уголовному закону полагалось восемь лет заключения в лагерях. Я только недавно вернулся из лагеря и не хотел туда возвращаться. И я отказался давать брак на сборку. Даже сказал, что напишу об этом в «Правду».

Обрушив на мою голову яростный поток матерщины, начальник цеха выгнал меня из кабинета и сам, без моей подписи, распорядился вывезти головки на конвейер. Моторы были собраны, план выполнен, премии получены. Но те 500 моторов никуда с завода не ушли.

Они тихо пролежали на испытательной станции до тех пор, пока не пришли в достатке «свежие» головки. Тогда слесари-сборщики, работая по 15 часов в сутки за «секретный», конечно, гонорар, вручную «раздели» валяющиеся на полу моторы, переставили головки и вновь, с помощью гаечных ключей и отверток, кое-как собрали двигатели.

Точно так же жульничает и директор завода. Автомобили выпускают с конвейера без сидений, без рулей, без шин. А записывается, что они собраны. Потом, прямо в заводском дворе — если зимой, то в лютый мороз — сборщики приделывают недостающие детали. В мои времена дело доходило до абсолютных курьезов: в счет плана в последний день месяца засчитывались служебные разъездные автомобили директора, главного инженера, главного конструктора и начальников крупных цехов. Эти старые машины наспех красили и прятали их среди «толпы» предназначенных к сдаче автомобилей, а в первые же дни следующего месяца, пользуясь тем, что машины с завода вывозятся не сразу, заменяли новыми. Два-три дня директор и прочее высокое начальство ездило на такси, а боссы помельче, тоже временно лишенные автомобилей — на троллейбусах...

Вы любопытствуете, как в таком кавардаке соблюдается стандарт, качество продукции. Это важный вопрос. Он заслуживает подробного ответа.

V

Вспомним еще раз мое «невинное жульничество» с лунками в теле впускной трубы. Оно, увы, не было таким невинным как могло показаться. Ведь гайковерт со сточенной головкой не затягивал гайки с достаточной силой. Узел мог перекоситься, это наверняка привело бы к просачиванию отработавших газов во фланец кол-

лектора, то есть к потере мощности двигателя. И приводило, не сомневаюсь.

Теперь возьмем водяной насос. И я и мои наладчики всегда собирали насосы в спешке, стараясь сделать побольше в короткие свободные минуты. Уверен ли я был в качестве этих насосов? Боюсь, что нет.

Ну, а история с бракованными головками? Вы представляете, какие получались двигатели после ручной переборки в грязи, на полу испытательной станции? То же относится к любым деталям, установленным во дворе завода на «готовый», спущенный с конвейера автомобиль.

Все участники производства в Советском Союзе, от рабочего до министра, заинтересованы только в одном: «спихнуть с рук» готовую продукцию, получить документ о выполнении плана. Качество, в их понимании, должно быть лишь таким, чтобы продукцию можно было «спихнуть». Ведь дальнейшая судьба продукции абсолютно не интересует ее производителей — рынка нет, конкуренции нет, есть только планы, нормы, показатели, в которые нужно во что бы то ни стало «уложиться», и тогда получишь премию. Разумеется, что такое положение вещей ведет — и психологически и технически — к выпуску товаров самого низкого качества.

При всем том промышленность расходует ежегодно миллиарды рублей на содержание гигантского контрольного аппарата. В среднем по стране каждый десятый человек на производстве — контролер. Он получает зарплату квалифицированного рабочего, а начальники отделов и служб технического контроля оплачиваются по высшим инженерным ставкам. Никто из них не производит каких-либо материальных ценностей и — беру смелость сказать — не повышает качества изделий.

Вот как это происходит на том заводе, где мы сейчас находимся. Контролер участка подходит к мастеру и говорит:

— Останови немедленно деталь номер пять. Появился брак, занижен наружный диаметр.

— А много бракованных деталей нашел? — спрашивает мастер.

— Двадцать штук. Пишу браковочное извещение.

Мастер смиренно говорит: «Ладно, пиши» и идет к станку, где выпущен брак. Бывает — и чаще всего, — что там все в порядке, а контролер случайно «поймал» вчерашние детали. Сколько там было бракованных — никто не узнает, они ведь частично ушли на сборку. Тогда мастер успокаивает контролера, дескать, не волнуйся, причина брака устранена, а извещение прячет в карман.

Подходит конец месяца, и мастер вызывает контролера на конфиденциальный разговор. На стол выкладываются все браковочные извещения.

— Ну вот, погляди, чего ты мне набраковал, — говорит мастер. — Это я, так и быть, приму, это тоже, а уж насчет вот этих деталей, будь другом, — порви свои бумажки. А то ведь брак на участке превысит норму — и мне и тебе плохо будет. Согласен?

И контролер соглашается. Он ведь тоже хочет быть на хорошем счету, а для этого нужно, чтобы брака на участке было п о м е н ь ш е. Он только заботится, чтобы это как-нибудь не выплыло наружу, чтобы мастер умело «сплавил» с участка бракованные детали. И их артистически прячут в ящики со стружкой, например, которые затем вывозят с завода на переплавку.

Следующий этап — доверительная беседа мастера с рабочими. Он собирает всех, к примеру, токарей и объявляет:

— За этот месяц брака по токарным работам набежало на тридцать девять рублей. Не будем разбираться, кто да что, а с каждого по трешечке. Не возражаете, ребята?

Ребята не возражают. Удержания за брак — что-то

вроде дополнительного налога. Привыкли. Возможно, что весь брак сделал кто-нибудь один из них, но для одного такой вычет означал бы недели голодного существования, семейную катастрофу. Лучше разделить. Тем более, что ведь это редко бывает по небрежности: станки старые, разболтанные, инструмента всегда не хватает, работаешь резцом до последней возможности — как не сделать брака?

Я думаю, из этого примера понятно, почему к а ж д ы й выпущенный заводом автомобиль имеет хоть какой-нибудь брак. Откуда мне это известно? Очень просто: каждый владелец автомобиля «Москвич» хоть раз да предъявляет свою машину для исправления дефектов в течение гарантийного срока.

Но если вы думаете, что автомобили — товар исключительный, то ошибаетесь. Телевизионные заводы Советского Союза в момент выпуска каждого телевизора переводят определенную сумму денег Управлению ремонтных мастерских. Эта сумма, выплачиваемая заранее и, конечно, включаемая в себестоимость телевизора, покрывает расходы по будущему гарантийному ремонту. Переводя эти деньги за к а ж д ы й телевизор, завод молчаливо признает неизбежность брака. Этот «порядок», узаконивающий брак, критиковался даже в советских газетах, но тем не менее продолжает существовать.

Раз уж мы упомянули о газетах, то стоит сказать, что им предписывается постоянно призывать к повышению качества продукции. И призывают. Выдумывают всякие броские лозунги вроде «Советское — значит отличное», крупными буквами набирают требования «поднять качество советских товаров до уровня мировых стандартов!» На заводах объявляют специальные кампании по борьбе с браком, созывают собрания, говорят речи. Тот же начальник цеха, который распорядился насчет бракованных головок, произносит очень горя-

чие речи о необходимости «всемерно поднимать качество и надежность нашей продукции». Вы услышите от него, что мы, автозаводцы, «должны дать советскому человеку добротный, надежный автомобиль».

А директор завода отлично знает, что этот начальник цеха физически не мог собрать в прошлом месяце полное количество моторов, потому что у него не было головок. Но моторы все-таки собраны, план выполнен, и директор вовсе не собирается выводить начальника цеха на чистую воду, хотя сделать это было бы и очень легко. Наоборот, он доволен таким начальником цеха — оборотист, умеет выходить из положения. И директор пишет очередную статью в «Московскую Правду» — «Как мы повышаем качество автомобилей».

Все, что я описал в масштабе завода, переведите в масштаб страны — вы не сделаете ни малейшей ошибки. Напротив, сообщаю не без патриотизма, что «мой» завод — еще один из самых благополучных по качеству. На других предприятиях брака — и явного и скрытого — куда больше.

Советское — значит отличное...

VI

О том, что организация производства в СССР, система оплаты труда и качество продукции никуда не годятся, русским лидерам хорошо известно. Один из них, премьер-министр Алексей Косыгин, откровенно говорит об этом на различных «закрытых» совещаниях. Неплохо представляет себе ситуацию и Николай Байбаков, председатель Государственной плановой комиссии, самый умный представитель нынешней группы советских руководителей. Оба они — и Косыгин и Байбаков — занимали министерские посты при Сталине, оба, надо полагать, понимают, где лежит корень зла. Тем безнадеж-

нее выглядят их попытки реорганизовать промышленность, улучшить ее работу, оставив корень зла нетронутым.

Коротко говоря, дело сводится вот к чему. В период сталинской индустриализации, в 30-е годы, развитию советской промышленности помогали два мощных фактора — энтузиазм и страх. Энтузиазм подогревали участники революции 1917 года. Многие из них были подлинными идеалистами, они считали революцию своим детищем и хотели ценой голода, холода и любых лишений создать в России рай для потомков. Это были суровые люди, аскеты — я лично знал многих таких. Заботу о собственном благосостоянии, стремление жить получше они считали «буржуазным перерождением», предательством интересов революции. Их влияние на тогдашнюю молодежь было огромно, ибо молодежь высоко ценит личный героизм, а «старики» сплошь и рядом были исключительными героями. Их энтузиазм, подогреваемый истошными криками прессы и радио, передавался молодежи. И комсомольцы тридцатых годов работали как дьяволы на заводах и стройках, живя в полной нищете, голодая и умирая с революционными лозунгами на устах.

А потом как-то незаметно подкрался страх. Сталин начал планомерно уничтожать «стариков», помешанных на идее революционного равенства. Страшно разросшийся полицейский аппарат требовал все новых жертв, иначе он не мог оправдать собственное существование. Возникла эпидемия доносительства — сын клеветал на отца, брат на брата. К середине тридцатых годов сложилась двадцатимиллионная лагерная империя, государство в государстве. Людей начали расстреливать прямо в тюрьмах, для чего оборудовали подвалы по специальному образцу (в следующей главе я приведу одно интересное свидетельство об этой «технике»).

В такой обстановке что оставалось рабочим? Они

боялись раскрыть рот, чтобы возразить против любого произвола: ярлык «враг народа» был всегда наготове. Они боялись работать с прохладцей, не выказывая усердия, — это могло быть расценено как саботаж. Они боялись не кричать «ура» в нужные моменты — за молчание тоже упекли в лагеря и расстреляли немало тысяч человек.

И промышленность работала. Ее руководителям тогда было очень страшно жить на свете — в любую секунду могли арестовать невесть за что, — но управлять предприятиями было относительно легко. Не надо было решать никаких экономических проблем, вся работа заключалась во внеэкономическом принуждении.

Сегодня, через 50 лет после революции, энтузиазм испарился без остатка, а страх основательно пошатнулся. В газетные призывы и радужные картины не верит никто, агентов секретной полиции боятся все меньше, а ненавидят все больше. Решающим стал один фактор — экономический.

Я говорю «решающим», но это не значит «единственным». Нельзя сбрасывать со счетов и другие. Прежде всего существует инерция, вращение такого исполинского маховика как Россия. Будучи предоставлен сам себе, без активного революционного вмешательства, этот раскрученный Сталиным маховик способен вращаться еще неопределенно долго. А чтобы революционного вмешательства не произошло — об этом заботится по-прежнему мощная секретная полиция. Ее главный рычаг — страх и взаимное недоверие — тоже пока действует.

Но, повторяю, эффективность работы в промышленности, несмотря на технический прогресс, не увеличивается. И внимание высших лидеров в связи с этим приковано теперь к экономике. Они больше не произносят пустых фраз о социалистическом соревновании или о приходе коммунизма на следующей неделе, как любил делать еще Хрущев. Они пытаются улучшить дело в промышленности экономическими мерами.

Экономическую реформу производства, объявленную на Пленуме ЦК осенью 1965 года и «утвержденную» весной следующего года XXIII съездом партии, возглавляют уже упомянутые мною Косыгин и Байбаков. Суть их намерений довольно проста: они хотят, чтобы как можно больше участников производства, вплоть до рабочих, было заинтересовано в доходной, рентабельной, а, значит, и производительной работе предприятий. При этом используются идеи, развитые три года назад в газетных и журнальных статьях харьковским профессором экономики Е. Либерманом.

По Либерману (или по решениям XXIII съезда КПСС, как хотите), предприятия должны теперь платить за предоставлявшиеся до сих пор бесплатно основные фонды — здания, сооружения, оборудование. Они должны также заботиться о сбыте своей продукции, для чего поощряется заключение прямых договоров с покупателями. Директорам предоставляется право самим определять численность рабочей силы и технического персонала, меняя эту численность в соответствии с потребностями производства. И если в результате хорошей работы завод получит прибыль, то часть этой прибыли можно разделить между руководителями, рабочими и служащими в виде премий или доплат. Наконец, директорам заводов предоставлено ограниченное право изменять систему оплаты труда, то есть в некоторых случаях отменять сдельщину.

Выглядит реалистично, не так ли? Теперь послушайте мой разговор с инженером-экономистом, которому поручено готовить перевод завода «Москвич» на новую экономическую систему.

— Александр, расскажите, пожалуйста, чего вы ждете от новой экономической системы.

— Что ж, я думаю, нашему заводу станет полегче. Особенно, если разрешат отменить сдельную оплату,

выгнать тысячу-другую «лишних ртов» и поощрять как следует действительно важных и хороших работников. Я эти предложения уже написал, директор утвердил, но вот дадут ли разрешение — это вопрос.

— Почему вопрос?

— А потому, что экономическая реформа уже прошла на нескольких сотнях заводов, и есть печальный опыт. Понимаете какая штука: все предприятия начали с того, что сократили штаты. Ведь по новой системе общий фонд зарплаты по-прежнему не разрешается перерасходовать, даже если это сулит выгоды в ближайшем будущем. И директора обрадовались возможности разделить пирог между меньшим количеством едоков.

— Что же произошло?

— Известно что. Безработица. Пятьдесят лет не было, а теперь — здравствуйте! И говорить о ней вслух нельзя, и биржу труда не открывают, и пособий не платят. Наши кадровики прямо желтые ходят: не научились еще отказывать в приеме на работу с холодным сердцем. А тут мы собираемся еще своих увольнять. Я уж стал ходить по заводу с опаской: пронюхают, что это мой проект насчет увольнения, — того гляди, линчуют.

— И как по-вашему, большая сегодня безработица?

— Точно ничего не знаю, цифры эти секретные, а, может быть, и нет цифр вообще — кто их учитывает, коли нет официальной регистрации. Но не так давно слушал я доклад Председателя комитета по профессионально-техническому образованию Булгакова — знаете, это комитет, который ведает подготовкой рабочих в ремесленных училищах — из мальчишек и девчонок. Булгаков явно был в панике от того, что скоро некуда будет девать его выпускников. И он давал кое-какие цифры. В целом-то по стране он, понятно, ничего не сказал, но

для примера привел Молдавию. Там, оказывается, из четырех миллионов трудоспособного населения около миллиона не имеют работы. Объяснение дал такое: Молдавия слабо развита в промышленном отношении, а молодежь, оканчивающая средние школы, не хочет уезжать с насиженных мест. Можно идти работать в колхозы, можно ехать в Сибирь — так он сказал. Но не идут и не едут, отсюда высокая безработица.

— А что в Сибири?

— Там, говорят, пока недостаток в рабочей силе. Очень велика текучесть. Приедут, поработают чуть-чуть — и обратно в теплые края.

— Что же они — морозов пугаются?

— И морозов, конечно. А только я так думаю: мороз не страшен в теплом доме и при сытной еде. Люди бегут из Сибири потому, что и с домами там плохо и еда слабовата. Но, может быть, голод в конце концов погонит безработных в Сибирь — тогда, значит, реформа своего достигнет.

— Ой, Саша, этих слов мне даже не хочется слушать. Как-то уж очень бесчеловечно они звучат. Разве реформа рассчитана на то, чтобы «загнать голодных в Сибирь»?

— Ну, вы можете подобрать более мягкие выражения, если хотите. Кроме того, я не думаю, чтобы реформа специально для этого затевалась. Цели-то правильные — поднять производительность труда, подстегнуть экономику. А результаты — они на Руси испокон веку расходились с благими целями.

— Хорошо. Забудем на момент безработицу. Есть еще препятствия в проведении реформы или только это?

Александр пожимает плечами.

— Многое еще просто-напросто непонятно — даже экономистам предприятий, которые официально уже перешли на новую систему.

— Например?

— Сколько хотите примеров. Вот, допустим, государственный план. Он ведь остается и в него по-прежнему надо «укладываться», выгодно это тебе или нет. Директор даже не может прекратить выпуск какой-нибудь убыточной продукции, потому что кому-то эта продукция нужна, и в другом месте он ее не получит. Скажем, представьте себе, что московский завод «Каучук» из экономических соображений перестанет выпускать уплотнители дверей для нашего «Москвича». Они там на «Каучуке» проклинают эти уплотнители — сложная работа, много брака, стоят копейки — в общем, одни неприятности. А перестанут делать — красиво мы будем выглядеть! Но, слава Богу, не перестанут, у них есть план по ассортименту, и какая там экономическая система, новая или старая, а уплотнители гони. Но, конечно, для них это явная дыра в экономике.

— Погодите, Саша, погодите. Но ведь «Каучук» мог бы сделать простую вещь — потребовать с вас за уплотнители более высокую цену. И все в порядке, «дыра», как вы сейчас сказали, заткнута. Вы бы поторговались-поторговались и заплатили — куда денешься! А потом стали бы потихоньку искать другой завод, который, может быть, сумел бы сделать эти самые уплотнители дешевле. Это же ясно как дважды два четыре!

— Простите меня, но это полная чушь. У нас какая экономика? Социалистическая? Ага. А вы что предлагаете? Свободный рынок, коньюнктурное изменение цен. С ума сошли?

— Но почему же нет, Саша, если те же уплотнители д е й с т в и т е л ь н о убыточны? Это же глупо — продавать с убытком, если платишь за основные фонды и живешь с собственной прибыли. Сказавши «А»...

— Ладно, не продолжайте. Я нарочно привел вас к абсурду, чтобы показать, сколько неясного в экономической реформе. Но если есть в ней что-либо ясное, так

только одно — на свободную игру цен, конкуренцию, отсутствие планирования по ассортименту не рассчитывайте. Хозяева на это не пойдут. Почему? Да вот потому, что вы сами только что произнесли. Сказавши «А», надо говорить «Б», потом «В», и по этому алфавиту мы в два счета приедем к свободному предпринимательству — к капитализму.

— Вам это страшно?

— Мне лично — нет. Хозяевам страшно. Службу могут потерять. Так что подобной перспективы, считайте, не существует. Все, что хотят хозяева, — это сказать «А» и ни в коем случае не говорить «Б». У них на сей счет есть кое-какие соображения. Вот, скажем, цены. Они ведь там, наверху, понимают, что цены абсурдны (возьмите те же уплотнители). Ага, значит, надо цены переделать. И вот скоро уже два года работает громадная организация — Государственный комитет цен. Задача: привести цены, хотя бы оптовые, в соответствие с затратами труда и материалов на каждый товар. Конечно, они рано или поздно что-нибудь родят, но это «что-то» уже назавтра начнет устаревать. Мыслится, что по обстановке на местах комитет цен сможет корректировать первоначальные цифры, но ведь утверждать-то все равно должен Совет министров. Значит, на изменение любой цены «по инициативе снизу» понадобится год, не меньше. И ведь цены все связаны, каждое изменение будет корежить планы, отчеты, прибыли. Нет, знаете, я бы в этот комитет работать не пошел.

— Но как же тогда реформа?

— А вот так. Велено проводить — проводим. К чему - к чему, а к реорганизациям мы приучены. Хрущев разогнал министерства и наплодил совнархозы в экономических районах. Это, мол, ленинская форма управления хозяйством. Лопнула ленинская форма — Брежнев

с Косыгиным разогнали совнархозы и посадили в центре прежние министерства. Теперь идет новый вариант — децентрализация, но без совнархозов. Руководство централизовали в министерствах, а одновременно требуют инициативы на местах. А, да что там...

— Как же вас понимать, Саша? Реформа, по-вашему, мыльный пузырь?

— Слушайте, вы же все-таки инженер. Неужели надо задавать детские вопросы? Ну, смотрите сами: половина предприятий страны работает «на оборону», то есть сдает свою продукцию прямо в казну. Что же, по-вашему, военные заводы тоже могут вести коммерческую деятельность, работать с прибылью? Нет? Отлично. Тогда как быть с металлургией, с углем, с нефтью, которые тоже большей частью идут «на оборону»? Может быть, директор металлургического завода станет торговать своей продукцией — «а вот кому свежую сталь!»? Тоже нет? Превосходно. Что же остается? Автозаводы, может быть? Как бы не так. Это ведь только наш завод — единственный! — практически не имеет военных заказов. А все остальные гонят военные машины — грузовики, бронетранспортеры, «джипы» и прочие. Значит, и им «реформироваться» нельзя. Ну, а легкая промышленность — любимица Косыгина — она, пожалуй, поиграет в реформу, если получится что-нибудь путное. Пока «получаются» только безработные.

VII

Ну что ж, зайдем отметить пропуска, да и домой. Кое с чем Вы, кажется, познакомились. Давайте только на минутку остановимся вот здесь, у доски объявлений. Почитаем, тексты интересные. Скажем, этот большой лист, исписанный красными буквами, гласит:

МОЛНИЯ

Бригада слесарей КОК, во главе с комсомольцем Юрием Новожиловым, вступив в предвыборное соревнование, сдала за смену 9 машин сверх плана.

ПРИВЕТ ПЕРЕДОВИКАМ!

Через два месяца предстоят выборы в Верховный Совет СССР. Выборов как таковых не будет, каждый избиратель просто получит бюллетень с одной-единственной фамилией и опустит его в урну. А список кандидатов уже сегодня, до их выдвижения, готов в Отделе кадров ЦК. Но это все неважно, главное, что приближается некая дата — выборы в Верховный Совет. И партком получил инструкции из райкома «развернуть на заводе предвыборное соревнование за перевыполнение норм, снижение себестоимости продукции, повышение ее качества». Никто на самом деле никакого соревнования не развертывает, просто в цехах вывешивают плакаты: «Встретим выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми победами».

Но парткому этого, конечно, мало. Надо отрапортовать в райком о том, что «вдохновленные призывом развернуть предвыборное соревнование, рабочие завода наращивают производительность труда, выпускают сверхплановую продукцию». И вот берется удачная смена, когда поменьше было простоев, а, может быть, скопилось много машин для сдачи, и слесари остались часика на два после конца рабочего дня (без сверхурочных, разумеется). КОК — это контрольно-отделочный корпус, там устраняют дефекты готовых машин после выпуска их с конвейера, и бывают автомобили «легкие» и «трудные». Случается, что в смену попадется много «легких» автомобилей, тогда можно сдать больше нормы. Как бы то ни было, берется такая удачная смена и «пристеги-

вается» к предвыборному соревнованию. В общем, язык этого плаката больше всего напоминает мне Новоречь. Помните «1984» Оруэлла? Да и вся ситуация жутковато смахивает на оруэлловские победные плакаты для «пролов». Только дело в том, что никто здесь не может провести параллель — книги Оруэлла относятся к числу самой запретной литературы в СССР, и даже сегодня за чтение «Энимэл фарм» или «1984» вас посадят немедленно.

Ладно, вот следующий плакат:

ПОЗОР

начальнику кузнечного цеха СТАРОСТИНУ и мастеру участка горячей штамповки ВИНОГРАДОВУ. Из-за неподачи поковок ступицы остановилась сборка передней подвески в цехе шасси.

Это уже, так сказать, деловой разговор! Возможно, что у кузнецов вышел из строя штамп или случилась авария с прессом. Может быть, просто не было нужного металла. Но в это никто не вникает. Директор завода выслушал жалобу начальника цеха шасси, что кузнецы не дают ему поковок (очень важно вовремя пожаловаться, это иногда отводит удар, грозящий тебе самому) и позвонил в партком: ну-ка, выпустите лист позора по адресу Старостина! Обычай такой: если цех имел лист позора, то начальник цеха в этом месяце премии не получит.

«Листы позора» имеют и еще одну, скрытую цель, о ней вам никто на заводе не скажет и даже сознают ее очень немногие. Цель эта — натравливание одних рабочих на других, отвод недовольства в нужное русло. В самом деле, рабочие цеха шасси простояли день без дела, простои им не оплатили — они недовольны. Но, ока-

зывается, не администрация виновата, не власть, а эти противные кузнецы, которые не дали поковок. Что же до кузнецов, то они знают, что в происшествии их вины нет, и думают примерно так: «ну и кляузники эти шассисты, у нас авария, а они, ничего не спросив, бегут жаловаться начальству». Взаимное недовольство, отсутствие рабочей солидарности — это как раз то, что нужно хозяевам.

Вы говорите, что эти плакаты, независимо от содержания, напоминают вам «Дацзыбао» — настенные плакаты китайской «красной гвардии»? Да, это тот же пропагандистский примитив, но только правильнее будет сказать, что китайские плакаты напоминают эти. Ведь приоритет, бесспорно, принадлежит России. И термин «красная гвардия» и вывешивание категорических плакатов с готовыми суждениями — все это существует здесь уже почти полвека. Китайцы не трудились выдумывать — они идут проторенной дорожкой. Откройте советские стенные газеты тридцатых годов, и увидите, что даже фразеология мало чем отличается. Недавно мне показали «стенновку» московского подшипникового завода, выпущенную тридцать лет назад, точнее в 1936 году. Две огромных «шапки» украшали газету: «Инженеры Савин и Бурштейн ставят палки в колеса стахановцам» и «Кирзавод во вражеских руках» («кирзавод» это кирпичный завод в переводе с Новоречи).

Сегодня, когда советская печать благородно возмущается плакатами китайских «хунвэйбинов», об этом сходстве стараются не напоминать. Любопытен маленький штрих: в советских газетах юные китайские головорезы в первые дни их появления назывались своим именем — «красной гвардией», именно таков перевод слова «хунвэйбин». Но аналогия оказалась нестерпимой, и газеты получили указание впредь именовать «хунвэйбинов» красной охраной и непременно ставить эти слова в кавычки. Так по сей день и делается.

О, смотрите, вот несут свежий плакат, сейчас его вывесят. Огромный-то какой! Ну-ка, что в нем? А-а, это совсем на другую тему.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

СЕГОДНЯ в 15 часов 30 минут на заводском дворе состоится ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ. Повестка дня — выдвижение кандидатов в депутаты ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ВСЕ НА МИТИНГ!

Завком профсоюза

Сколько сейчас времени — без пяти три? Как вы думаете — останемся на часок, а? Зрелище будет определенно любопытным.

Обратите внимание, что плакат вывешен за пять минут до конца смены. Почему? Потому что охрана завода получила распоряжение никого не выпускать за ворота раньше окончания митинга. Рабочие хорошо осведомлены об этом «порядке», и если бы они знали о митинге с утра, то очень многие из них «заболели» бы и, получив записку мастера на проход в санчасть, не вернулись бы больше на территорию. Другие отпросились бы на сегодня «по неотложным личным делам», третьи забились бы по всяким закоулкам, которых на заводе множество, и до конца митинга играли бы в домино. Словом, собрать аудиторию, нужную операторам кинохроники и телевидения (вот как раз их машины с аппаратурой въезжают в ворота), было бы труднее. Ведь завтра в газетах будет написано, что «многотысячный избирательный митинг рабочих, инженеров и техников завода Малолитражных автомобилей единодушно назвал своим кандидатом...» и т. д. Понимаете — многоты-

сячный! Так хоть тысячу или полторы собрать обязательно надо.

Вот по этой причине о митингах никогда не извещают заранее, а всегда захлопывают ловушку в последний момент. Люди, ничего не подозревая, выйдут после смены во двор — и пожалуйста, они уже участники митинга.

Смотрите — пошел народ. Волнами к проходной — и назад, кто с шуткой, кто с руганью. Суть дела не интересует абсолютно никого, каждый заинтересован лишь в том, чтобы митинг поскорее окончился.

Там, впереди, как видите, уже красуется обтянутая красным кумачом трибуна (она разборная, и ее «воздвигают» в случае надобности за 15 минут). На ней появляются директор завода, секретарь парткома, председатель завкома профсоюза, — а вот этот, четвертый кто? Явно из начальства — ага, вероятно, представитель райкома или горкома партии. И с ними, конечно, трое рабочих. Ну да, это заранее подготовленные ораторы.

Собственно говоря, весь митинг, включая текст резолюции, подготовлен заранее. Фамилия кандидата, которого нужно «выдвинуть», прислана из райкома партии, а словесное оформление митинга изготовлено, так сказать, собственными силами, в парткоме завода. Помню, когда работал в заводской газете, у нас была одна «очень партийная» дамочка, она писала все тексты речей для рабочих. Бывали случаи, когда она болела, и составление речей поручалось кому-нибдь из остальных сотрудников газеты. Каюсь, сам две или три написал, хоть и сильно не любил это делать.

Слышите — начали! Секретарь парткома открывает митинг короткой речью: «В эти дни, когда весь советский народ выдвигает кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, когда страна удостаивает лучших своих сынов быть народными избранниками (так по-русски нельзя сказать, надо было что-нибудь вроде «удостаивает чести быть избранниками», но ник-

то кроме нас с вами абсолютно не обращает внимания на текст — с таким же успехом оратор мог бы говорить по-санскритски или просто нести абракадабру. Слышите: все вокруг нас беседуют друг с другом о своих делах), в эти знаменательные дни коллектив нашего завода трудится с особым подъемом. Бригада слесарей Юрия Новожилова...» Ну, это мы уже читали в «Молнии», послушаем лучше разговоры в толпе.

— Вы, орлы, слыхали анекдот про Вьетнам?

— Не-а.

— Обхохочешься! Значит, сбивают там американцы новейший советский самолет, он взрывается в воздухе, а нашего русского пилота захватывают в плен. И вот его пытают по-всякому — как, мол, устроен двигатель самолета. А парень — ни слова. Ну, тем временем, значит, партизаны атакуют и летчика отбивают. Тот еле жив, пока к своим привезли, вовсе помирать собрался. Все стоят кругом него — мол, Ваня, ты великий герой, скажи нам свой завет на прощанье. Он, значит, шепчет им перед смертью: «Изучайте материальную часть...»

Аплодисменты. Нет, это не по поводу анекдота. Это кончилась чья-нибудь речь на трибуне. Место занял следующий оратор. Рабочий. Читает речь, запинаясь. «Наша бригада электриков кузовного цеха взяла на себя повышенные обязательства в честь прибли... приближающих...ся выборов в Верховный Совет СССР...» А, ладно. Рядом опять говорят что-то интересное.

— Серега, а наши летчики правда есть во Вьетнаме?

— В Южном Вьетнаме, по-моему, нет. Только в Северном. Так ведь то анекдот, голова.

— Не, я понимаю, анекдот. А по делу, как думаешь — полезем мы там на американцев?

— А хрен его знает. Там без нас косоглазых полно. В общем, полезем ли, нет ли — нас с тобой не спросят.

Соберут вот такой митинг, мы поаплодируем, крикнем «ура» — и порядок. Понял?

— Ага. Ну чего они там развозят? Э, начальство, кончайте кота за хвост тянуть, жрать охота!

Сдержанный смех кругом. Голос:

— Ты докричишься, Витька, докричишься. Выборный митинг, а ты...

Витька огрызается:

— Ишь, милиционер, мать твою! Вали, арестуй за то, что жрать хочу.

— Тише вы, черти, не слышно, кого выдвигают!

— Наверно, тебя, Машка.

Опять смех. И тут же шквал аплодисментов, потому что оратор (тоже рабочий) предлагает выдвинуть в Верховный Совет Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. О, это, значит, не конец митинга. Сейчас выдвинут еще какую-нибудь кандидатуру.

Нет-нет, второй кандидат не будет соперником Брежнева на выборах. Просто Брежнев будет баллотироваться по какому-нибудь другому избирательному округу, а второй, тот, кого сейчас назовут, останется кандидатом в этом районе. Откуда я все так точно знаю? Да просто это сталинская механика, к ней давно привыкли.

Видите ли, во времена Сталина его кандидатуру обязательно выдвигали в каждом округе, на каждом собрании. Он так и назывался — «всенародный кандидат». Но в то же время все заранее знали, что он будет баллотироваться в «своем» округе — в Сталинском районе Москвы. И там, в Сталинском районе (теперь, понятно, он так не называется) выдвигали только его, никого больше. А во всех остальных округах называли еще и другую фамилию. Потом официально, письмом в Центральную избирательную комиссию, Сталин благодарил за «всенародное доверие» и сообщал, что «при-

нял решение» баллотироваться в Сталинском районе Москвы. Понятно?

Ну вот, эта самая механика, столь же идиотская и издевательская, продолжается поныне. На собраниях в большинстве округов выдвигают кандидатами кого-нибудь из членов Политбюро (фамилии тоже рассылаются из Москвы, чтобы соблюдать пропорции, соответствующие рангу каждого из них). Там, где члены Политбюро действительно будут баллотироваться (это, разумеется, опять же известно заранее), никого кроме них не выдвигают. Но Брежнев здесь не будет, он, насколько помнится, проходит обычно где-то в Ленинграде. Поэтому сейчас назовут кого-то еще, а через неделю или две члены Политбюро подпишут коллективное письмо в Центральную избирательную комиссию. Они, так же как когда-то Сталин, поблагодарят «за доверие» и сообщат, в каких округах их фамилии должны быть вписаны в бюллетени. Вот сейчас... Эх, прозевали мы с вами: уже кого-то второго выдвинули. Слышали только что аплодисменты? Это как раз назвали фамилию. Может быть, предложили кандидатуру секретаря горкома партии (все секретари обкомов и большая часть секретарей горкомов — депутаты Верховного Совета), а быть может назвали какую-нибудь Анну Ивановну Лукьянову, работницу соседнего машинного завода. Пока что личность кандидата абсолютно неизвестна присутствующим, но им это безразлично — их ведь не спросили, как в только что подслушанном нами разговоре о Вьетнаме.

Примерно месяц спустя кандидат, как бы его там ни звали, приедет сюда, появится на этой же самой трибуне. Те же операторы кинохроники отснимут митинг встречи кандидата с избирателями. Подойдет воскресенье — и все, кого вы видите вокруг, вместе с семьями, пойдут на избирательные участки и послушно опустят в урны бюллетени с именем, которое только что здесь

прозвучало. Верховный Совет соберется на сессию, и Анна Ивановна Лукьянова, сидя в задних рядах (депутатов рассаживают тоже по рангам), будет поднимать руку всякий раз, когда будут поднимать ее соседи. Потом она получит депутатские талоны в ГУМ и там, в специальном закрытом отделе, купит заграничную вязаную кофту и баночку красной икры...

Крутится сталинский маховик, крутится — инерция велика!

*

Сейчас, когда пишутся эти страницы, с момента нашего посещения завода прошло два года. Экономическая реформа в СССР продолжается. Я раскрываю советские газеты, советские журналы и выписываю для вас, что говорят о реформе сами русские лидеры и специалисты. Всего два высказывания.

Говорит Александр Бирман, профессор Московского института народного хозяйства имени Плеханова, доктор экономических наук (хорошо помню его книгу, подводившую «теоретическую базу» под хрущевские нововведения):

«Оказывается и сейчас еще, после того как осужден «вал», заклеймлено очковтирательство и, казалось бы, сам воздух пропитан идеями экономичности, разумности и рачительности, даже сейчас металлургическим заводам устанавливают производственную программу нереальную, волюнтаристскую, так как домны, мартены и прокатные станы, на которые эта программа рассчитана, зачастую еще не построены, не введены в эксплуатацию.

Предоставим философам и социологам выяснить вопрос, почему так поступают работники Госплана».

Затем уважаемый профессор в пространной статье советует планировать получше, а предприятиям, если у них в результате «планирования» не станет денег для

расчета за материалы, рекомендует... не платить своевременно зарплату рабочим. Мера, ничего не скажешь, радикальная. Помнит ли профессор, что было шесть лет назад в Новочеркасске?

Теперь дадим слово Председателю Госплана и «отцу» экономической реформы Николаю Байбакову:

«Предприятия, перешедшие на новую систему, работают по одним условиям, уже составляют свои планы по ограниченному кругу показателей, а в то же время остальные продолжают хозяйственную деятельность на иных принципах. Двусторонние обязательства между такими предприятиями не всегда удается установить».

Это из газетного интервью. А дальше в том же интервью Николай Байбаков неожиданно заявляет, что реформа вообще-то была не так уж и обязательна. «Речь идет не о преодолении какого-то спада, а об обеспечении более рационального и экономичного хозяйствования. Экономическая реформа как раз и преследует эту цель».

Да, наш собеседник, заводской экономист Александр, зорко смотрел вперед. Лидеры уже натягивают вожжи, стремясь сдержать реформистский пыл. Они не хотят говорить «Б». А тем временем промышленность ковыляет по-прежнему на дутых планах и обманной статистике.

И советские рабочие не питают иллюзий. У них все больше митингов и все меньше шансов на нормальное, человеческое существование.

Глава III

НАШИ СЛАВНЫЕ ХЛЕБОРОБЫ

Если будет суд... — Разделяя, властвуй. — Продотряды, продразверстка и продналог. — Ночные эшелоны. — Шура Потапова, миловидный палач. — Как обойти закон. — Кукуруза под снегом. — Улучшения без надежд.

I

— Если когда-нибудь состоится публичный суд над нынешним режимом, — сказал мне сибирский журналист, известный своими сельскими очерками, — то самыми тяжкими обвинителями на суде будут крестьяне. Ад, разверстый для них Сталиным, продолжается по сей день.

Этот человек знал деревню гораздо лучше меня, но все-таки я с ним не согласился. И дело было не только в том, что возможность публичного суда над современными русскими диктаторами представляется мне маловероятной. Я сказал моему собеседнику, что чаши страданий рабочих, крестьян, интеллигентов, переполненные до краев за последние 50 лет, практически одинаковы. Но главная его ошибка та, что всю вину за крестьянские муки он взвалил на Сталина.

В последующем споре мой собеседник признал, что ужасы в деревне начались еще до Сталина, что львиную долю ответственности за них нес Ленин.

Читая эту книгу, вы успели, вероятно, заметить, что я не пишу историю и не вдаюсь в теоретический анализ. Последующие несколько страниц будут единст-

венным исключением из этого правила. Положение советских крестьян настолько сложно, что его невозможно понять, опираясь только на сегодняшние факты.

II

«Основоположники марксизма», как принято именовать в России Карла Маркса и Фридриха Энгельса, не дали никаких указаний, что делать с крестьянством после пролетарской революции. Говоря о грядущей диктатуре пролетариата, они имели в виду промышленно развитые страны вроде Англии XIX века, где рабочий класс численно превосходил все остальные и продолжал набирать силы. Но Ленин готовил свою революцию в типично крестьянской стране, где пролетариат даже в начале XX века составлял скромное меньшинство. Надо было найти место в послереволюционной структуре России для 100 миллионов деревенских жителей, определить их роль в стране.

Ленин был городским жителем, образование имел юридическое. Положение в русской деревне было ему известно только из книг и газет. Среди его коллег по революционному движению не было ни одного крестьянина (к слову сказать, очень мало было и рабочих). Но все это не смутило гения революции, и он бодро «развил и дополнил» марксизм своими предначертаниями по крестьянскому вопросу. Его дилетантская теория, дополненная послереволюционной практикой, была смертным приговором русскому крестьянству.

Из сочинений Ленина очень ясно видно, что крестьян он презирал, считал людьми второго сорта, призванными обслуживать «гегемона революции» — рабочий класс. Он писал, что крестьянство насквозь пропитано мелкобуржуазной собственнической психологией, повторял слова Маркса об «идиотизме деревенской жизни», с ненавистью упоминал о патриархальном

укладе сельской семьи, который, конечно же, предлагал немедленно разрушить. Маскируя это свое истинное отношение к крестьянству (которое, однако, сразу после революции воплотилось в кровавые погромы), Ленин «пристегнул» крестьян к марксизму, объявив, что послереволюционное правительство будет «революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства».

Пожалуйста, не пытайтесь постичь суть последней формулировки. Ее никто никогда толком не понимал, ее лишь послушно повторяли. Сочетание таких слов как «демократическая диктатура» равносильно фразам «черный снег» или «сухая вода», но ведь слова Ленина обсуждению не подлежат. Любое их извращение — ересь, и масштабы применения аутодафе за эту ересь совсем не те, что были в XVI веке у гуманной и нерешительной Святой Инквизиции...

По Ленину, все крупные землевладельцы должны были быть экспроприированы. Лозунг революции звучал заманчиво — «земля — крестьянам», но это вовсе не означало о т д е л ь н ы м крестьянам. На первом этапе допускалась передача отобранных земельных наделов в п о л ь з о в а н и е крестьянам-беднякам, однако это была не их земля, а государственная. Крестьяне на ней были в лучшем случае испольщиками, так как львиную долю урожая следовало безвозмездно сдавать государству.

Нетрудно понять, что это означало откровенную классовую дискриминацию. Рабочие практически ничего не должны были отдавать бесплатно, они с первого дня революции обкладываются весьма низким налогом. Крестьяне же, формально уравненные в правах с рабочими («диктатура пролетариата и крестьянства»!) были обязаны без малейшей компенсации отдавать куда больше, чем прежде доставалось помещику. Пропагандистский ленинский тезис гласил, что «за это» рабочие

посылают им сельскохозяйственные машины, но это был совсем уж откровенный обман: сразу после организации машинно-тракторных станций с крестьян стали брать дополнительно тяжелую «натуроплату» за пользование машинами.

Вероятно, сам Ленин понимал, что подобная политика по отношению к крестьянам — просто-напросто высасывание соков, обыкновенный грабеж. Стало быть, требовались особые меры, чтобы удержать в повиновении и беспрепятственно грабить десятки миллионов людей. В качестве главной меры ленинская теория рекомендовала старинный метод всех тиранов — «разделяя, властвуй». Было сказано: крестьяне отнюдь не равноценны перед лицом революции. Истинно революционны только бедняки, им вся власть в деревне. К так называемым «середнякам», то есть чуть более зажиточным крестьянам, революция относится терпимо при условии их полной лояльности и сдачи государству в срок всех податей. Наконец, благополучные крестьяне, образцовые хозяева — это «кулаки», заведомые враги революции. Их надо на первом этапе всячески притеснять, а затем и экспроприировать.

Так для удержания крестьян в повиновении теория вводила в действие зависть — могучий стимулятор самых низких, самых недостойных поступков. Черная сила зависти известна любому исторически грамотному человеку. Ленин определенно был исторически грамотен, он хорошо понимал, что духовное совершенствование личности есть подавление низменных чувств, в первую очередь зависти и нетерпимости. Он это понимал и потому сделал ставку на зависть и нетерпимость.

Однако теория Ленина о судьбе крестьянства шла еще дальше. На следующем этапе, когда с «кулаками» будет покончено, и все крестьяне превратятся в бедняков (обратного движения по той же теории быть не могло, ибо крестьянин, становившийся богаче, «зачис-

лялся» в контрреволюционеры), у них не останется иного выбора, как объединиться в коммуны. Эти коммуны, по мысли Ленина, обрабатывая землю сообща и пользуясь машинами, смогут исправно кормить рабочих и партийных чиновников. Ни земли, ни сколько-нибудь серьезного имущества в личном пользовании членов коммун быть не должно — им следовало выдавать пищу в ограниченных размерах и пропаганду в неограниченных. Так окончательно «решался» крестьянский вопрос.

Несколько забегая вперед, скажу, что еще при жизни Ленина были в порядке опыта организованы единичные крестьянские коммуны. Несмотря на исключительную поддержку государства, они распались довольно быстро. Эксперимент явно провалился, но через тридцать пять лет был, тем не менее, повторен в Китае для полумиллиарда крестьян. Результаты вам, по-видимому, известны.

В Советском Союзе нет крестьянских коммун — вместо них порожденные уже Сталиным колхозы, — но теория Ленина о рабоче-крестьянском государстве продолжает «изучаться» как ни в чем не бывало. Зайдите в любой институт на лекцию по обязательному предмету «основы марксизма-ленинизма»: будущие врачи, математики, химики или адвокаты зубрят формулировки о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, стараются запомнить положения ленинского доклада на VIII съезде партии в 1919 году о политике «перетягивания крестьянина-середняка на нашу сторону в борьбе с кулачеством» и тому подобные важные вещи. Стороннему наблюдателю может показаться, что все это чистая схоластика на манер средневековой — «сколько чертей может уместиться на острие булавки», — но впечатление обманчиво. Конечно, ленинская теория революции в деревне, как и весь курс основ марксизма-ленинизма — насиль-

ственная пропагандистская жвачка, словесный мусор для забивания молодых мозгов. Однако, помимо этого, гениальные предначертания Ленина продолжают по сей день играть свою роль в судьбе крестьян России. Чтобы понять эту роль, надо обратиться к практике, к тому, что случилось с русскими земледельцами после 7 ноября 1917 года.

III

Со дня захвата власти Ленин прожил шесть лет и два с половиной месяца. Срок не такой уж долгий, но за этот срок деревня узнала три новых слова: — «продотряды», «продразверстка» к «продналог». Каждое из этих слов наводило на крестьян изрядный ужас.

Продотряды — это группы вооруженных рабочих, которые по приказу Ленина формировались из самых отборных, самых идейных членов партии. Они имели задание обходить деревни и силой оружия отбирать у крестьян продовольствие. Волна грабежей и расстрелов, захлестнувшая Россию, была неплохим подтверждением ленинской «смычки» города и деревни (эта самая «смычка», чудовищный революционный неологизм, означающий «содружество», «соединение», «взаимодействие», была пропагандистским лозунгом того времени).

Продотряды не руководствовались какими-либо правовыми нормами или количественными ставками отбираемого продовольствия. Формально они должны были опираться на «революционное правосознание» и «классовое чувство» вооруженных рабочих, экспроприировать следовало в первую очередь кулаков, но фактически принцип действия продотрядов был краток и прост: увидел — отбери. Сцены, которые при этом разыгрывались, казались крестьянам карой Божией, пределом мук. Но истинный предел, как выяснилось, на-

ступил двенадцатью годами позже, в период сталинской коллективизации. А пока что на смену продотрядам пришла другая форма грабежа — продразверстка.

Это означало, что каждая деревня должна была сдать государ́ству определенное количество продовольствия после сбора урожая — столько-то хлеба, столько-то мяса, шерсти и так далее. Была постоянная разверстка на молоко и яйца. Власти не интересовались, как будет собрано заданное количество продуктов, кто даст больше, кто меньше. В деревнях были созданы так называемые к о м б е д ы — комитеты бедноты, — они и должны были собирать продовольствие для сдачи.

Сами понимаете, к чему это вело — к страшной междоусобице в деревнях, к протекционизму, коррупции, взяточничеству, часто к дракам и убийствам. Это не очень беспокоило бы тогдашних вождей — междоусобица в деревнях была им даже на руку — но неприятность состояла в том, что продразверстка хронически не выполнялась, несмотря на усердие новоявленных начальников — членов комбедов, несмотря на аресты и даже расстрелы «саботажников». Словом, эсперимент опять-таки провалился, но интересно, что и он был повторен, подобно эксперименту с коммунами, о котором я упоминал в предыдущем разделе. Спустя 21 год после отмены продразверстки она «воскресла» в западных областях России, на Украине и в Белоруссии: ее ввели гитлеровцы на оккупированных ими во время войны советских территориях. Есть зловещая логика в том, что фашисты и коммунисты заимствовали друг у друга разные «новшества» и «достижения».

Итак, незадолго до смерти Ленина была отменена и продразверстка. Ее с большим пропагандным шумом заменили продналогом. На сей раз власти добрались до отдельного крестьянина, обязав каждый деревенский двор платить дань государству. По сравнению с феодальным крепостным правом, отмененным в России в 1861 году, тут были два отличия: во-первых, платить

дань надо было государству, а не помещику, во-вторых, дань называлась не «барщина» и не «оброк», как в XIX веке, а «налог». Все прочее стало как раньше, во времена крепостничества, но налог был тяжелее доброго старого оброка, и крестьянам жилось поэтому куда более голодно.

В январе 1924 года Ленин умер, но после всех его экспериментов деревня уже не могла оправиться. Гений-дилетант отошел в лучший мир, заложив прочную основу перманентного голода в России. Он не понимал или не желал понимать, что сельский труд — тяжелейший на свете; что для такого труда нужны хорошие стимулы — экономические и психологические; что, наконец, крестьяне аполитичны, малограмотны и уже хотя бы в силу этого почти не реагируют на самую интенсивную пропаганду. Крестьяне двадцатых годов, только что пережившие революцию, продотряды, продразверстку, обложенные непосильным продналогом, рассуждали просто: зачем мне, голодному, спину ломать да надрываться, если все равно урожай отберут?

С такой плачевной ситуацией в сельском хозяйстве столкнулся Сталин в первые годы своего правления. Сегодня, с высоты шестидесятых годов, видно, что у него тогда были в распоряжении неплохие возможности для улучшения жизни крестьян, а значит и всего народа. Дело в том, что Ленин, разбиравшийся в городской жизни намного лучше, чем в сельской, сделал в 1922 году верный шаг — разрешил частную торговлю и акционерные общества. Сталину стоило только отменить или резко снизить продналог, дать импульс свободному продовольственному рынку, окончательно заменить распределение товаров продажей их — и гигантский вздох облегчения пронесся бы над несчастной страной. Сейчас это очевидно всем, но и тогда были люди, даже среди коммунистических лидеров, которые знали выход из положения и уговаривали Сталина пойти по единственно верному пути.

Как известно, Сталин сделал прямо противоположное — разгромил частную торговлю, ликвидировал акционерные общества, насадил повсеместно распределение товаров по коммунистическим рангам и заслугам, уничтожил своих оппонентов, а крестьян перевел из феодальных условий существования в рабские. Можно понять, о чем он думал, проделывая все это, — о том, чтобы подольше удержаться у власти. Сталин понимал, что экономическое развитие неизбежно поведет к развитию политическому, что экономическую свободу нельзя сочетать с политической диктатурой. Его тоталъная тирания была, таким образом, по-своему логичной.

Для крестьян Сталин разработал план «ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». У меня остались от тех лет довольно четкие детские воспоминания, и я теперь думаю, что, составляя план, Сталин, при всей его беспощадности, не предвидел леденящих душу последствий.

Теоретической основой плана Сталина были ленинские предначертания о революции в деревне. Но кое в чем Сталин опять же «развил и дополнил» Ленина. Скажем, Ленин предусматривал экспроприацию кулаков в качестве одного из последующих этапов революционного развития, а Сталин объявил немедленную ликвидацию кулачества. Ленин мечтал о крестьянских коммунах с равномерным распределением благ, пусть и скудных, — Сталин предложил «коллективные хозяйства», «колхозы», где распределение продуктов, оставшихся после уплаты государственной дани, должно было идти в зависимости от личной выработки каждого.

Психологической же основой сталинского плана коллективизации была все та же зависть. Зависть голодного к сытому. Было сказано: все сытые в деревне — кулаки, их можно и нужно «раскулачить», то есть отнять у них дома и все имущество, а их самих с семьями

выслать в Сибирь. Оставшиеся бедняки и середняки должны были объединиться в коллективные хозяйства, обобществить землю и скот, а затем трудиться сообща, получая вознаграждение по «трудодням».

Для руководства всем этим делом в деревни были посланы рабочие-коммунисты из городов, ничего не понимавшие в сельском хозяйстве, но зато «отвечавшие головой» за полное раскулачивание. Это были своеобразные комиссары деревень, наделенные неограниченной властью и наспех обученные натравливать одних крестьян на других.

И пошла гулять черная зависть по матушке-Руси — открытая, узаконенная, всесильная. Численность органов безопасности (тогда они назывались ОГПУ) была увеличена многократно, однако и после этого сотрудники ОГПУ валились с ног, не спали неделями, формируя все новые и новые эшелоны с «кулаками» в Сибирь, на Алтай, в Казахские степи. Были эти сотрудники совершенно озверевшими — просто от непосильной работы. И никто не разбирался с отдельными людьми, не выслушивал жалоб. Назвали тебя в доносе кулаком — долой из дома, под конвоем на станцию и в товарный вагон.

На всю жизнь запомнили жители придорожных городков и деревень эти жуткие ночные эшелоны, эти вопли о воде, о капельке воды из вагонов. На станциях охрана выбрасывала мертвых — чаще всего детей, ибо первыми не выдерживали дети. Чтобы не делать работу дважды, охранники иной раз выбрасывали из вагонов и тех, в ком еще тлела жизнь, — подохнут под откосом...

Интересное свидетельство о дальнейшей судьбе высланных «кулаков» есть в книге бывшего немецкого коммуниста Вольфганга Леонгарда «Революция отвергает своих детей». Автор был в 1941 году выслан из Москвы как немец (в начале войны с Германией Ста-

лин выселил из Москвы и других крупных городов всех граждан немецкой национальности, включая коммунистов, и оставил лишь кучку самых преданных, среди которых, между прочим, был Вальтер Ульбрихт, нынешний лидер восточногерманского режима). Эшелон, в котором ехал Леонгард, направили в Казахстан. Там, среди голой степи, оказалось несколько поселков без названий, просто под номерами. Выяснилось, что эти забытые Богом поселения, скорее напоминавшие стойбища животных, нежели людское жилье, были «основаны» в начале тридцатых годов высланными «кулаками». Этих людей просто-напросто выкидывали из поездов посреди дикой степи и говорили: можете жить здесь как хотите, но с места не двигайтесь. Беглецов расстреляем. Люди вырыли землянки и начали борьбу с природой на манер наших доисторических предков. Большая часть погибла, но, как всегда бывает в таких случаях, некоторые выжили. Они дали жизнь детям, эти дети рассеялись по стране, ибо после смерти Сталина выезд из поселков стал возможен. Сегодня многие из них, 30-35-летние, стали «настоящими советскими людьми», даже членами партии. О трагедии своих отцов они вспоминают редко, а вспоминая, не покрываются холодным потом. Напротив, они считают, что их родителям еще повезло, с ними обошлись мягко — подумаешь, переселили в Казахстан. Многих ведь расстреляли, сгноили в тюрьмах. Случись такое с их родителями, они просто не появились бы на свет. А так — что ж: живут, пользуются всеми правами наравне с окружающими и только при поступлении на работу должны писать в анкете, что их родители были раскулачены. Это сегодня совсем не страшно, с такой анкетой принимают почти на любую работу. Зачем же вспоминать старое?

Но вернемся к началу тридцатых годов. Некоторые «кулаки», чуя близкую гибель, убегали из деревень. Одни дичали в лесах, другие добывали оружие,

становились бандитами, стреляли в председателей колхозов, в активистов-бедняков, в городских уполномоченных. Каждый такой случай раздувался в печати, это преподносилось как свидетельство зверского сопротивления «кулаков» коллективизации. Разумеется, следовали расстрелы. Добить этих бандитов-кулаков, разделаться с ними — так науськивали газеты каждый день.

Это было какое-то кровавое половодье. Лилась кровь и людей и животных. Десятки тысяч крестьян не могли вынести мысли, что их коров, овец, свиней завтра насильно уведут в колхоз. Ночами по деревням резали скот, и с этим ничего не могли поделать даже грозные уполномоченные.

В такой обстановке родились колхозы — и, как следовало ожидать, не принесли ни малейшего облегчения даже беднякам, в интересах которых будто бы были созданы. Дело в том, что каждый колхоз — это правило в смягченном виде действует и сегодня — обязан после уборки урожая сдать «обязательные поставки» государству по смехотворным, издевательским ценам, практически бесплатно. Он должен затем сдать «натуроплату», то есть опять-таки продовольствие, за услуги машинно-тракторной станции. Наконец, образовать семенной фонд зерна на будущий год. Только после всего этого остаток продовольствия и денежный доход делится между колхозниками пропорционально количеству «трудодней», выработанных каждым человеком. И на «трудодень», естественно, приходились такие крохи и копейки, что еды в лучшем случае хватало на два-три месяца. Потом возвращался голод.

Понятное дело, что голодные колхозники стали потихоньку воровать зерно — с поля, с молотилки, из колхозных амбаров. И когда хищения приняли внушительные размеры, Сталин отреагировал на них чисто по-сталински: 7 августа 1932 года был издан закон о борьбе с хищениями социалистической собственности.

Он так и вошел в историю под именем «Закон от 7 августа», он действовал до 1947 года, а сроки по нему заключенные отбывали вплоть до смерти Сталина.

Новое поколение советских граждан ничего не знает об этом законе — его постарались изгнать из памяти людей методом оруэлловских «видоизменений прошлого», в чем русские пропагандисты, цензоры и секретная полиция тренированы блестяще. Еще меньше, как я выяснил, знают и помнят об этом законе на Западе. И потому о нем стоит рассказать особо.

IV

Он был очень прост, этот закон, он предусматривал всего две меры наказания — десять лет лагерей или смерть. Десять лет получали те, кто ходил по стерне после уборки хлеба и подбирал для себя случайно упавшие колоски. Смерть грозила каждому, кто трогал зерно на току или в амбаре. С изданием закона по всей стране началась кампания по борьбе с хищениями, а до сего дня нет ничего страшнее в России, чем «попасть под кампанию». Именно тогда, в 1932 году (а не в 1937, как думают многие историографы), в органах безопасности впервые возникла проблема палачей — их не хватало. По этому поводу у меня есть редкостное свидетельство.

В дни смерти и похорон Сталина я находился в Москве, но был... заключенным-лагерником. Удивляться не надо: вместе с еще 600 арестантами я работал в так называемой «Исправительно-трудовой колонии № 1», что размещалась на улице Шаболовка, № 46, как раз напротив Центральной студии телевидения. Круглая стальная башня — антенна этой студии, известная в Москве под именем Шуховской башни, — до сих пор снится мне ночами.

Главным бухгалтером нашей «колонии» был стар-

ший лейтенант государственной безопасности Петр Кузьмич Мнев — рослый, хорошо сложенный 55-летний офицер, у которого был один странный физический недостаток: постоянная крупная дрожь рук. Но он все-таки ухитрялся писать и считать на счетах, так что с работы не уходил. Заключенные его побаивались, считали сухим бессердечным человеком, но я-то знал, что на самом деле Мнев человек неплохой — если случалось попасть к нему в кабинет без свидетелей, он обращался как с равным, а не как с заключенным. Это был у нас, лагерников, самый верный признак.

Сразу после смерти Сталина, когда весь лагерь бурлил в ожидании перемен, а начальство уже знало о грядущих переменах, я по работе попал вот так в кабинет Мнева. Петр Кузьмич сидел над газетой с сообщением об освобождении из тюрьмы врачей-евреев, арестованных за два месяца до смерти Сталина по обвинению в заговоре с целью убийства руководителей партии и правительства. Сообщение гласило, что врачи ни в чем не виновны, что они были оклеветаны и что в ходе следствия к ним применялись «приемы, недостойные советского правосудия» — другими словами пытки. Руки Мнева, как мне показалось, дрожали больше, чем обычно, когда он взял газету и протянул мне.

— Прочитайте.

— Уже читал.

— На фразу о «недостойных приемах» обратили внимание?

— Обратил.

— А о каких это «приемах» шла речь — знаете?

— Конечно нет, гражданин начальник.

— К черту «гражданина начальника». Я — Петр Кузьмич. Хотите, покажу парочку?

За пять с половиной лет тюремной и лагерной жизни я насмотрелся на всякое, наслушался самых адских рассказов — удивить или напугать меня было трудно. А

тут, представьте, я вдруг почему-то испугался. Очень уж не похоже было такое поведение на обычно сдержанного, даже суховатого Мнева. Вдруг он сошел с ума и сейчас начнет меня пытать какими-то дьявольскими пытками!

Пока все это проносилось в голове, я медлил с ответом. Но Мнев ответа не дожидался. Он быстро подошел к двери, защелкнул своими дергающимися руками замок и обернулся ко мне с какой-то очень странной улыбкой.

— Ну-с!

— Что я должен делать?

— Снимите правый ботинок и сядьте сюда.

Он поставил табурет перед своим письменным столом. Делать было нечего — я разул правую ногу, сел, а Петр Кузьмич все с тем же странным выражением лица поместился против меня на своем обычном месте.

— Ну вот, все очень просто. Вы обвиняемый, я следователь. Расскажите, обвиняемый, о своем участии в заговоре против советской власти. Говорите. Го-во-ри-те!

Наши ноги — мои и его — были под столом, между тумбами. И я вдруг почувствовал, как он слегка надавил носком сапога на сустав большого пальца моей разутой правой.

— Что, больно?

— Да нет, не очень, Петр Кузьмич. Противно только. Это и есть пытка?

Мнев серьезно кивнул.

— Даже пытка второй категории — трудноперносимая. Я ведь вам на сустав не давил, только притронулся. — Он дрожащей своей рукой взял папиросу. — Упаси Бог, я никому не давил, я бухгалтер. Но смею заверить, что боль... Вот! — Мнев вдруг протянул ко мне трясущиеся руки, папироса плясала у него между пальцами. — Вот это — от их криков. Они... Знаете, как они кричат? Они все кричат о д и н а к о в о. Понимаете,

разные — молодые, старые, мужчины, женщины, — а кричат одинаково.

— Почему «кричат», Петр Кузьмич? Разве и сегодня кричат?

— Сегодня — не знаю, дружок, не хочу знать. Я уже десять лет там не работаю, с военных времен. Расстройство мускульной моторики, нервный паралич, а в отставку — так у меня семья, да-с. Вот, работаю в тихом месте.

— А «там» — это где?

Мнев секунду поколебался.

— Э, к черту подробности. Скажем так: я пятнадцать лет был главным бухгалтером одной тюрьмы.

И тут же, словно боясь как бы я не ушел, стал торопливо рассказывать. Звонил телефон, в кабинет стучались люди — Мнев бросал «занят!», перегибался ко мне через стол и продолжал сыпать слова. Сегодня его уже нет в живых, поэтому я называю его подлинное имя и позволяю себе опубликовать кое-что из его двухчасового рассказа.

Там сначала было еще о пытках. Петр Кузьмич сказал, что табурет, на котором я сидел, можно и перевернуть, поставить вверх ножками, а потом посадить пытаемого нижним концом позвоночника — крестцом — на одну из торчащих вверх ножек. Это еще более сильнодействующая пытка, но, так же как и первая, она не оставляет видимых следов.

Потом шел рассказ о времени, когда официально были введены пытки — о 1937 годе. Я вздрогнул, узнав, что сразу после циркулярной телеграммы Сталина, приказавшего пытать подследственных, офицеры госбезопасности прошли семинары «по применению специальных методов воздействия». В общем, все было упорядочено, пронумеровано, разделено на категории. Никакой самодеятельности.

Тут был даже момент, когда я засомневался, — а не преувеличивает ли Мнев, говоря о пыточных инструк-

циях и семинарах палачей. Но тут же вспомнил, что совсем незадолго до того другой офицер — начальник охраны лагеря — потихоньку показал мне приказ министра Внутренних дел «О применении смирительных рубашек на буйствующих з/к з/к*)». Не в 1937, а в 1951 году была типографским способом издана обстоятельная инструкция с такими словами как «вывернув руки назад, свести их за спиной тыльными сторонами ладоней друг к другу и надежно связать выше кистей» и т. п. Нет, конечно, Мнев был протокольно точен.

От пыток Петр Кузьмич перешел к смертным казням. И вот тут он заговорил о Законе от 7 августа.

До осени 1932 года, когда начал действовать Закон, смертников в тюрьме было не так уж много. Их убивали следующим образом. В тюрьму въезжал фургон с бригадой палачей. Все, как выразился рассказчик, были «пьяные и красномордые». Командовал ими латыш гигантского роста (Мнев назвал и фамилию, да я ее, к несчастью, забыл). Этот «бригадир» садился за столик в проходной будке тюрьмы, «ассистенты» стояли в сторонке. Выводили осужденного, и латыш, заглядывая в личное дело, спокойным и доброжелательным тоном опрашивал его — имя, время и место рождения, состав семьи и так далее. Это обязательная процедура перед казнью, ибо надо убедиться в самоличности смертника. Но палач вел опрос так, что у несчастного рождалась надежда: вдруг это какой-нибудь начальник, способный изменить его судьбу.

В какой-то момент латыш доставал портсигар и протягивал осужденному — не желаете ли закурить. Это был сигнал. Не успевал человек протянуть руку к папиросе, как двое сзади хватали его за руки, выворачивали и защелкивали наручники, а третий сразмаху

---

*) З/к з/к — на официальном жаргоне МВД означает «заключенные».

вбивал в рот резиновый кляп. В таком виде осужденного бросали в фургон, и «бригада» уезжала, чтобы где-то в глухом месте раздеть и расстрелять жертву.

Как видите, довольно долгая история. И когда осенью 1932 года смертники стали прибывать десятками ежедневно, их до исполнения приговора приходилось держать в камерах по много дней. Гиганту-латышу было приказано «усилить темп». Он стал брать не по одному человеку, как прежде, а по два, потом по четыре. Скоро вместо одной «бригады» стало две, но и они не справлялись с «работой». Тогда дело было реорганизовано коренным образом. Для расстрелов приспособили подвал тюрьмы — Мнев, как бухгалтер, помнил, что были отпущены специальные средства на «реконструкцию подвальных помещений и строительство охлаждаемого морга».

Теперь все обставлялось проще. Трое-четверо надзирателей вызывали жертву из камеры смертников. Часто люди шли спокойно, потому что было известно: некоторым смертникам тогдашняя верховная власть — Президиум ВЦИК — заменяла казнь десятилетним заключением. И вызов из камеры не означал обязательно смерть, это мог быть и перевод в другую камеру в связи с помилованием. Надежда — она ведь живет в человеке до последнего вздоха...

Казнимого приводили в подвал и заявляли, что сейчас будет обыск. Арестант, привыкший к порядку обыска, немедленно раздевался догола. Его для вида, действительно, обыскивали, затем возвращали только нижнее белье и в таком виде опрашивали. По окончании опроса ему объявлялось: «Президиум ВЦИК отклонил ваше ходатайство о помиловании». Только в этот момент надежда покидала смертника, и вот тут обычно требовались наручники и кляп. Все это было наготове, и жертву немедленно вталкивали в звуконепроницаемую камеру-коридор, где дежурный офицер (почему-то не-

пременно офицер) стрелял в затылок, а дежурный врач констатировал наступление смерти. Тем временем шел обыск следующего осужденного.

В тюрьме имелась и женская бригада убийц, включая офицера-палача в юбке. Высокая советская мораль целомудренно охраняла даже приговоренных к смерти женщин от нескромных мужских взглядов при раздевании. Тут Мнев запнулся на секунду, потом сказал:

— Вы знаете нашу старшую надзирательницу Шуру Потапову? Она, как вам известно, пришла работать к нам в колонию всего год назад. Так вот, до этого она была исполнителем приговоров в той тюрьме, где я когда-то работал.

«Исполнитель приговоров» лейтенант Потапова (слово «палач» в официальной советской терминологии вообще не применяется) была простоватая сероглазая женщина лет тридцати двух, немного полная и не лишенная симпатии. Лагерные женщины считали ее «славной», говорили, что, находясь в женском бараке, она позволяла называть себя не «гражданин начальник», а Шура. В лагерной охране работал ее муж. У них ребенок. О, Господи. Скольких же людей, скольких женщин расстреляли в упор мягкие шурины руки?

Я сейчас не могу четко вспомнить, что чувствовал, выходя из комнаты Мнева. Две недели спустя я был освобожден из лагеря «со снятием судимости» и больше никогда не встречал этого человека — он умер, не дожив до шестидесяти лет, как я случайно узнал от знакомых. Мало осталось в живых тех людей, что знают всю правду о Законе от 7 августа. Еще меньше таких, которые, подобно Мневу, хоть раз в жизни откровенно об этом рассказали. И потому, хотя прочитанный вами сейчас раздел не имеет прямого отношения к сегодняшней жизни русского крестьянства, он, я думаю, не был лишним в этой книге.

V

В начале тридцатых годов, сразу после коллективизации, имел хождение такой анекдот. У Сталина завелись клопы, и он спросил Бухарина — как от них избавиться. «Очень просто, — ответил Бухарин. — Организуйте из них колхоз. Половина разбежится, половина сдохнет».

В те годы немало новоиспеченных колхозников, действительно, умерли от голода и болезней — против этого Сталин ничего не предпринимал. Но против «разбегания» крестьян из деревень он принял довольно энергичные меры.

Почти одновременно с коллективизацией была проведена так называемая паспортизация населения СССР. Всем жителям городов и рабочих поселков, достигшим 16 лет, вручили паспорта. При всех отделениях милиции создали паспортные отделы, ведающие «пропиской» — особой регистрацией каждого проживающего. С тех пор и поныне, приезжая в любой пункт Советского Союза дольше, чем на три дня, вы обязаны «прописаться» в милиции. Если «прописываетесь» постоянно, то в вашем паспорте ставится штамп «прописан по такому-то адресу». Выезжая с прежнего места жительства, хотя бы переселяясь в соседний дом, вы должны предварительно «отметиться», то есть объявить о своем выезде, указать куда едете и получить штамп «отмечен по домовой книге для выезда туда-то». Без этой отметки вам не дадут постоянной «прописки» на новом месте. А за проживание без прописки полагается на первый раз крупный штраф, на второй раз лишение свободы до двух лет. Если вам в прописке отказали (это бывает очень часто и о причинах мы еще узнаем), то вы обязаны уехать из запрещенного вам места в течение 24 часов. За невыполнение — опять на первый раз штраф, на

второй тюрьма. А за проживание в городе и без прописки и без паспорта — тюрьма сразу.

Все это само по себе достаточно мрачно, но вот еще один, так сказать, штрих. Жителям сельской местности паспортов не выдали. Их нет у крестьян по сей день (исключение составляет Московская область). А без паспорта колхозник не мог появиться ни в каком, даже самом маленьком, городе, не мог поступить ни на какую работу, так как для поступления на работу прежде всего нужен паспорт.

Тут опять напрашивается аналогия с крепостным временем, до 1861 года, когда крестьяне принадлежали помещикам и не имели права уходить из своих деревень. Порядок был абсолютно тот же: крестьяне-крепостные не имели паспортов, а городские жители их имели. Хоть «прописки» в те времена и не было, полиция так же ловила беспаспортных и препровождала по этапу в родные деревни. Этих бедняг называли беглыми крестьянами. После 1861 года термин «беглые крестьяне» стал забываться, а в «рабоче-крестьянском государстве» Сталина всплыл вновь. Только теперь это были «беглые колхозники» и благодаря прописке их стало гораздо легче ловить.

Но... На Руси не зря говорят: «Закон — что столб. Перепрыгнуть нельзя, обойти можно». Голод и отчаяние научили крестьян обходить закон.

Дело в том, что сельские советы — официальные органы власти в деревнях — имеют право в виде исключения отпускать колхозников на жительство в города (вспомним опять, что в крепостное время помещики совершенно так же могли «давать вольную» своим крестьянам или отпускать их в города «на оброк»). Этот порядок был абсолютно необходим в тридцатые годы, когда большие индустриальные стройки требовали людей, — с тех пор он и остался. Ну, а в сельских советах сидят тоже люди, которым можно давать взятки. Под-

час необходимые справки из сельсовета удавалось получить за бутылку водки — эта пресловутая бутылка и поныне огромная сила в России. Время от времени, конечно, проходили в сельсоветах разные проверки — кому и почему выданы отпускные справки. Всплывали дела о взяточничестве, председатели и секретари сельсоветов шли в тюрьмы, на их места приходили новые люди и... через некоторое время в свою очередь начинали выдавать заветные справки за известную мзду. Неуважение к закону в России — чувство традиционное, укоренившееся очень глубоко. Испокон веку законы жестоки, враждебны людям; а в советское время маленькому человеку стало ясно, что сильные мира сего законам не подчиняются — так почему же он, маленький человек, обязан их соблюдать? Надо лишь действовать так, чтобы тебя не поймали — и все будет в порядке...

Так или иначе, но люди из колхозов побежали в города. Особенно молодые люди. И особенно в большие города, где было не так голодно как в провинции, где можно было наняться на работу, устроиться в общежитие. Откройте паспорта сегодняшних москвичей — вы увидите, что каждый второй из них родился в деревне. К концу тридцатых годов села уже заметно опустели, а мобилизация 1941 года довершила опустошение. В колхозах остались женщины, глубокие старики и дети, которых было не так уж много. Конечно, такими силами нельзя было прокормить страну.

Объясняя причины голода в военные и послевоенные годы, советские пропагандисты обычно пишут, что виновата нацистская оккупация — часть плодородных земель оказалась, дескать, в руках врага. Это легко опровергнуть: одна только американская продовольственная помощь втрое превысила потери, связанные с оккупацией. Виновником голода был колхозный строй — и только он.

После войны, к концу 40-х годов, колхозы влачили

особенно жалкое существование. Тракторов и сельскохозяйственных машин в военное время не выпускали, техника пришла в полный упадок, а люди старались всячески увильнуть от напрасного колхозного труда и уделить побольше внимания своим крошечным приусадебным участкам.

И снова Сталин принял свои, чисто сталинские меры: был установлен обязательный минимум трудодней для каждого колхозника — если не ошибаюсь, 150 в год. Не выполнивших этот минимум опять-таки высылали в Сибирь «по постановлению общего собрания колхозников».

Эти общие собрания воскрешали в памяти картины 1930 - 32 годов. Приезжали власти из города — прокурор, представитель райкома партии, сотрудники органов безопасности. Колхозников сгоняли на собрание, оглашали фамилии высылаемых — и попробуй, не проголосуй! Дальше все шло как за двадцать лет до этого, только теперь в ссылку отправлялись не «кулаки», а бедняки.

Потом Сталин умер, а для крестьян началась 11-летняя «эра» Хрущева.

VI

В сентябре 1953 года, через полгода после смерти Сталина, Хрущев сделал свой сенсационный доклад о положении в сельском хозяйстве. Он признал тяжелый упадок земледелия и животноводства, сообщил, что коров в стране стало меньше, чем было до Октябрьской революции (до 1917 года!) и обещал перелом.

Сразу же пошли разговоры, что Хрущев-де намерен признать коллективизацию «ошибкой», колхозы распустить, резко увеличить число совхозов (совхозы это крупные государственные имения, где земледельцы и скотоводы считаются рабочими и получают опреде-

ленную плату помесячно). Однако так думали и говорили только поверхностные наблюдатели, горожане. Более глубокие аналитики и — инстинктивно — сами крестьяне понимали, что распустить колхозы Хрущев попросту не мог. Причины этого мы скоро выясним.

И начались печально знаменитые хрущевские нововведения. Не имея понятия о сельскохозяйственной науке, но обладая самоуверенностью и властью, Никита Хрущев из самых лучших побуждений привел Россию на грань подлинного большого голода. Сперва, соблазнившись примером фермеров американского штата Айова, он повелел сеять кукурузу на холодных и сухих землях — дошло до того, что кукурузные поля появились в Ленинградской и Вологодской областях, около шестидесятого градуса северной широты. Разумеется, кукуруза, любящая тепло и влагу, давала едва заметные всходы, и ее «внедрение» привело только к бескормице и сокращению посевов главных культур — пшеницы, ржи, овса и ячменя. Потом началось «освоение целинных земель» — были распаханы и засеяны громадные пространства Казахских степей. Это тоже обернулось чистой авантюрой. Половина первого целинного урожая — как и следовало ожидать, обильного — была потеряна и разворована, так как не было должного количества уборочных машин, не было транспорта, дорог, элеваторов для хранения зерна. Не было и жилья для десятков тысяч молодых людей, посланных по партийной мобилизации «осваивать целину», недоставало пищи и воды в целинных поселках — там было вдоволь только пропаганды и преступлений. А в последующие годы резко уменьшился и урожай — эрозия, отсутствие удобрений и повторение одних и тех же культур на одних и тех же землях сделали свое дело. Целина стоила бешеных денег и не окупила даже малую их часть.

Пренебрежение экономикой, агрономией, да и вообще всякой наукой было в характере Хрущева — чело-

века необразованного и ненавидевшего интеллигенцию. Его главным «ученым советником» по сельскому хозяйству был печально знаменитый академик Трофим Лысенко, создатель дикой и антинаучной «мичуринской биологии». Однажды Хрущев сказал, почему он любит Лысенко: приезжая к нему на опытную базу, он всегда видит академика Лысенко, шагающего в сапогах по навозу. А другие ученые «сидят в своих кабинетах и боятся руки испачкать».

Но шарлатан Лысенко и его «последователи», естественно, не могли поправить дело. Пренебрежение наукой мстило за себя. Урожаи на полях России все убывали. Голод стал у порога.

В числе последних нововведений Хрущева были такие, как отнятие коров у колхозников, которым раньше разрешено было их держать, передача тракторов и сельскохозяйственных машин из машинно-тракторных станций в колхозы. Это выглядело как акты отчаяния и усугубило сельскохозяйственный кризис.

Перед лицом большого голода Хрущев вынужден был решать: либо вернуться к сталинским методам подавления недовольства — к тюрьмам, концлагерям для миллионов, к пыткам и казням, — либо купить хлеб на Западе. Он не мог выбрать первый путь, ибо в 1956 году он сам разоблачил сталинские злодеяния и поклялся, что они не повторятся, а кроме того, Россию уже нелегко убедить, что опять появились миллионы «врагов народа», как именовал свои жертвы Сталин.

Хрущев купил зерно на Западе, впервые в истории превратив Россию из мирового экспортера хлеба в импортера. Он побоялся даже сообщить об этом людям — советские газеты ни словом не обмолвились о закупках зерна. Прямая угроза голода чуть отступила, но положение крестьян от этого ничуть не улучшилось. За исключением горстки «богатых» и «показательных» колхозов, куда возят на экскурсии иностранцев, крестьяне в

деревнях ведут все то же почти первобытное существование — например, около 60 процентов сел по сей день не имеют электричества. Колхозный труд все так же остается проклятием, а труд на крошечном своем участке — единственной радостью.

14 октября 1964 года Хрущев лишился власти в результате дворцового заговора — в то время, как он отдыхал от трудов праведных на берегу Черного моря. К власти пришло очередное «коллективное руководство» — Брежнев и Косыгин. Что изменилось в положении крестьян?

VII

Если ответить на этот вопрос двумя словами, то надо сказать: стало лучше. Но, анализируя эти улучшения, я все время вспоминаю разговор со старым московским профессором, состоявшийся сразу после падения Хрущева. Профессор сказал:

— Вот увидите, это к лучшему.

Я удивился.

— Откуда Вы знаете, как поведет себя новая команда?

— А я говорю из общих соображений. Чем чаще меняются тираны, тем легче народу — это проверено историей.

В самом деле, улучшения в крестьянской жизни произошли и после смерти Сталина. Хрущев на первых порах отменил сельхозналог с приусадебных участков колхозников, повысил закупочные цены на так называемые «обязательные поставки», наконец, он отменил высылку крестьян в Сибирь за невыполнение минимума трудодней. Это были совершенно определенные, ощутимые улучшения — и все-таки через десять лет после них положение в сельском хозяйстве стало еще мрачнее, чем было раньше.

Новые лидеры ввели теперь свои улучшения. Они, во-первых, объявили, что уровень «обязательных поставок» будет устанавливаться каждому колхозу на пять лет вперед и за эти пять лет останется неизменным. Это отнюдь не выглядит благодеянием, но все относительно: по сравнению с существовавшим до сих пор открытым грабежом, когда областные комитеты партии приказывали колхозам сдавать еще и еще, чтобы отличиться перед Центральным Комитетом, нынешнее решение определенно шаг вперед.

Очевидна и польза другого нововведения: отныне каждый колхозник будет получать гарантированный минимум оплаты за свой труд, независимо от общего дохода колхоза. В переводе на общепонятный язык, это означает, что там, где колхоз вообще ничего не давал своим членам (таких колхозов было немало), теперь будет выдаваться этот самый минимум.

Неплохо звучит и третье решение (хронологически оно было принято первым, в тот же самый день, когда «пленум заговорщиков» лишил Хрущева власти): покончить с «мичуринской биологией» академика Лысенко, дать дорогу серьезной биологической науке.

Улучшения? Да, без сомнений. Почему же мой собеседник, сибирский журналист, слова которого я приводил в начале этой главы, считает, что ад в деревне продолжается по сей день?

Потому что — и тут я с ним полностью согласен — он называет все текущие улучшения паллиативами. Новая власть, новые улучшения, потом опять все по-старому или даже хуже. Совершенно так же, как в промышленности, нынешние лидеры хотят поднять сельское хозяйство, сохранив в неприкосновенности корень зла. Этот корень — колхозный строй.

За 37 лет существования, колхозный строй убедительно доказал свою полную неэффективность и принес стране колоссальный вред. Производительность колхоз-

ного труда ничтожна, взаимоотношения между крестьянами подозрительны и злобны, колхозные руководители, всегда назначаемые «сверху», окружены ненавистью. Колхозы существуют вопреки воле их членов, они находятся в полном противоречии с желаниями, чувствами, со всей психологией крестьянина.

Так происходит потому, что крестьянин не ощущает колхозную собственность как с в о ю. Казалось бы, он должен понимать, что чем богаче будет колхоз, тем лучше будет жить и ему, члену колхоза. Но это отвлеченная теория. На самом деле колхозное поле — ч у ж о е поле для крестьянина, колхозная лошадь — ч у ж а я лошадь, и трактор тоже ч у ж о й. А чужого — не жалко, сердце о нем не болит. Жалко лишь своего труда, результатами которого будет распоряжаться кто-то другой — справедливо или несправедливо, это даже не играет роли. Вопиющие несправедливости, чинимые над колхозниками четвертый десяток лет, только углубляют эти чувства, но не являются их первопричиной. Именно поэтому никакие частные улучшения колхозных дел органически не могут поднять производительность сельского хозяйства в России.

Я убежден, что это коренное противоречие колхозного строя понимает не только сибирский журналист, чьи мысли я только что изложил в сжатой форме. Гибельность колхозов для сельского хозяйства, а, значит, и для экономики страны в целом, понимается и на кремлевском уровне. Но тут выступает на сцену поистине трагическое обстоятельство: нынешние лидеры страны, так же, как в 1953 году Хрущев, н е м о г у т распустить колхозы. Они идут в тупик, зная, что впереди нет выхода и в то же время не имея возможности повернуть назад. Им не дает это сделать... Ленин.

Вы помните ленинские предначертания по крестьянскому вопросу, изложенные во втором разделе этой главы? Я говорил там, что «предначертания» эти не име-

ют ничего общего с жизнью и представляют собою всего лишь пропагандистскую жвачку. По сути дела они никогда не воплощались в жизнь — Ленин ведь хотел коммун, а не колхозов. Но, к несчастью, абсурдные ленинские идеи о судьбах крестьянства продолжают оставаться сегодня опасным политическим оружием в борьбе за власть внутри московской партийной верхушки.

Представьте на минуту, что Брежнев завтра выступит на заседании Политбюро и предложит распустить колхозы на основе самых убедительных научных доводов. Что случится? Это можно легко предсказать: поднимется со своего места кто-нибудь из рвущихся к власти «молодых сталинцев» и бросит Брежневу громовые обвинения в забвении ленинских (естественно, ленинских, а не сталинских) идей коллективизации, в возврате к мелкобуржуазной стихии на селе, даже в желании реставрировать капитализм. По части демагогии эти господа подкованы крепко!

Быть может, Вы думаете, что этот сталинец, произнося свою речь, будет озабочен судьбами крестьянства? Что он искренне полагает, будто колхозный строй жизнеспособен? Ничего подобного. Суть дела для него абсолютно не важна. Он просто бросит на стол политический козырь, который, возможно, даст ему шанс столкнуть Брежнева с трона, объявить его взгляды «антипартийными» и самому сесть в кресло № 1. Все это не более, чем политическая игра, где ставка — власть, а карты — народные судьбы. Сталин был хитрым и безжалостным игроком, он держался 29 лет. Хрущев, фигура помельче, оставался на троне 11 лет — он вышел победителем в раундах против Маленкова, Булганина, Молотова, Кагановича, Жукова и получил нокаут от группировки Брежнева - Косыгина - Суслова, которую в то время по тактическим соображениям поддерживал Шелепин со своим полицейским аппаратом. Никто не знает, кто по-

бедит в очередном раунде, ибо эта грязная игра идет в абсолютной тайне от народа. Но все знают, что политические карты тасуются в Кремле непрерывно и что именно этим, а не нуждами живых людей, определяется будущее России.

Итак, ни Брежнев, ни кто-либо другой не выступит против колхозов. Гнилой и противоестественный колхозный строй останется уделом советского крестьянства еще на какой-то период. Но он, если пользоваться терминологией Маркса, будет и могильщиком всей советской диктатуры.

В самом деле, попробуем представить себе все возможности, какие тут возникают. Первая из них — распустить колхозы, раздать землю крестьянам и на этой основе поддержать экономику — нами уже разобрана. Угроза потерять власть делает этот шаг невыполнимым для кремлевских лидеров. Вторая возможность — поддерживать колхозы деньгами, машинами, удобрениями, потребительскими товарами — неизбежно приведет к экономическому краху, так как вложения в сельское хозяйство не окупятся повышением производительности труда (чужое поле, чужая машина!). А экономические трудности, как хорошо видно уже сегодня, вызывают в России открытое недовольство, поднимают народ на политическую борьбу. Конечно, есть и третий путь — возврат к методам внеэкономического принуждения, к сталинской империи голодных и запуганных рабов. Многие в России боятся этого. Но я думаю, что сделать это сегодня не так просто.

Прежде всего такой поворот в политике означал бы немедленную изоляцию СССР. Западные компартии (да и некоторые восточноевропейские) либо сразу распались бы, либо отреклись от русских коммунистов. Не удалось бы в виде компенсации наладить дружбу и с Китаем, потому что вражда Мао Цзэ-дуна к СССР давно вышла за идеологические рамки.

Затем, пришлось бы организовать невиданное кровопролитие внутри страны, помнящей уроки и 1932, и 1937 и послевоенных сталинских лет. Само по себе кровопролитие не остановило бы кремлевских «марксистов-ленинцев», будь они уверены в его результатах. Но им приходится считаться с возможным сопротивлением молоде́жи, чего не было у Сталина. И в таких условиях даже сталинистам страшно начинать резню.

Нет, я оптимист, я не верю в новую сталинщину, хоть и появились в последние месяцы некоторые опасные ее признаки (мы еще с ними познакомимся в следующих главах). Резких изменений вообще не будет, ни в хорошую сторону, ни в плохую — все решительные изменения блокируются окостенелым и консервативным бюрократическим режимом в стране. Россия не горит, она гниет, в лучшем случае тлеет. Но и эти процессы, как хорошо известно, — не созидание, а распад.

Глава IV

ОПАСНАЯ НАУКА

Жители невидимого города. — «Секретно» и «совершенно секретно». — Биология во главе с Лысенко и физика без Эйнштейна. — Главный Конструктор космических кораблей в спецтюрьме. — Как добываются миллиарды на ракеты.

I

Приблизительно в 2500 милях от Москвы, на берегу полноводной таежной реки, в окружении великанов-сосен, лиственниц, пихт и кедров вот уже двадцать с лишним лет стоит прекрасный город, не обозначенный ни на одной географической карте.

Этот город, куда более комфортабельный, чем сама Москва, не имеет даже названия — только номер. Тем не менее, его жителям можно писать письма: на конверте надо указывать название одного из крупнейших сибирских городов и прибавить этот самый номер.

Разумеется, доступ в это сказочное место наглухо закрыт для кого бы то ни было, кроме горстки высших государственных лидеров и нескольких московских ученых, прямо связанных с секретами таежного города. Но дело в том, что жители города должны ведь что-то есть, во что-то одеваться, в чем-то жить, на чем-то передвигаться и даже время от времени чем-то развлекаться. Поэтому, к прискорбию блюстителей секретности, в городе приходится держать многочисленный обслуживаю-

щий персонал и снабжать «номерной» город всем необходимым. А так как собственного аэродрома при таежном городе-призраке нет, то снабжение надо вести через ближайший крупный центр Сибири. И некоторое количество людей — очень «надежных», очень хорошо «проверенных», но все-таки людей, — должно постоянно ездить туда и обратно. В результате все население большого сибирского города отлично знает, что поблизости (даже на каком расстоянии) существует секретное место под таким-то номером. Может быть, именно поэтому иностранные туристы, путешествующие по Сибири, вынуждены объезжать или облетать этот большой город стороной. Правда, восточные экспрессы, часто везущие иностранцев, останавливаются на его станции, но там все предусмотрено для того, чтобы опасные пассажиры не вышли за пределы вокзала и не вступили в контакт с местным населением.

Впрочем, однажды, в 1963 году, прошел слух, что приедет на короткое время группа иностранных корреспондентов. Дело в том, что неподалеку от большого города строилась одна из величайших в мире электростанций, и Хрущев распорядился дать этой стройке «большую прессу». Начальник городского узла связи получил даже в свое распоряжение четыре канала международного телефона, а в гостинице областного комитета партии срочно ремонтировалось несколько больших номеров. Но в самый последний момент приезд иностранцев был отменен, и в местном отделе Комитета госбезопасности вздохнули с облегчением. Приехали только советские корреспонденты, в числе которых был и я.

Еще в Москве я много слышал от ученых о существовании таинственного лесного города без названия. Толки были самые невероятные: будто там в магазинах можно купить все то же, что есть в Париже или Нью-Йорке, причем по ничтожным ценам; будто в этом горо-

де нет ни одной коммунальной квартиры; и, наконец, (это звучало совершенно уж фантастически), будто там ученые, состоящие в партии, не обязаны посещать партийные собрания. Всем этим россказням я не особенно верил, но это нисколько не снижало моего интереса к таежному чуду. Особенно хотелось побывать потому, что там работали (надеюсь, работают до сих пор) несколько поистине великих ученых, и они, по словам их московских коллег, выражают свои мысли предельно откровенно — даже когда наезжают по делам в Москву, а у себя в городе и подавно.

Здесь не будет дано никаких объяснений, как я достиг своей цели, ибо любой намек может стоить жизни многим прекрасным людям. В утешение следователям КГБ, которые пойдут по следам этих строк и, вероятно, быстро поймут, о каком секретном городе речь (хотя их в России несколько), скажу вот что: я до сих пор понятия не имею, чем именно занимаются обитатели города. В разговорах со мною ученые даже не заикались о своей работе, словно ее вообще не существовало, а я не имел ни малейшего намерения выяснять какие-либо секреты. Меня интересовали только люди с их мыслями и, как вы очень скоро увидите, этот интерес был удовлетворен сполна.

Но для того, чтобы ни у кого из читателей не осталось сомнений, что я д е й с т в и т е л ь н о был в городе-призраке, я приведу факт, известный только там и нигде более. Советские официальные лица никогда не опровергнут этого факта, ибо он и м е л м е с т о, и если начать его отрицать, то жители секретного города будут зло смеяться. А этих людей советские лидеры стараются по возможности не злить.

Итак: примерно за год до моего визита, в тайге побывал более именитый гость — Никита Хрущев. Он по пути с Дальнего Востока сделал посадку в крупном соседнем городе, и печать, разумеется, сообщала о его пребывании только там. Но он вместе с Александром Ше-

лепиным, ныне председателем ВЦСПС, а тогда главой КГБ, прямо с аэродрома понесся на машине в город-призрак и провел там ночь (местные партийные руководители догадливо приготовили в «номерном» городе дом для ночлега высоких гостей, хотя не были заранее осведомлены о намерениях Хрущева). Наутро хозяин России бегло осмотрел это свое необычное владение и остался доволен. Накануне ученые заметили, что он был в очень дурном расположении духа, утром тоже поднялся довольно сердитым, но короткий осмотр возымел самое благотворное действие: Хрущев выступил на митинге, щедро улыбаясь, произнес импровизированную речь без заранее заготовленного текста и в ней, между прочим, сказал, что таких городов, как этот, он «даже в Америке не видывал». Потом умчался в большой город, где в полдень выступал на официальном митинге, читая свою речь, как всегда, с листов, напечатанных особо крупным шрифтом.

Я пока еще не бывал в Америке и не могу лично подтвердить или опровергнуть смелое сравнение Никиты Хрущева. Но секретный город мне очень понравился. Пожалуй, он, действительно, выглядит не по-советски: видна обеспеченность горожан и очень ясно ощущается спокойствие, чего нигде в России не увидишь. Город хорошо благоустроен и в его магазинах нет очередей — тоже диво немалое. В общем, так скажу: более молодой научный центр под Новосибирском, не отрезанный от мира секретностью, все-таки вполне советский город — а этот нет!

Чтобы разделаться с внешними приметами, добавлю: слухи о каких-то фантастических магазинах и чуть ли не даровых товарах в них, — неверны. Ассортимент всех товаров, действительно, куда богаче, чем в лучших универмагах столицы, продается много импортных вещей, можно без очереди купить автомобиль (конечно, только советский), а в Москве вы будете четыре-пять лет ждать ту же машину. Но цены обыкновенные — та-

кие же непомерно высокие, как повсюду в Советском Союзе. Разница в обеспеченности населения — очень резкая разница — объясняется огромными окладами не только ученых, но и обслуживающего персонала. Добровольное заточение в городе-призраке, по-видимому, хорошо оплачивается, хотя выяснять цифры мне было неудобно.

Я провел в секретном таежном городе несколько воскресных часов — от полудня до девяти вечера. Но краткое пребывание там было — и останется — самым сильным впечатлением моей жизни.

По рекомендации молодого столичного профессора я навестил его друга, работающего в тайге. Визит был необычен и неожидан, хозяин встретил меня с неслыханным радушием, немедленно взялся за телефонную трубку, и через каких-нибудь полчаса в комнате, обставленной венгерской полированной мебелью. и устланной дорогим азербайджанским ковром, сидели девять человек. На столе стоял любимый напиток хозяина — кубинский ром бакарди. Каждый наливал себе, сколько хотел, разбавляя по вкусу лимонадом. Часа через два после начала беседы, хозяйка незаметно удалилась и принесла каждому по большой тарелке с разнообразными холодными закусками. «Чтобы не тратить времени и не отвлекаться от пищи духовной» — сказал хозяин.

В другое время я, пожалуй, удивился бы такой манере принимать гостей — это было абсолютно не по-русски и тем более не по-сибирски. Но мне было некогда удивляться, разговор захватил меня целиком и мог бы продолжаться еще сколько угодно, если бы мне не позвонили и не сказали, что сейчас за мной придет машина. Пора было ехать назад в большой город — а мне казалось, что нужно из сказки возвращаться в реальный мир.

Вернемся, однако, к началу беседы. Пока подходи-

ли гости, мы с хозяином, так сказать, нащупывали темы. Как всегда в современной России, начали с последних литературных событий — главной новостью была тогда повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Потом я прочел несколько «подпольных» стихов, встреченных с энтузиазмом. Меня спросили об их авторах, я несколько заколебался, замешкался с ответом. Тогда хозяин, чуть нахмурившись, сказал:

— Вы приехали с первоклассной рекомендацией и скоро убедитесь, насколько вам здесь доверяют. Но — взаимно, пожалуйста. В этой комнате, смею заверить, сидят только н а с т о я щ и е люди. Стены тоже вполне надежны и ушей не имеют, это научно проверяется каждую неделю. Прошу вас!

Сказано было так, что все мои сомнения, вся осторожность немедленно отпали. Я стал говорить совершенно открыто, гораздо откровеннее, чем даже у себя в московской квартире — как-никак, научной проверки моих стен я делать не умел. Очень скоро разговор перешел с литературной ситуации на общеполитическую, и тут я уже не говорил, а только слушал. Чтобы не цитировать по памяти и не перепутать говоривших (записей я, понятно, не вел ни тогда, ни после, а неточностей не хочу, ибо надеюсь повидаться с участниками разговора еще раз), приведу лишь главные мысли, которые были высказаны.

Представителям точных наук — ими были все присутствующие — до смерти надоело анализировать положение с «гуманитарной», эмоциональной точки зрения. Все, что можно было сказать по поводу жестокостей и нелепостей режима, более или менее сказано. Новые свидетельства такого рода — даже настолько сильные как «Один день Ивана Денисовича» — не вносят изменений в картину. Настало время, когда надо прекратить болтовню и включить электронно-вычислительные машины для обработки наличной информации. Если создать толковую программу для дискретного анализа, то,

возможно, удастся получить ряд надежных вариантов экономического и политического развития на ближайшее будущее.

Исходные позиции, говоря на языке кибернетики, таковы. Существующая политико-экономическая система характеризуется почти полным отсутствием обратных связей и очень высоким уровнем бесполезного шума. В экономике отсутствие обратных связей — это игнорирование закона стоимости, разрыв между производителем и потребителем, постоянные кризисы недопроизводства и перепроизводства, миллиардные потери от нехватки товаров и от омертвления подчас тех же товаров на складах в других местах. Разрыв обратных связей в политическом смысле — это централизация власти, независимость политических решений от воли народа, навязывание решений сверху, отсутствие выборности, гласности, права на дискуссию. Понятие «шум» в кибернетике означает бесполезную информацию, заглушающую нужный сигнал. В существующей общественной системе шум создается все растущим бюрократическим аппаратом, который не позволяет реализовать на местах даже правильные и необходимые меры.

Системы такого рода не поддаются настройке. Если даже попытаться изолировать какую-то часть системы и настраивать только ее, если при этом действовать даже абсолютно правильно, то снизить общий уровень энтропии системы все равно не удастся, так как энтропия будет «перетекать» — хаос в остальных звеньях не даст настроить выбранное звено*).

---

*) Прошу прощения у читателя за сложный текст, но мне не хочется «популяризировать» такие важные мысли. Энтропия — это функция состояния в термодинамике и в теории информации. Чем упорядоченнее система, тем ниже уровень энтропии. Максимум энтропии — это состояние хаоса. Энтропия системы стремится к максимуму — таков один из основных законов термодинамики.

Таким образом, оценкой вводимых в систему команд можно пренебречь. Другими словами, не стоит тратить время на анализ тех или иных партийных решений — они могут быть как угодно разумны в свете конкретных обстоятельств, но, поскольку система остается неизменной, их ценность с научной точки зрения равна нулю.

Вывод: система должна быть изменена, переведена в новое качественное состояние, при котором возможна экономическая и политическая самонастройка, возможно совершенствование с помощью научно разработанных команд, подтвержденных волеизъявлением народа или реакцией рынка. Нужно, стало быть, покончить с диктатурой как в экономической, так и в политической области.

Необходимо особо тщательно проанализировать пути такого перехода. Вариант революционный, «взрывной», вряд ли может при этом считаться главным. Дело в том, что (в терминах кибернетики) сигнал, вызывающий изменение состояния системы, может быть различен. При ударном воздействии система на какой-то промежуток времени становится неуправляемой. Для России это неминуемо означает хаос, кровь, трупы, голод. Допустить этого нельзя — страна и так понесла за последние полвека больше жертв, чем весь остальной мир.

Стало быть, надо наметить ближайшее промежуточное состояние системы и действовать целенаправленно, стремясь перевести систему сначала в это состояние. По-видимому, здесь нет выбора: промежуточное состояние — это управление страной с научных позиций. Когда говорят об этом, всякий раз всплывает слово «технократия», а наша пропаганда сделала все, чтобы скомпрометировать это слово. Но бояться технократии не надо: если варианты развития будут проработаны научно, технократия не породит новую диктатуру. Люди, которые временно встанут у власти, если это будут настоя-

щие ученые, сумеют преодолеть свои человеческие слабости, принести их в жертву ими же самими выработанным перспективам.

Вопрос таков: как перевести систему в это состояние? Путь единственный — насаждать во всех управляющих звеньях как можно больше людей науки, разделяющих идеи перехода. Ситуация для этого благоприятна: власть ищет компетентных людей. Правда, от них требуют лояльности, что для них равносильно лицемерию, лжи. С точки зрения многих ценных людей все это «непорядочно». Именно поэтому многие ученые отказываются вступать в партию и отрезают себе дорогу к высоким административным постам. Их другой мотив обычно состоит в том, что администрирование несовместимо с серьезными занятиями наукой.

Этих людей нужно убедить, что без них невозможно изменить систему, привести ее в конце концов к демократии. Здесь, в Китеже, мы достигаем некоторых успехов в этом, и кое-кто из наших ставленников уже взобрался достаточно высоко. (Я совсем забыл добавить, что ученые зовут свой городок не иначе как «Китежем» — это название легендарного города из русских преданий, стоявшего в глухих заволжских лесах). Из девяти присутствующих семеро — члены партии, и городская партийная организация у нас все время растет — за счет сознательных людей, не видящих иного пути к изменению системы.

Очень важно сказать, что это не заговор и не новая партия, поставившая целью захват власти. Нашему движению нельзя отсечь голову, нельзя его разгромить. Можно арестовать сколько угодно людей, преданных идее перехода, это ничего не изменит. Никто из ученых, располагающих властью, не нуждается в указаниях со стороны тайной организации — он делает свое дело сам, имея в виду ближайшую цель. Кроме того, арестовывать ученых — сегодня очень трудное дело. Особенно

ученых, занимающихся военными или смежными с ними проблемами. Ибо нельзя заменить ученого партийным чиновником — это их легко арестовывать в случае необходимости, легко сбрасывать с каких угодно высоких постов. А ученые имеют ту привилегию, что индивидуальность каждого из них так или иначе влияет на мощь государства. Вот поэтому предлагаемый путь изменения системы особенно надежен и эффективен.

Но, конечно, путь этот может быть пройден быстрее или медленнее. Тут многое зависит от поддержки или сопротивления других слоев общества. Исключительно важны литература и пресса. Сегодня наша первая встреча с журналистом, да еще работающим в научно-популярном жанре, мы придаем этой встрече большое значение. Мы хотим, чтобы печать пропагандировала доверие к ученым, подчеркивала их свободомыслие, интернационализм, умение давать событиям точную оценку. Среди ученых тоже, конечно, немало карьеристов, трусов, негодяев, есть в ученом мире и вражда и внутренняя борьба — да, ведь, что поделаешь! Надо почаще давать трибуну в газетах и журналах большим ученым, брать у них интервью, затрагивая не только узко-научные, но и общие проблемы человеческого бытия. Заметьте: когда говорит академик, то, во-первых, к нему прислушиваются, а, во-вторых, цензура меньше режет его неортодоксальные высказывания — из уважения к чину.

Что касается дальнейшего развития, то есть перехода от промежуточного состояния к демократии, то этот этап надо изучать уже теперь, не откладывая. И тоже методами точного анализа. В первую очередь тут предстоит масса работы математическим экономистам — в стране пока мало таких ученых, они завалены текущей, совершенно бесполезной работой, но кое-кто из них, мы это знаем, уже прикидывает экономические варианты реального будущего. Задача сложна: надо проанализи-

ровать экономические системы нескольких десятков стран, сравнить их, примерить к русским условиям. Только тогда можно будет говорить конкретно. Пока можно лишь фантазировать. В порядке такой фантазии стоит назвать лишь некоторые меры вроде отмены монополии внешней торговли, поощрения частного промысла, открытого обсуждения финансовых дел государства в печати и так далее. Придется, конечно, менять положение в деревне. А когда экономическое освобождение станет заметным (критерии этой «заметности» тоже нужно выработать заранее), станут возможны и дальнейшие шаги, — например, замена декретированных цен рыночными под государственным контролем.

Верные экономические шаги государства, открытая информация населения о его намерениях, планах, достижениях и ошибках, должны создать у людей настоящий, а не фальшивый душевный подъем. Русские люди (мы говорим обо всех, кто живет в СССР) увидят личные перспективы, они постепенно начнут преодолевать привычку к «указаниям свыше». Этот процесс необходимо будет внимательно изучать — в частности, путем широких опросов населения. На определенной его стадии (которую, безусловно, тоже можно и нужно заранее определить в дискретных величинах) создадутся условия для введения в действие истинно демократической системы — тогда ученые с удовольствием вернутся в свои лаборатории и попросят не тревожить их глупыми политическими проблемами.

Вот, очень коротко, что я услышал от людей, сидящих в тайге за тысячи миль от Москвы, но чувствующих свою высокую моральную ответственность за судьбы России. Я не во всем был с ними согласен; мне казалось временами, что их обособленное положение в «Китеже» делает рисуемую ими картину излишне гладкой, даже идеалистической; на языке теснились сотни вопросов. Но я боялся задавать вопросы или вступать с

ними в спор — чувствовал, что время летит, и волшебная эта беседа может в любую минуту кончиться. Впрочем, насчет их идеализма я все-таки что-то пробормотал — и тут же получил выговор, сделанный в шуточно-ворчливой форме. Дескать, как же это вы, научно-популярный журналист, много пишущий о кибернетике (к моему ужасу хозяин принес для обозрения несколько журналов с моими статьями), — и вдруг не знаете, что прежде, чем составлять программу задачи, надо и д е а л и з и р о в а т ь , формализовать ситуацию. Получив основной вариант решения, можно вводить различные ограничения и усложнения.

Из девяти человек, сидевших тогда за кубинским ромом, я потом встретил только одного — из Китежа редко ездят в столичные командировки. Мы поговорили в моей машине, очень откровенно, но и очень недолго: гость просил отвезти его на Ленинский проспект, где у него было назначено вечернее свидание с крупнейшим химиком страны.

— Будете просвещать? — спросил я сибиряка с улыбкой.

— Надо! — ответил этот человек и задумался о чем-то своем, глядя вперед, туда, где сходились огни длинного проспекта.

II

Партийные власти и государственные руководители Советского Союза больше всего опасаются писателей, художников и даже актеров. Их считают самыми вероятными разносчиками «идеологической заразы». Но власти, как всегда, плохо знают, что делается в стране. Наиболее враждебны режиму не писатели и не художники, а ученые. На то есть несколько причин.

Человек науки, по характеру своей деятельности,

привыкает логически анализировать любую ситуацию. А логический анализ современной русской жизни автоматически делает Вас противником режима. Я все время думал об этом, слушая высказывания ученых таежного города.

Кроме этой общей причины есть и другие — более или менее частного порядка. Прежде всего — усиливающиеся расхождения между фундаментальными научными теориями последнего времени и официальным диалектическим материализмом, предписываемым свыше в качестве «науки всех наук». Затем глубокое недовольство партийным вмешательством в науку, невежественным «планированием» научных достижений. Еще большее недовольство всеобъемлющей секретностью, отсутствием обмена информацией с зарубежными коллегами, превращением множества ученых в анонимов и невидимок. Наконец, свежие рубцы на теле большинства наук от недавних свирепых гонений, от долгого владычества обскурантов и карьеристов типа небезызвестного академика Лысенко.

Здесь нет, к сожалению, места, чтобы привести интереснейшие высказывания людей науки о философских провалах марксистско-энгельсовского диалектического материализма в качестве единственного инструмента познания мира. Материализм бессилен даже в осмыслении такого явления как электромагнитная волна. Еще хуже обстоит дело с принципом неопределенности Гейзенберга, с общей теорией относительности Эйнштейна, с вероятностным характером протекания всех физических процессов и так далее. Поскольку все эти явления науки неоспоримы, марксистские философы уже не решаются просто предать их анафеме и объявить злостными выдумками буржуазной науки. Они лавируют, пытаются изобретать марксистские объяснения всему, что дают сегодня точные науки. Беспомощная эмпирическая философия такого рода приносит гораздо

больше вреда, чем кажется: она сдерживает свободное развитие всех наук. Физик или биолог может, конечно, не слушать псевдофилософских разглагольствований, но он не в состоянии их открыто опровергнуть — такую работу не напечатают, а у автора начнутся крупные неприятности. Поэтому, как любил говорить мне знакомый физик, науки в СССР развиваются «не благодаря, а вопреки» — то есть, не только без философской поддержки, но и с постоянной необходимостью преодолевать официальное философское сопротивление.

Очень донимает ученых и бюрократическое «планирование» науки. В исследовательских институтах и лабораториях — секретных и несекретных — составляется масса всяких планов, описаний будущих научных тем и так далее. Вся эта бумажная масса нужна для того, чтобы получить средства на продолжение работы. Высокопоставленный бюрократ, «контролирующий» деятельность той или иной научной отрасли, должен понять из бумаг, что данная тема утилитарно полезна, что к такому-то сроку она даст «отдачу в народное хозяйство». Только тогда он подпишет смету расходов по этой теме. Что касается тем сугубо теоретических, «отвлеченных» и не сулящих немедленной «отдачи», то тут ученым приходится писать еще больше объяснений.

Вторая половина бумаготворчества ученых — составление отчетов по утвержденным и выполненным темам научных работ. Дело в том, что самый превосходно составленный план не может гарантировать успеха исследования. Но если тема была официально «открыта» и на работу по ней израсходованы какие-то деньги, то тему надо столь же официально «закрыть». Для этого пишется длиннейший отчет, утверждается ученым советом института и идет «наверх» для последующего утверждения.

Профессор химии, с которым я часто беседовал о научной бюрократии, показал мне однажды листок бу-

маги с цифрами. Путем несложных выкладок он вывел, что рабочий час кандидата наук (первая ученая степень в Советском Союзе) обходится в 3,2 раза дороже, чем рабочий час секретарши. Совершенно очевидно, что имеет прямой экономический смысл дать ученым побольше секретарей — они взяли бы на себя главную часть «письмоводительства», и дорогое время специалиста не уходило бы на чисто техническую и совершенно не нужную ему работу. Однако директор института (профессор как раз и есть директор) не имеет права открыть даже одну дополнительную секретарскую должность сверх утвержденного много лет назад штатного расписания. Этот запрет действует... в целях экономии и борьбы с «раздуванием штатов». Вносить проекты увеличения численности персонала совершенно бесполезно: их не утвердят «наверху» как расточительные. Об истинной выгоде, выгоде окончательной, никто при этом не думает: бюрократы не были бы бюрократами, если бы их всерьез волновала суть дела, а не только порядок в бумагах.

Около половины советских ученых (это моя личная, весьма приблизительная количественная оценка) работают над секретными темами. Подавляющее большинство этих тем никакого военного секрета не составляют, но власти помешаны на засекречивании. Официально считается и говорится, что секретность нужна для сохранения советских военных тайн от коварных иностранных разведок, которые делают все, чтобы узнать о последних достижениях нашей передовой науки. Но мы, научные журналисты, особенно страдающие от гнета секретности, давно знаем истинное объяснение. По единогласному мнению ученых, секретность нужна для того, чтобы не дать понять Западу, как далеко о т с т а л и советские ученые в большинстве вопросов. Враг должен бояться нас и переоценивать наш военный

потенциал — вот политическая формула, порождающая секретность.

А на практике засекречивание научных работ означает вот что. В каждом институте (не только в целиком засекреченных) есть так называемый Первый отдел. Сотрудники Первого отдела — сплошь агенты тайной полиции (иногда даже офицеры КГБ в высоких чинах). Они, во-первых, хранят в сейфах все научные записи — в прошнурованных тетрадях с пронумерованными страницами. Они заполняют бесконечные анкеты, справки, характеристики на ученых, допущенных к секретной работе. Они проверяют документы всех посетителей — их особые секретные «допуски» — прежде, чем разрешать выписку разовых пропусков. Они, наконец, принимают от ученых и отсылают специальной фельдъегерской почтой всю корреспонденцию. Разумеется, они же принимают секретную почту извне и «знакомят» с ней тех лиц, которых она касается, под особую расписку.

Положение еще усложняется тем, что в СССР действуют несколько степеней секретности. Самая «легкая» называется ДСП — для служебного пользования. Документ, носящий пометку ДСП, не может быть опубликован в печати и не должен выноситься за пределы учреждения. Особенно часто гриф ДСП получают бумаги, отражающие «не совсем правильную» идеологию, но тем не менее нужные ученым в практической работе. Иногда, скрепя сердце, такие вещи приходится издавать для ознакомления научных кругов порядочными тиражами. Тогда на книге или брошюре печатается более благопристойный гриф — ДНБ, то есть «для научных библиотек». Смысл тот же.

Под шифром ДНБ печатается немало книг западных ученых, причем авторы книг не имеют ни малейшего представления о том, что их труды переведены на русский. О предстоящем выходе таких книг из печати

ученые оповещаются по секретным каналам, через свои «Первые отделы». В этот список особенно часто попадают философские труды, но бывают даже математические. С некоторым изумлением взял я, например, книгу недавно умершего Рейхенбаха «Направление времени» — почему она ДНБ? Но когда прочел, понял, что идеи Рейхенбаха просто слишком смелые, они разрушают догматический ход мышления, поэтому студентам, например, советские идеологи давать эту книгу не хотят.

Следующая, наиболее распространенная ступень секретности выражается грифом «Секретно». Доступ к материалам, носящим этот гриф, разрешается только лицам, имеющим особые справки КГБ, так называемые «формы номер два». Все документы с надписью «секретно» хранятся в сейфах Первого отдела, на каждый документ немедленно при его появлении на свет заводится карточка. В эту карточку записывают «первичные» сведения о документе (название, дата выпуска, автор или исполнитель, количество отпечатанных копий, на скольких листах документ, есть ли приложения), а потом все его движения, фамилии всех лиц, которые им пользовались. И так до уничтожения или до сдачи в секретный архив или — в очень редких случаях — до снятия секретности.

Вынос секретной бумаги из учреждения, утеря ее или показ кому-либо без санкции Первого отдела — уголовные преступления. Расследование по таким делам ведут органы КГБ, а суды рассматривают обвинение при закрытых дверях. При этом судей не знакомят с содержанием документа, который был потерян или кому-нибудь показан обвиняемым. Выносся приговор, суд должен довольствоваться заключением «экспертизы» о том, что документ, действительно, носил гриф «Секретно» и содержал сведения, составляющие военную или государственную тайну. Приговор по таким де-

лам всегда суров — до восьми лет тюремного заключения, если это было только нарушение секретности, и подозрение в шпионаже не возникло. В последнем случае наиболее вероятный приговор — расстрел.

Еще более важные бумаги помечаются грифом «Совершенно секретно» — СС. К ним допускаются только люди, облеченные особым доверием и владеющие соответствующим документом того же КГБ — «формой номер один». Обращение с документами СС, понятно, еще более строгое и канительное.

Я слышал, что существует некая особая, самая высшая форма секретности, но никогда не видел бумаг этой категории и даже не знаю, как они помечаются. Тут будет уместно сказать, что я никогда не проходил «оформления на секретность», как зовется эта таинственная процедура в недрах КГБ, не имел на руках даже «формы номер два», не говоря уж о чем-либо выше — но, тем не менее, секретных и даже совершенно секретных бумаг видел вдоволь. Парадокс? Я, кажется, уже имел случай сказать, что вся нынешняя система в России состоит из парадоксов.

Скажем, так: некоторое время, в начале пятидесятых годов, я, заключенный, работал чем-то вроде клерка в лагерной канцелярии. Наша канцелярия без конца заполняла длинные листы отчетов — их насмешливо называли простынями. Сколько заключенных было в лагере на начало месяца, сколько на конец, сколько отправлено по этапу, сколько прибыло из тюрем, сколько и каких больных, сколько мужчин первой категории (то есть годных для тяжелого физического труда), бесконечные «сколько». Каждая простыня имела вверху грозный гриф — «По заполнении совершенно секретно». А я заполнял эти отчеты своей арестантской рукой и тут же заготовлял для них карточки Первого отдела!

Другой пример — тоже парадоксальный. Советская

цензура ежегодно издает (а в течение года несколько раз дополняет) так называемый «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати». Это массивная книга, на переплете которой золотом вытеснено: «Секретно. Экземпляр №...» Но ты приходишь к цензору, и он вместе с тобою, не спрашивая у тебя никаких «форм», листает Перечень, отыскивая нужное место. Более того, Перечень имеется в каждой редакции и, хотя хранится в сейфе, обращаться к нему приходится постоянно. Никакой редактор не может запретить любому своему сотруднику заглянуть в «Талмуд», как повсеместно зовется эта малоприятная книга.

В применении к ученым секретность имеет еще и другую печальную сторону. Те их них, кто работает над секретными военными проблемами, вычеркиваются из списка живых, становятся пожизненными анонимами. Покойного академика Сергея Королева в печати торжественно именовали Главным Конструктором космических кораблей, но его имя ни разу не публиковалось. Когда он умер, власти все же дали его портрет и некрологи, но официально так и не было сообщено, что скончался Главный Конструктор. А когда за год до него похоронили его заместителя, не было ни портретов, ни некрологов.

Долгое время в советских газетах рядом с Главным Конструктором мелькал другой титул — Теоретик Космонавтики. Фамилия этого лица тоже опубликована многократно, хотя и не по столь печальному поводу, как фамилия несчастного Королева. Дело в том, что в 1961 году Теоретика Космонавтики решили сделать президентом Академии наук, а скрывать фамилию президента трудновато. Что ж, ее объявили — академик Мстислав Келдыш. Но о том, что он и пресловутый Теоретик — одно лицо, нигде не было даже упоминания.

А о теоретиках и конструкторах, которые пока не умерли и не попали в президенты, упоминать катего-

рически запрещается. Ученые высокого ранга, вовсе не одержимые честолюбием, а просто подавленные своим ущербным положением по сравнению с зарубежными коллегами, без конца протестуют. Однажды покойный Королев дал понять нам, журналистам, что требует от Хрущева снятия анонимности. Он это сделал довольно недвусмысленно.

Дело в том, что Королев время от времени выступал в «Правде» со статьями об изучении космоса, о советских достижениях, перспективах и так далее. Статьи он подписывал псевдонимом «Константинов» — разумеется, без всяких титулов. Для согласования окончательного текста к нему ездили специально проверенные и «оформленные на секретность» журналисты. Подписывая в присутствии одного из них статью, обычно хмурый, необщительный и очень занятый Королев вдруг сказал:

— В следующий раз, может быть, подпишу собственным именем.

Журналист попытался расспрашивать и получил ответ, что Королев сказал «кому надо», что не желает больше быть человеком-невидимкой и не хочет, чтобы на международных конгрессах вместо него сидели подставные лица вроде академика Седова.

Эта новость молнией облетела журналистскую братию — мы все, понятно, знали не только Королева, но и всех остальных главных ракетчиков, атомщиков и так далее, — однако надежды Главного Конструктора не оправдались. Еденственной реакцией Хрущева была фраза в одной из его речей: «Мы пока не можем назвать имена творцов советских спутников и космических кораблей, но вы за них не беспокойтесь — они живут, как говорится, дай бог нам с вами».

Современные правители России воздерживаются от подобных глупостей в своих речах, однако продолжают хранить в тайне имена тысяч ученых. Когда их награж-

дают орденами (а орденов в России не жалеют), то указы о награждениях издаются под грифом «Совершенно секретно» и объявляются «именинникам» через Первый отдел. Разумеется, никто из таких ученых не имеет права выезда за границу, даже в страны Восточной Европы, а многие к тому же работают в засекреченных городах и поселках вроде того, таежного, где мне удалось побывать.

Все эти «особенности» научной работы в Советском Союзе, конечно, нестерпимо гнетут каждого мыслящего человека. Однако самая большая беда русских ученых еще не была названа. О ней нужен отдельный рассказ.

III

Фантастическая 33-летняя «научная карьера» академика Трофима Лысенко окончилась в тот же самый день, что и политическая карьера Никиты Хрущева. На известном «пленуме заговорщиков» 14 октября 1964 года было решено не только изгнать бывшего диктатора, но и положить конец безраздельному господству так называемой «мичуринской биологии» в стране.

Задолго до октября 1964 года молодые ученые составили своего рода «черную книгу» — документальный обвинительный акт против Лысенко и его «последователей». Эта книга на 238 страницах была ими смело послана в ЦК партии и, может быть, явилась одной из причин того, что Лысенко был развенчан вместе с Хрущевым. Однако надежды, что после октября 1964 года обвинительный акт увидит свет, не оправдались. Рукопись, представленная к публикации одним из толстых литературных журналов, была немедленно запрещена цензурой. Она пошла теперь из рук в руки, по накатанной дороге подпольной литературы, разделив судьбу сотен других документов, романов и стихов.

Я никогда не читал столь позорных и трагических документов, как те, что приведены в обвинительном акте против Лысенко. Книгу, конечно, здесь не перескажешь, но некоторое представление о ней я все-таки попытаюсь дать.

На протяжении трех с лишним десятилетий биологическая наука в стране была терроризована «школой» Трофима Лысенко. Участники этой «школы» объявили себя единственными представителями диалектического материализма в биологии, а затем, использовав имя русского селекционера-садовода Ивана Мичурина, назвали свое учение «мичуринской биологией». То, что они проповедывали, имело так же мало отношения к Мичурину, как к самой биологии. Это был наивный ламаркизм, приправленный совершенно бредовыми фантазиями.

Прежде всего, Лысенко отрицал ген, как носителя наследственности. Затем, он считал, что по наследству передаются признаки, приобретенные при жизни организма под влиянием окружающей среды. Далее, отрицалась начисто внутривидовая борьба в живой природе.

Практические выводы из подобных «теорий» звучали совсем уж дико, но, тем не менее, совершенно серьезно излагались в «ученых трудах» лысенковцев. Утверждалось, например, что из пшеницы может получаться рожь, из овса — овсюг, а из яйца кукушки может вылупиться пеночка (честное слово, я не утрирую, не преувеличиваю, я это видел сам в статьях Лысенко, не только в книге, о которой сейчас рассказываю). Говорилось, что деревья, например, надо сажать гнездами: из гнезда вырастет всего одно дерево, но это не значит, что оно подавит остальные — ведь внутривидовой борьбы не существует, — а просто остальные саженцы «сознательно» принесут себя в жертву самому сильному и здоровому деревцу и тем помогут (да-да, именно помогут!) его росту.

Лысенко и его «карманный идеолог» некто Исаак Презент постоянно клеймили ученых-генетиков за «отрыв от жизни», за «возню» с мухами-дрозофилами вместо «реальной помощи сельскому хозяйству». Однако, как совершенно точно установлено, ни одно предложение «мичуринских биологов» (а недостатка в самых фантастических рекомендациях не было) не принесло даже ничтожной пользы сельскому хозяйству. Наоборот, предложения эти, обычно принимавшие силу закона для всей страны, подорвали агрономию СССР коренным образом.

Крупнейшие ученые страны пытались, как могли, бороться с бедствием. Но лысенковцы никогда не шли на открытый научный спор, понимая свое бессилие в этом смысле. Они действовали иначе.

В 1940 году великий русский биолог Николай Вавилов «осмелился» высказать Трофиму Лысенко свое негодование по поводу безграмотных и антинаучных теорий, по поводу расправы с инакомыслящими — к тому времени уже многие видные профессора томились в тюрьмах по политическим доносам Лысенко и его группы. Николай Вавилов изложил свою точку зрения также в письме тогдашнему министру сельского хозяйства Бенедиктову. Лысенко «возразил» на это по-своему: 6 августа 1940 года академик Вавилов был схвачен и брошен в Саратовскую тюрьму. Вслед за тем была создана «авторитетная комиссия» из лысенковцев, чтобы определить состав преступлений Николая Вавилова. Составленный ею акт утверждал, например, что Вавилов портил аэродромы, рекомендуя засевать их негодными сортами трав. Остальные обвинения были на том же уровне.

Николай Вавилов погиб в тюрьме в начале 1943 года. Незадолго до того Королевское Общество Великобритании избрало его своим почетным членом, но ученый так и не узнал об этом.

После окончания войны, когда многим казалось, что возможна некоторая демократизация советского общества, несколько мужественных людей вновь попытались доказать никчемность «теорий» Лысенко и опасность вытекающей из них практики. Самыми «неприятными» для Лысенко противниками были академики Прянишников и Шмальгаузен. Их доводы, ясные и неоспоримые, склонили на их сторону даже кое-кого из высшего партийного руководства — например, известного сталинского сатрапа Андрея Жданова. В печати была опубликована статья его 27-летнего сына Юрия, который в этом возрасте занимал уже должность заведующего отделом науки ЦК партии. Юрий Жданов осторожно, но вполне определенно выступал против Лысенко.

Встревоженный «основоположник мичуринской биологии» кинулся к Сталину и нашел у него полную поддержку. В 1948 году состоялась так называемая «биологическая дискуссия» при Академии сельскохозяйственных наук. Это был дикий погром всех подлинных генетиков, которых назвали «морганистами-менделистами-вейсманистами». К счастью для него, академик Прянишников скончался за три месяца до открытия «дискуссии», так что главный удар пришелся по академику Шмальгаузену. Однако после «биологической дискуссии» было арестовано, выброшено из университетов и лишено всех ученых званий не меньше трех тысяч человек! Так, одним ударом, Лысенко окончательно разделался со всеми своими противниками и стал до самого 1964 года безраздельным властелином в биологии.

Об обстановке, какая сложилась в стране после «дискуссии», говорит такой факт. Ближайший сотрудник академика Прянишникова профессор Дикуссар в «дискуссии» не участвовал — он был в это время на отдыхе вне Москвы. Вернувшись, он с изумлением об-

наружил, что нигде больше не работает — его заочно сняли со всех постов. Трофим Лысенко мстил таким образом мертвому Прянишникову.

Профессор Дикуссар отправился в ЦК партии. Его принял заведующий отделом сельского хозяйства Сотников — один из ставленников Лысенко. Дикуссар попросил у него какой-нибудь работы, сказав, что всю свою жизнь отдал биологии и больше ничего, к сожалению, делать не умеет.

— Покажите мне какую-нибудь Вашу статью с критикой взглядов академика Прянишникова, — сказал ему Сотников. Дикуссар пожал плечами и ответил:

— Покажите мне хоть одно место в сочинениях Прянишникова, которое заслуживало бы критики.

— Ах, вот как вы разговариваете! — вскипел партийный босс. — Тогда до свиданья.

Дикуссар ушел и через три дня был арестован. Он выжил в лагере и был реабилитирован после смерти Сталина. Возобновил научную работу, однако, не в Москве — это не удалось, — а в Кишиневе, в Молдавской Академии наук.

В конце пятидесятых годов было восстановлено доброе имя покойного академика Прянишникова. В 1961 году вышел в свет сборник его памяти. Предисловие к сборнику написал... Сотников! Тот самый Сотников. Он в то время занимал пост министра сельского хозяйства РСФСР. Здравствует он и поныне.

Такими примерами — полностью документированными — заполнены все 238 страниц обвинительного акта против Лысенко. Доносы, аресты, кровь, смерть, самоубийства ученых. Когда после XX съезда партии началась реабилитация жертв сталинского террора, следователи обнаружили, что десятки ученых были в свое время арестованы по доносам некоего Якушкина, носившего звание академика. Этого Якушкина вызвали, и он показал, что систематически фабриковал доносы на

неугодных Лысенко людей. Он был и членом «ученой комиссии» по обвинению Николая Вавилова. Якушкин подписал эти свои признания, приехал домой и умер от разрыва сердца.

Но его вдохновитель Лысенко даже в это время чувствовал себя прекрасно. Хрущев ценил его так же высоко, как и Сталин. Уже в шестидесятых годах Лысенко с помощью Хрущева «убрал» своего идейного противника академика Дубинина (который, к неудовольствию Лысенко, сумел пережить последискуссионный террор) с поста директора института генетики Сибирского отделения Академии наук СССР.

И вот Лысенко пал, его учение объявлено несостоятельным. Переписываются все учебники биологии для школ и университетов, меняются программы научных исследований. Признается существование гена, снова идут опыты над мухами-дрозофилами, развивается изучение кода наследственности, действия химических и радиоактивных мутагенов. Искореняются из сельскохозяйственной практики агрономические «приемы», рекомендованные Лысенко. Казалось бы, нужно сделать еще одну вещь: отстранить от научной работы самого Лысенко и его хотя бы ближайших приверженцев — слава Богу, они убедительно доказали, что никакого отношения к науке не имеют. В дальнейшем не мешало бы тщательно ознакомиться с поступками каждого из этих людей и предать их суду за совершенные уголовные преступления.

Но нет: ни того, ни другого власти делать не собираются. Современные вожди России, недрогнувшей рукой пославшие на каторгу писателей Синявского и Даниэля, старательно выводят из-под удара самого Лысенко и его бандитов от науки. Никакого расследования их действий не ведется, хотя материал прямо под руками: самый неопытный следователь может за месяц проверить факты, собранные в «черной книге».

Но что там расследование! Центральный комитет партии наложил прямой запрет на публикацию разоблачительных материалов об ученых-преступниках. Нам, научным журналистам, было сказано на «инструктивных совещаниях», что нельзя разжигать страсти ибо это может означать возврат к тем самым методам, какими действовали лысенковцы. Мы, мол, не должны допускать мести, а напротив — обязаны обеспечить свободу мнений в биологии.

Странное милосердие и благородство властей имеет четкое объяснение: в аппарате ЦК по-прежнему сидят «люди Лысенко», пожиравшие честных ученых по его наветам. Как же могут они допустить сколько-нибудь объективное расследование их собственных действий?

Это простое соображение объясняет многое не только в биологии, но и в других науках — в кибернетике, например, в физике, химии, даже в изучении космического пространства. Идеологические наскоки невежд на подлинных ученых шли и в этих науках год за годом. Ныне карьеристы и шарлатаны, травившие настоящую науку, несколько притихли — но и только. Ни один из них не пострадал.

В 1965 году в Федеративной Республике Германии собирались прекратить судебные преследования нацистских военных преступников за истечением двадцатилетнего срока давности. Как известно, советская пропаганда подняла против этого проекта мощную кампанию (по сути дела, как мне кажется, правильную). В ходе обсуждения всех «за» и «против» министр юстиции ФРГ г-н Бухер обронил мрачную фразу. Защищая проект, он сказал: «Мы должны научиться жить рядом с убийцами». На другой день слова эти были воспроизведены всеми советскими газетами, и негодующие комментарии лились рекой. Как раз в тот день я приехал по какому-то дёлу в один из научно-исследовательских институтов Академии наук в Моск-

ве. Войдя в лабораторию члена-корреспондента Академии наук Т., я увидел его самого с газетой в руках, в окружении доброго десятка сотрудников. Они что-то горячо обсуждали. При появлении журналиста спорящие примолкли, но Т. знал меня давно и счел предосторожности излишними. Он с усмешкой обратился прямо ко мне:

— Вот у нас тут любопытный разговор происходит. Что вы думаете по поводу фразы западногерманского министра?

Я сказал, что фраза неприятная.

— Целиком согласен, — как-то иронически поддержал меня Т. — но согласитесь и вы, товарищ журналист, что эти немцы здорово от нас отстали.

— То есть как?

— А так: им, как видите, еще только предстоит учиться жить рядом с убийцами, а мы, советские ученые, давным-давно научились. Вот через пол-часика я пойду обедать в академическую кормушку (так прозвали закрытую столовую для высшей профессуры на Ленинском проспекте — Л. В.) и непременно встречу коллегу Лысенко. Дюжина таких «коллег» есть и в нашем богоспасаемом институте, да и во всех других институтах тоже.

Профессор Т. не пошел обедать через пол-часа. Мы проговорили дольше, и он между прочим приоткрыл мне подробности еще одного грязного и страшного дела в науке, участники которого до сих пор не тронуты и не разоблачены, а наоборот — ходят в высоких чинах.

Дело это произошло в физике. Когда Лысенко в 1948 году так «удачно» расправился со всеми конкурентами и захватил биологический «престол», его лавры стали не давать покоя некоторым ученым-физикам. Они, что называется, спали и видели себя во главе физической науки в СССР — после того, как на «дискуссии» будет разгромленно какое-нибудь «реакционное», антимарксистское научное течение. Весь вопрос был в

том, чтобы отыскать такое течение, а уж громить — дело простое и знакомое. Козлом отпущения для Лысенко послужил «вейсманизм-морганизм-менделизм» — этот набор иностранных имен, да еще с еврейским душком, великолепно играл на чувствах тогдашних партийных лидеров, начиная с самого Сталина. Отлично — почему бы не разгромить в физике совсем уж еврейское течение — «эйнштейнианство»? Доказать его грехи с политической и философской точки зрения было куда как легко. Все эти релятивистские изменения линейных размеров и массы тела — разве укладываются они в марксистско-ленинскую формулировку о том, что «материя первична, а сознание вторично»? Нет, конечно. Ага, вот вам первое обвинение. Или различное протекание физических процессов в зависимости от системы отсчета, от позиции наблюдателя — разве это материализм? Идеализм чистой воды! Вот и второе обвинение готово. К тому же ведущие советские физики, среди которых так много евреев, поклоняются своему еврейскому богу Эйнштейну, живущему в самом логове врага — в Америке. Прочь их с нашей светлой коммунистической дороги!

И подготовка будущей «дискуссии» в физике развернулась вовсю. Вышел в свет солидной толщины сборник статей «Против идеализма в современной физике». Составителю этой чудовищной книги профессору Дмитрию Иваненко, ее редактору профессору Дмитрию Блохинцеву и авторам статей, в числе которых, увы, оказались крупные физики профессора Петров и Широков, изменили не только их научная совесть, не только логика, но и юмор. Они и не заметили, как стали в ряд с гитлеровцем Ленардом, выдающимся физиком, который, однако, продал душу дьяволу и потратил свои последние годы на создание «немецкой физики» без Эйнштейна. Создатели сборника «Против идеализма в современной физике» делали то же самое — «очищали

физику от Эйнштейна и прокламировали свою «материалистическую» физику, только на сей раз не немецкую, а русскую.

Но Эйнштейн был в то время далеко, за океаном, поэтому авторы сборника атаковали его советских «последователей», в числе которых, понятно, были все лучшие имена: Ландау, Тамм, Харитон, Зельдович, Векслер, Гинзбург, Иоффе — всего около двухсот человек.

В качестве второго этапа подготовки к «дискуссии» был составлен проскрипционный список из этих самых двухсот имен и подан на рассмотрение Сталину (то же самое сделал незадолго до того Лысенко перед своей «дискуссией», и разгром удался на славу). Сталин, понимавший в физике ровно столько же, сколько в биологии, против «дискуссии» не возражал, но список почему-то его насторожил. Он потребовал, чтобы против каждой фамилии в списке было указано место работы. Когда это сделали, то выяснилось, что около половины будущих жертв «дискуссии» работают над ядерным оружием. И Сталин немедленно сказал: «Не надо дискуссии». Он спас этим жизнь многим замечательным людям.

А что же инициаторы «движения» профессора Блохинцев и Иваненко? Ничего, они и сегодня в полном порядке. Дмитрий Блохинцев, например, много лет был директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне, и покойный академик Векслер, как руководитель лаборатории высоких энергий этого института, числился его подчиненным. В его же подчинении работал и профессор Бруно Понтекорво. Ныне директором Дубненского института состоит выдающийся ученый и кристально честный человек академик Николай Боголюбов, но смена руководителей произошла не потому, что кто-то хотел снять Блохинцева, а в силу международного устава института, объединяющего уче-

ных всех коммунистических стран (я еще в 1961 году встречался и беседовал там с китайским профессором Ван Ган-чаном).

Профессор Т., рассказав детали этой грязной истории, добавил, однако, что ученые не забыли «заслуг» Блохинцева и Иваненко. Каждый год власти выдвигают их обоих кандидатами в Академию наук: первого хотят сделать ее действительным членом, второго — членом-корреспондентом. Каждый год обе кандидатуры проваливаются при тайном голосовании.

— Маловероятно, что их призовут когда-нибудь к ответу, — меланхолично заключил профессор Т. — но одно могу вам гарантировать: пока жив хоть один представитель нашего поколения ученых, эти мерзавцы не продвинутся.

Наш разговор был о физике, но «убийцы» и в других науках живут рядом со своими жертвами, которых они не успели убить или затравить. Нечто похожее на «антиэйнштейновскую» кампанию произошло, например, в химии, где атакам подверглась «идеалистическая» резонансная теория реакций. Не было недостатка в статьях, которые, хотя и публиковались в научных журналах, представляли собою просто политические доносы. После появления таких статей обычно арестовывали «виновных», в лучшем случае выгоняли с работы.

Вполне естественно, что в такой обстановке, когда истинная суть науки отходила на задний план, а жизненное значение имели только политические спекуляции, на научной арене появились и имели успех совсем уж темные личности, шарлатаны и проходимцы. Так, после лысенковской «дискуссии» очень сильный пропагандистский шум произвела Ольга Лепешинская. Эта старая женщина объявила, что она открыла ни более ни менее, как тайну жизни, проследила «образование живого вещества из неживого». Ее великое открытие не подлежало сомнению и не могло оспариваться —

ведь его одобрил сам Сталин. Во славу Лепешинской исписаны тонны бумаги, на тему ее «открытия» защищены сотни «научных» диссертаций. Сама Лепешинская вскоре скончалась в чести и славе (она не успела, к сожалению, довершить свою очередную работу по поддержанию вечной молодости, но именно такова была ее последняя тема). А те, кто получил ученые звания кандидатов и докторов наук в результате защиты диссертаций «по Лепешинской», по-прежнему их носят. Эти люди занимают солидное положение в науке. Лишить их ученых званий невозможно: ведь тогда надо отнять профессорские и прочие титулы у всех тех, кто получил их по линии «мичуринской биологии», а таких людей (даже среди нынешних противников Лысенко) сегодня большинство. Действительно, ведь, если говорить о биологии, то в последние два десятка лет никакие диссертации кроме «мичуринских» не имели шансов на успех.

Вот тут мы и подходим к главной трагедии сегодняшней русской науки — к ее аморальности. Все поколение русских людей, переживших Сталина, более или менее аморально, но в науке эта мрачная нота звучит особенно ясно и громко.

Недавно, уже после краха Лысенко, один честный и смелый научный журналист написал очерк о некоторых его преступных деяниях. По «ошибке» очерк был опубликован в маленьком провинциальном журнале, и тут же с партийного неба грянул гром. Очерк специально обсуждался в ЦК, там говорились благородные слова о том, что не надо поминать старое, не надо сводить счеты и прочее. Но против автора очерка было выдвинуто еще одно, главное обвинение — в неискренности. Оказывается, он, автор, в 1948 году написал какую-то статью с пропаганди́ой идей Лысенко. «Что же получается? — гремели ораторы в ЦК. — В 1948 году вы хвалили Лысенко, а теперь его проклинаете? Где принципиальность?»

Это, конечно, неслыханный цинизм — ведь автор мог бы спросить того же Брежнева или Косыгина, почему до 1953 года они хвалили Сталина, а после 1953 года — Хрущева. Кроме того, свою борьбу против Лысенко этот журналист начал задолго до его падения, за что имел массу неприятностей от тех же лиц, что теперь нагло обвиняли его в «неискренности». Однако не это нас сейчас интересует. Беда в другом. Журналист этот, д е й с т в и т е л ь н о, написал в 1948 году статью о Лысенко, но он мог бы написать и серию статей и даже книгу. Элементарная честность могла, допустим, удержать его от личных нападок на представителей «морганизма-менделизма», но что касается похвал Лысенко — от этого удержаться было почти невозможно. Журналист есть журналист: ему заказывают статью на биологическую тему, а в те годы написать антилысенковскую статью было абсолютно бессмысленным самоубийством. Тебя упрячут в лагерь или расстреляют, а о том, что ты сделал, не узнает ни одна душа кроме редактора, позвонившего в КГБ, да сотрудников этого учреждения.

Я привел пример не с ученым, а с научным журналистом просто потому, что пример этот свежий и колоритный. Кроме того, я тоже научный журналист и хорошо понимаю беду моего коллеги. Сам я не прославлял Лысенко в своих статьях только потому, что до 1947 года не был популяризатором науки, а с 1947 по 1953 благополучно просидел в лагере. После смерти Сталина похвалы в адрес Лысенко стали уже не так обязательны. Но если бы в те годы я был на свободе, если бы занимался научной журналистикой, то, вероятно, и на моем счету появилось бы что-нибудь в том же роде.

Совершенно такая же роковая ситуация окружала профессиональных ученых. Водораздел между честными и бесчестными было очень непросто провести в те времена. Разумеется, были совсем уж одиозные фигуры,

так сказать, «ярко выраженные»: тот же Лысенко, Презент, Якушкин, Глущенко, Сотников, Столетов-младший в биологии, Блохинцев и Иваненко в физике, Митин, Константинов, Федосеев в философии, Самарин и Эльсберг в литературоведении и иже с ними. Были и отдельные героические фигуры — главным образом, ученые-гиганты, использовавшие свое высокое положение и относительную неуязвимость, чтобы не быть вовлеченными ни в какие подлости и иногда даже защитить жизнь ценных для науки людей. К таким относятся, например, академики Капица, Семенов, Энгельгардт. Были и «сумасшедшие» одиночки, клавшие голову на плаху во имя своей науки. Типичный пример такого благородного «сумасшествия» — чудом спасшийся профессор Иосиф Раппопорт.

Биохимик и генетик, профессор Раппопорт занимался изучением химических мутагенов — веществ, влияющих на аппарат наследственности. С точки зрения «мичуринских биологов» он был страшным еретиком, подлежал, как минимум, изгнанию с работы и исключению из партии. Но когда после «дискуссии» 1948 года партийная организация института, где он работал, стала разбирать его «ошибки», ход обсуждения был не так суров, как в отношении многих коллег Раппопорта. Причина была в том, что профессор всю войну провел на переднем крае фронта, проявил редкостный героизм, потерял глаз и заслужил все высшие военные награды, какие только возможны. Видимо, поэтому было решено дать ему возможность «раскаяться». Однако Раппопорт каяться не захотел. Тогда кто-то из присутствовавших на собрании, пораженный его «наивностью», сказал: «Товарищ Раппопорт, но ведь недавно сам товарищ Молотов в своем докладе указал на неправильность взглядов морганистов-менделистов». Раппопорт немедленно ответил: «Почему вы думаете, что товарищ Молотов разбирается в биологии лучше меня?»

Такого человека можно было уже смело считать покойником. Его тут же исключили из партии и испуганно разбежались. Арест был теперь, так сказать, делом техники.

Но Раппопорта не арестовали. Его взял под свое крыло академик Николай Семенов. Он зачислил Раппопорта в свой институт химической физики... лаборантом. Разумеется, в то время даже такой человек, как Семенов, не мог разрешить Раппопорту продолжать свои исследования химических мутагенов. «До поры до времени» профессор Раппопорт должен был переключиться на химическую физику, о которой до тех пор имел весьма смутные понятия.

Любопытно, что Раппопорт «переключился» со всей силой своих недюжинных способностей. Через несколько лет он стал специалистом в новой для него области и защитил диссертацию на звание кандидата наук. А потом, еще задолго до падения Лысенко, вернулся исподволь к своим мутагенам.

Еще любопытнее, что профессору Раппопорту сейчас хотят зажать рот, предотвратить его публичные разоблачения Лысенко. В самом начале, когда Лысенко только что пал, Раппопорту дали опубликовать статью о генетике в газете «Сельская жизнь». Но уже вскоре после этого я присутствовал на собрании секции научных журналистов Москвы, где обсуждались события в биологии. И специально проинструктированный председатель собрания, заместитель главного редактора журнала «Техника — молодежи» Виктор Пекелис, известный своей беспринципностью, попытался не выпустить профессора Раппопорта на трибуну. Это оказалось не таким простым делом: смелость Раппопорта вошла в поговорку, его героический ореол обеспечил поддержку всего зала за исключением горстки «правоверных». Он все-таки говорил, несмотря на протестующие выкрики

председательствующего. И сошел с трибуны под шквал аплодисментов.

Но это я говорил о крайностях. Лысенко да Блохинцев с одной стороны, Семенов, Капица или Раппопорт с другой, — а что между ними?

И тут надо сказать, что 95 процентов всех остальных ученых так или иначе «общались с дьяволом». Одни меньше, другие больше. Одни писали статьи против «космополитов в науке», другие только молчали на собраниях, когда этих «космополитов» лишали ученых степеней, вышибали из партии, выставляли за двери институтов. Даже среди тех, кто подвергался гонениям, можно найти множество людей, совершавших сделки с совестью. Подавляющее большинство из них, например, каялось, «признавало ошибки», предавая тем самым свои научные взгляды и теории, иногда попутно предавая и коллег, чтобы выжить, выплыть самим.

Нельзя судить этих людей. Им можно лишь глубоко сочувствовать. Особенно сегодня, когда весь этот ад у них перед глазами. Когда один вспоминает, как выступал против соседа по лаборатории, и воображает, что этот сосед сейчас думает; когда другой встречает за обеденным столом человека, еще недавно громившего его как идеалиста, а ныне заискивающе улыбающегося; когда любой «мальчишка», молодой аспирант или научный сотрудник, отпускает презрительные или покровительственные фразы по поводу старшего поколения ученых, и ему нельзя ничего ответить, ибо он не поймет и не примет этих объяснений; когда юноша, пришедший в науку, узнает, что его шеф, профессор, писал сомнительные статьи или просто доносы всего десять лет назад... Вообразите-ка себя на минуту в такой обстановке, и вы поймете, как работается сегодня советскому ученому.

Но тут немедленно всплывает вопрос: если все так черно в русской науке. то чем объяснить ее успехи,

пусть и не такие громадные, как твердит пропаганда, но все-таки успехи? Как случилось, например, что русские ученые первыми послали спутник в космос, первыми запустили человека на околоземную орбиту?

Попробую ответить.

IV

Все современные тепловые электростанции оборудованы так называемыми прямоточными котлами. Известно, что прямоточный котел — русское изобретение. О том, что его разработал в тридцатых годах нашего века инженер Леонид Рамзин, знает лишь узкий круг специалистов. Но почти никому не ведомо место рождения прямоточного котла. А место довольно интересное — специальная тюрьма № 4, Москва, шоссе Энтузиастов.

Именно в этом малоподходящем для творчества учреждении Леонид Васильевич Рамзин и его коллеги (такие же заключенные, как он сам) создали котел, означавший скачок вперед для всей мировой энергетики. Изобретение было исключительным, и Рамзину повезло: Сталин дал приказ выпустить его и наградить. Вскоре инженер, правда, умер — тюрьма, даже специальная, не удлиняет жизнь, — но все-таки он умер свободным и уважаемым, если можно о ком-нибудь в России говорить, что он свободен и уважаем.

А вот человек, носивший последние десять лет своей жизни громкий титул Главного конструктора космических кораблей, не был выпущен из спецтюрьмы за свои изобретения, хотя тоже создал немало ценного для страны в годы «изоляции» (так нежно именовали в те времена тюремное заключение). Да-да, я имею в виду уже упомянутого Сергея Павловича Королева. Выйти из спецтюрьмы помогла ему смерть Сталина.

В заключении работал долгое время видный авиаконструктор Андрей Туполев, под домашним арестом на даче творил академик Петр Капица. Правда, ни тот, ни другой не побывали в спецтюрьме. Совсем недавно, в 1965 году, академик Капица построил новый генератор токов сверхвысокой частоты и дал своему детищу название НИГОТРОН. Под этим именем генератор и фигурирует теперь в мировой научной литературе. И только немногие сотрудники академика знают, что в имени генератора заключена горькая ирония. Первая половина названия — НИ-ГО — суть начала двух слов «НИколина ГОра». А Николина Гора — это то место, где Петр Капица работал в своем «комфортабельном заключении» и где ему впервые пришла в голову идея будущего генератора, осуществленного много лет спустя.

Спецтюрьмы для ученых и крупных инженеров — одна из самых дьявольских идей Сталина. Мой друг, инженер, просидевший несколько лет, уже после войны, в спецтюрьме № 4 (той самой, где за десять лет до него работал Рамзин), рассказал мне несколько мрачных подробностей об этом заведении. Одиночные камеры узников спецтюрьмы хорошо отапливались, имели койки с матрацами и даже постельным бельем. Заключенных одевали в приличные костюмы синего шевиота и сорочки с галстуками. Каждое утро их выводили на совместную работу в лаборатории или конструкторские бюро, устроенные там же, при тюрьме. Во время работы можно было переговариваться исключительно на деловые темы — за этим следили охранники, одетые точно в такие же костюмы, как заключенные. Раз в два месяца давались свидания с родными, но не в здании спецтюрьмы, а в одной из «общих» тюрем Москвы — Таганской, куда узников специально возили в арестантских машинах. Строжайше запрещалось даже намекать родственникам, где ты отбываешь срок. Если кто-либо нарушал этот запрет, и наивные родственники приходили под

стены спецтюрьмы наводить справки, им отвечали, что здесь никаких заключенных нет, а потом добавляли «нарушителям» восемь лет срока за разглашение государственной тайны.

В таких-то вот условиях крупные специалисты, арестованные без всякой вины, обязаны были напрягать мозги, чтобы усилить могущество государства, их арестовавшего. И они напрягали! Свидетельством тому — и прямоточный котел Рамзина, и жидкостные ускорители для самолетов Королева, и бомбардировщик ТУ-2 Туполева и многие другие полезные вещи. Демонстрируя вершины цинизма, сталинские сатрапы даже возили Сергея Королева на аэродромы, чтобы дать ему возможность видеть работу его ускорителей и вносить улучшения в конструкцию. Об этом есть документальное свидетельство, по недосмотру цензуры опубликованное в СССР в 1965 году*).

Я думаю, что приведенные только что факты (составляющие малую каплю из океана таких же и еще худших) дают ответ на вопрос «почему наука в СССР все-таки развивается?» Ведь если даже за стенами тюрем ученые и инженеры создавали нечто новое и оригинальное, то вне этих стен они и подавно работают хорошо. Подлинный ученый н е м о ж е т бездействовать, откладывать осуществление своих идей на неопределенное время. Власть же — какая бы она ни была — предоставляет ему хорошо оборудованные лаборатории, дает средства на эксперименты. В утешение самим себе русские ученые любят сегодня говорить, что они, работая, «удовлетворяют свое любопытство за счет государства». И, хотя очень многие понимают слабость этой отговорки, почти никто из них не трудится даже вполсилы. Нет, они «выкладывают» все. Даже те люди, что бе-

---

*) М. Галлай. Испытано в небе. Записки летчика-испытателя. Москва, издательство «Молодая гвардия», 1965.

седовали со мною в секретном Китеже — люди, которых невозможно упрекнуть в сочувствии системе, — даже они, я уверен, работают «с полной отдачей». Возможно, они утешаются тем, что создают науку будущей свободной России, но практически диктаторы сегодняшней подневольной России используют их гений по своему усмотрению.

Вот что сказал мне однажды большой ученый, академик, часто выезжающий за границу:

— Всякий раз, когда я бываю на Западе, я слышу один и тот же вопрос. Как это вы, русские, достигли таких успехов в космосе? Как вы сумели на какой-то период обойти даже американцев? Я отделываюсь в ответ общими фразами, не могу же я им сказать, что в нашей стране можно бесконтрольно тратить на престиж и на пропаганду любые деньги, отнимая их у народа. Я не могу им объяснить, что одна наша космическая ракета стоит больше, чем весь Московский университет*), что после полета Гагарина цены на продукты питания подскочили на 30 - 40 процентов, а зарплата рабочих не выросла даже на копейку. Идеалисты они там на Западе, ничегошеньки не понимают!

В словах академика заключается дополнительный ответ на тот же вопрос. Если какая-то область науки «нужна», если диктаторы понимают, что без развития, скажем, ядерной физики они не сумеют держать мир под угрозой, то в эту область вкладываются фантастические средства. Ведь так называемый советский бюджет — те несколько цифр, что единогласно «утверждаются» каждый год Верховным Советом СССР, — лишь прикрытие для многочисленных секретных статей расходов. Миллиарды рублей на ракеты или ядерные бом-

---

*) Московский университет — богато и безвкусно украшенное 30-этажное здание, построенное при Сталине руками заключенных.

бы или новые подводные лодки отпускаются в Центральном Комитете партии одним росчерком пера, без всякого участия Верховного Совета. И на тех ученых, которые создают ракеты или бомбы, непрерывно льется золотой дождь.

Среди ученых-атомщиков ходит рассказ о том, как в свое время награждали главного конструктора ядерного оружия академика Ю. Б. Харитона после первого испытания атомной бомбы. Сталин вызвал его, поблагодарил, пожал руку и дал звание Героя Социалистического труда (официально присваиваемое только Верховным Советом). Харитон вернулся в «Проблему» — так именовали ученые свой безымянный секретный город, — но тут же был вызван в Москву опять. На сей раз его принял Берия, руководивший в те годы всеми атомными делами, и сообщил, что ученый награжден Сталинской премией (около $ 20 000). Третий вызов в Москву — академику подарили лимузин «ЗИС», большой автомобиль, выпускавшийся в малом количестве только для правительственных чиновников. Следующий вызов в столицу принес ему дачу в Подмосковье... В общей сложности Харитон ездил за наградами семь раз!

Подобных комедий, характерных для сталинских и хрущевских времен, сейчас не играют, но суть дела нимало не изменилась. В «нужные» отрасли науки по-прежнему идет мощный денежный поток. Это с точки зрения властителей России вполне логично: деньги на бомбы, ракеты и КГБ надо добывать любыми средствами. В дни, когда я пишу эти строки, в весенние дни 1967 года, советские представители продают с аукциона в Лондоне старинный русский фарфор. Бесценный царский сервиз из 1700 предметов был за сорок минут продан «по кусочкам». Выручили около $ 180 000 и обещали привезти еще. Разумеется, все документы, связанные с такими воровскими распродажами, помечаются в СССР грифом «совершенно секретно», и не только народ, но и

депутаты Верховного Совета не имеют понятия об этих преступлениях. Что до газет, то они в эти самые дни переполнены юбилейным треском о том, что советская держава в расцвете могущества и богатства идет к своей пятидесятой годовщине, выигрывая раунд за раундом у загнивающего капитализма. И в первых рядах коммунистического общества движется вперед цветущая советская наука.

Я в этой книге старательно воздерживаюсь от предсказаний, я даю лишь факты и те выводы из них, какие с уверенностью можно сделать сегодня. Но, что касается будущего, то уверен в одном: какой бы характер ни приняло освобождение России, роль ученых в этом будет очень большой, быть может главной. И история охотно простит им за это тяжкую вину сотрудничества с диктатурой.

Глава V

ТВОРЦЫ ПОДСПУДНЫХ ПЕРЕМЕН

Стихи как хлеб. — Кого я назову по имени. — Капитаны социалистического реализма. — «Людовики», собаки и бараны. — Разговор с художником. — За театральным занавесом и киноэкраном. — Почему запретили симфонию Шостаковича. — Россия поет.

И мы, художники, поэты,
творцы подспудных перемен...

Евгений Евтушенко

I

Евгений Евтушенко — ни самый талантливый, ни, тем более, самый искренний поэт сегодняшней России. Но он, вне всякого сомнения, самый популярный. И ему выпало счастье найти строку, всего три слова, объясняющую, почему поэзия владеет ныне русскими умами и почему так популярен он сам. Почти десять лет назад написал он маленькое стихотворение о церкви Кошуэты в Грузии, где назвал художников и поэтов России «творцами подспудных перемен». Лучше не скажешь.

Действительно, карандаш цензора, уверенно гуляющий по страницам статей, вычеркивающий «опасные» места из рассказов, повестей и романов, подчас беспомощно повисает над поэтической строчкой. «Из песни слова не выкинешь», — говорит старинная русская поговорка. И бедный цензор, чувствуя неладное, стоит перед альтернативой: либо запрещать стихотворение це-

ликом, либо так же целиком разрешать. По негласному сговору поэты в последние годы отказываются переделывать стихи по «замечаниям» цензуры, а сделать это за них цензоры, слава Богу, не могут.

Но запрещать стихотворение сегодня тоже плохо: цензорам отлично ведомо, что как раз запрещенные стихи становятся, по правилу яблока Евы, наиболее популярными. Значит, приходится разрешать — и тогда со страниц журналов и сборников, с многочисленных эстрад несется к людям слово правды. Оно зарифмовано, вправлено в стихотворный размер, но это нисколько не мешает слушателям и читателям. Скорее помогает.

А правда — она в России нарасхват, на нее страшный голод во всех без исключения слоях общества. Стихи с точными, ясными намеками, а в последнее время и политически острые песни, утоляют этот голод, хоть и далеко не полностью. Правда пробивает себе дорогу сквозь тяжелый мертвящий камень бюрократии — пробивает с помощью искусства и литературы. Но первым вгрызается в каменную толщу острие поэзии, в этом ее сила, в этом причина удивительной, неслыханной популярности. Поэты отлично знают, что

«покуда над стихами плачут,
то превозносят, то поносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят»,

иными словами, до тех пор, пока стихи ведут борьбу, а не только услаждают слух, эта популярность будет все расти. В России нет сегодня ни одного значительного поэта — н и о д н о г о ! — который стоял бы в стороне от борьбы.

И еще одна интересная, тоже, пожалуй, небывалая в истории деталь. Водораздел между поэтами проходит ныне отнюдь не по политическим убеждениям, а только по таланту: одаренные люди пишут правдивые стихи,

бездарные — искусственные поделки. Первые, естественно, популярны, но они же автоматически становятся борцами против режима. Вторые, хоть и издаются шире первых, не находят аудитории. Они — за режим, они воспевают, а это нынче никому не нужно.

Чтобы это стало понятным, приведу такой пример. Попробуйте организовать в Москве поэтический вечер с участием только поэтов-конформистов. Пригласите, скажем, широко печатающихся Владимира Фирсова, Владимира Кострова, Олега Дмитриева, Сергея Смирнова, Сергея Васильева, Ларису Васильеву, Сергея Острового, Евгения Долматовского (можно привести еще дюжину таких же списков). Будьте уверены — ничего не выйдет, все билеты останутся в кассе. Но прибавьте к любому такому списку одно-два «настоящих» имени — и народ повалит валом. Будут сидеть, терпеливо слушать натужные и фальшивые восхваления «романтики строек и будней», даже вежливо аплодировать, пока не дойдет дело до Андрея Вознесенского или Беллы Ахмадулиной или того же Евтушенко или Слуцкого, Мартынова, Окуджавы, Самойлова, Коржавина, Мориц, Кушнера. Вот тут аудитория взорвется, забушует, потребует у своих любимцев читать еще и еще.

Так и составляются нынче в России не только программы поэтических вечеров, но и поэтические отделы журналов. Редакторы этих журналов, даже отнюдь не прогрессивные, вынуждены включать в поэтическую рубрику имена настоящих поэтов, иначе журнал потеряет читателей. И вы не найдете на московских (ленинградских, киевских, минских, свердловских) стенах ни одной афиши без популярного имени. И этого поэта-приманку выпустят под самый конец, иначе публика разойдется. И он будет читать стихи, разоблачающие режим, хотя по форме они могут быть написаны о прошлом веке или даже о древней Греции. И публика все поймет и ответит бурей аплодисментов.

II

Очень трудно писать эту главу. Страшно трудно. Так хочется назвать сотни замечательных людей, героев сегодняшней литературы и искусства, ведущих — каждый один на один — схватку с грозным аппаратом диктатуры. Но их нельзя называть, потому что существует в Москве, на улице Дзержинского 4, отдел литературы и искусства Комитета государственной безопасности во главе с генералом Светличным. И у меня нет ни малейшего намерения помогать вышеназванному генералу в его милой работе.

Но все же нужно дать представление о том, как причудливо и интересно растет айсберг современной русской литературы — именно айсберг, ибо главная часть пока под водой. Нужно показать, что происходит у художников, скульпторов, музыкантов, актеров. Это очень важно для них самих и для всей России. Поэтому я вынужден здесь скрывать и путать имена, давать анонимные отрывки и пересказы. Подлинными именами я назову только тех, кто воспевает и славит нынешний режим, кто душит свободное слово, клевещет, доносит — в общем, «активно борется с буржуазной идеологией» и потому высоко ценится хозяевами. Я не хотел сперва давать и этих подлинных имен, опасаясь еще более укрепить их «положение в обществе». Но потом решил — пусть! Пусть люди их запомнят. Если потом названные мною личности попытаются «перекраситься», заговорят другим языком или приедут на Запад в качестве представителей советской культуры — к ним, надеюсь, отнесутся так, как принято относиться к полицейским доносчикам или беспринципным карьеристам. Не чувство мести — мне лично не за что им мстить, — но желание предостеречь, ведет сейчас мое перо. Здесь не будет никаких домыслов, догадок, предположений — только известные мне факты.

III

Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов официально считается патриархом советской прозы. Он — вне критики. Вы не найдете ни одной статьи за последние тридцать лет, где отмечался бы хоть малейший недостаток в его литературном творчестве. Тираж произведений Шолохова — романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» и сборника рассказов — вероятно, самый большой тираж прозы в мире. Счет идет на десятки миллионов.

Среди сотни наиболее маститых писателей-конформистов сегодняшней России Шолохов ярко выделяется несколькими особенностями. Во-первых, роман «Тихий Дон» или, по крайней мере, первая книга этой четырехтомной эпопеи, обличает крупный талант автора. Десятки лет в России ходят смутные толки о том, что Шолохов не сам это написал, что он якобы нашел какую-то рукопись убитого казачьего офицера и т. д. Я не очень в это верю — о Шекспире тоже ходят легенды такого типа. Но вот не легенда, а факт: все, что когда-либо было напечатано за подписью Шолохова, прошло сперва через руки редактора Лукина. Этот Лукин и еще один человек, так называемый литературный секретарь Шахмагонов, — две тени, сопровождающие все творчество Шолохова. В последнее время они иногда выступают не только его редакторами и представителями, но и пишут о нем хвалебные статьи и сочиняют сценарии по его произведениям. Злые языки говорят, что без них (главным образом, без Лукина) не было бы никакого великого прозаика Шолохова, а был бы просто казак станицы Вешенской, далеко не лучший представитель казачества — горький пьяница, скандалист, хам, завистник и антисемит. Нет, простите, это не все — еще подхалим. Ибо как раз эта черта — вторая особенность Михаила Шолохова.

Очень странно: писатель с таким прочным положением как он, всемирно известный и, казалось бы, практически независимый, отличается примитивным и назойливым подхалимажем ко всем властителям России, начиная со Сталина. Вот краткая сводка речей Шолохова на съездах партии (он регулярно избирается кандидатом на каждый из них). Я позволю себе излагать только суть, но не фразеологию.

XVIII съезд, 1939 год, сразу после кровавого кошмара сталинских чисток 1937 - 38 годов: «Дорогой Иосиф Виссарионович (Сталин. — Л. В.)! Мы все знаем Вашу скромность и нелюбовь к восхвалениям. Но сегодня Вам придется выслушать, что от всего сердца скажет писатель. Советские люди полны благодарности Вам за то, что Вы очистили нашу землю от нечисти, вырвали с корнем змеиные гнезда врагов народа. В том числе освободили нас от выродков, именовавших себя писателями, а на деле ставших предателями и изменниками, от этих двуногих, которым не было места на земле».

XXII съезд, 1961 год, когда разоблачались злодеяния Сталина: «Что и говорить, тяжелы были наши потери. В числе людей, ставших жертвами культа личности, оказалось и немало честных, талантливых писателей».

XXIII съезд, 1966 год, после суда над писателями Синявским и Даниэлем: «Я не буду говорить об этих подонках, я скажу о тех, кто дошел до того, что пытается их защищать. Кем надо быть, чтобы брать сегодня под защиту этих клеветников, двурушников! Суровый приговор, говорите вы? Эх, не попались эти молодчики с черной совестью в двадцатых годах, когда судили не столько по статьям законов, сколько по революционному правосознанию. Им бы тогда показали, как клеветать. Я думаю, разговор с ними был бы короткий».

И третья особенность Михаила Шолохова (впрочем, присущая большинству подхалимов): грубость, издевка, хамство по отношению к собратьям по перу. На писательских съездах великий прозаик обычно выходит на трибуну несколько выпивши и, не выбирая из своего казачьего лексикона изысканных выражений, «критикует» неугодных ему литераторов. После одного такого скандального выступления лопнуло терпение даже у столь терпеливого человека как Константин Симонов. Выйдя после Шолохова на трибуну, он сказал: «Можно всю жизнь стремиться подняться до уровня Шолохова-писателя и не опуститься до уровня Шолохова-критика». Но никто не посмел поддержать этот робкий протест, и великий Шолохов, протрезвев, отправился в свое донское поместье под хор обычных похвал.

Естественно, такая личность не может создавать сколько-нибудь значительных литературных произведений. И Шолохов после первого сильного аккорда «Тихого Дона» ничего примечательного не создал. Его роман «Поднятая целина», воспевающий коллективизацию в деревне, лжив от первого до последнего слова. В этом романе рабочий-коммунист Давыдов, посланный из Ленинграда загонять казаков в колхоз, сделан ангелом без крыльев, а сопротивление коллективизации оказывают кошмарные бандиты, которыми подпольно руководит специально приехавший откуда-то белогвардейский есаул Половцев. Четыре года назад один пожилой писатель опубликовал свою повесть о коллективизации — эта повесть была ясно понята читателями как разоблачение шолоховской «Поднятой целины». Но эту повесть ни разу не издали отдельно, она появилась только в литературном журнале, а «Поднятую целину» («переработанную», без славословия по адресу Сталина) издают по сей день непрерывно.

Роман Шолохова о второй мировой войне — «Они сражались за Родину», — несмотря на все усилия Луки-

на и Шахмагонова, оказался до того серым и бездарным, что даже угодливые критики-льстецы не решаются превозносить этот шедевр социалистического реализма. Высшей государственной премии по литературе (раньше эти премии назывались Сталинскими) удостоен рассказ Шолохова «Судьба человека». Это самая невыносимая разновидность лжи — подделка под правду. Рассказ сентиментален, но отнюдь не безобиден: он проповедует ту мораль (открыто высказанную в конце от автора), что русский человек способен выносить любые тяготы и несправедливости из любви к родине. Разумеется, власти готовы расцеловать Шолохова за такую проповедь: им только и надо, чтобы русские люди терпели несправедливости, лишения и притеснения из абстрактной «любви к родине» (раньше говорили «к богу, царю и отечеству») — терпели и молчали.

Русские читатели этой книги могут пожать плечами — зачем столько говорить об этом Шолохове, личность-то достаточно понятная. Но нет, говорить надо, ибо все отмеченные качества Михаила Шолохова и его литературы были отлично известны в России и в 1965 году, когда вдруг пришла весть, что Шведская академия присудила писателю Нобелевскую премию. По-видимому, люди, давшие в свое время премию Борису Пастернаку, не очень все-таки понимали, что делают, когда присуждали награду его антиподу Шолохову. И их не удивило, что новый лауреат с почетом прибыл в Стокгольм под дружное «ура» советской официальной пропаганды, тогда как за семь лет до того лауреат Пастернак был оплеван и оклеветан в своей стране и в конце концов был вынужден не взять премии. Возможно, господа в Стокгольме решили, что такой поворот означает либерализацию в России, потепление политического климата. На самом деле они просто не знали, с кем дело имеют, и присудили почетную премию не литератору, но злому врагу любой настоящей литературы.

Может быть, их и других западных почитателей таланта Михаила Шолохова несколько отрезвила его разбойничья речь на XXIII съезде партии или суровое письмо писательницы Лидии Чуковской, посланное Шолохову сразу после этой речи и опубликованное только на Западе, но не в СССР. Не знаю. Но я решил здесь посвятить «корифею советской литературы» несколько страниц, чтобы кто-нибудь опять ненароком не присудил ему какой-нибудь премии и тем не оскорбил русскую литературу, как это сделала в 1965 году уважаемая Шведская академия.

А следующую страницу я со вздохом посвящаю еще одному бесславному имени, ибо с некоторых пор имя это стало мрачным символом в советской литературе. Познакомьтесь — секретарь Союза писателей РСФСР (российской республики в составе СССР) Леонид Соболев. Он тоже начал с довольно талантливой книги «Капитальный ремонт», причем писал ее без всяких литературных секретарей или собственных редакторов. Но на этом, больше тридцати лет назад, дело и кончилось. Последующие книги Соболева — «Морская душа», «Зеленый луч» и другие — вымучены и бездарны. Его стали было забывать в стране, как вдруг Хрущев по чьей-то рекомендации сделал Соболева главой вновь организованного русского Союза писателей. Что же случилось?

Оказывается, случилась вещь довольно примечательная. После 1956 года многие писатели попытались говорить правду. Вышел роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». С отличными военными повестями выступил Георгий Бакланов. Появились новые произведения долго молчавшего прекрасного писателя Виктора Некрасова — «Вторая ночь», «Кира Георгиевна», «По обе стороны океана». Александр Яшин написал «Рычаги» и «Вологодскую свадьбу». На весь мир прогремело имя Александра Солженицына, а Борис Пастернак издал за рубежом «Доктора Живаго». В атаку на

режим бросилась большая группа поэтов всех поколений. А руководители Союза писателей СССР Константин Федин и Константин Симонов ограничивались довольно мягкой критикой «бунтарей» и не умели либо не хотели искоренять крамолу.

Вот тут-то кучка верноподданных бездарностей — Николай Грибачев, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Сергей Баруздин, Михаил Алексеев и еще несколько таких же, — обеспокоенная, как бы им в один прекрасный день не оказаться за пределами литературы, не лишиться доходов, почестей и командных постов, кинулась к Хрущеву и встретила, как говорится, полное понимание. Было решено организовать Союз писателей РСФСР — под тем предлогом, что есть же такие союзы в других республиках, на Украине, скажем, или в Казахстане. Почему же Российской республике не иметь своего союза?

Понятное дело, всем, включая Хрущева, была ясна ненужность еще одной бюрократической писательской организации в той же Москве. Ведь не существует ни Союза журналистов РСФСР, ни Союза художников этой республики, ни Союза киноработников — нелепо «руководить» из Москвы отдельно русскими и отдельно всеми вместе писателями. Однако новый союз был создан в короткий срок, получил прекрасное здание на берегу Москвы-реки и немало денег «на обзаведение». Ему были официально переданы некоторые литературные журналы — «Октябрь», «Москва», «Нева», «Звезда», «Дон», «Сибирские огни» и другие. Секрет в том, что новорожденный союз, по мысли его организаторов, должен был стать цитаделью писателей-конформистов, твердо стоящих на позициях социалистического реализма и борющихся против всякого живого и правдивого слова. Буквально на второй день после того, как было объявлено о создании Союза писателей РСФСР, по Москве пошла гулять шутка, что антимир, до того сущест-

вовавший лишь в гипотезах физиков, объявился реально в виде союза антиписателей.

Итак, организовать «антисоюз» оказалось довольно легко — труднее было подобрать нужного руководителя. Сами инициаторы, названные мною двумя абзацами выше, прекрасно понимали: их имена настолько одиозны и ненавистны всем порядочным людям, что любое из них, появись оно во главе союза, сразу скомпрометирует всю идею, и ни один популярный писатель к такому союзу не примкнет. А им дозарезу нужна была пара-другая хороших, любимых читателями имен — это они тоже чувствовали. Тогда и решили найти «нейтрального», вроде бы порядочного человека, чтобы под прикрытием его имени выступать против всего талантливого и честного, протаскивать в журналы и издательства свою убогую «антилитературу». Таким человеком как раз и оказался Леонид Соболев. Создатели союза — Грибачев, Софронов, Кочетов и компания — убедили Хрущева сделать беспримерную вещь — назначить главой писательского союза беспартийного человека. Они внушили «хозяину», что это даже лучше, пусть и не вступает в партию, по видимости это нейтрально, а на самом деле, не беспокойтесь, он н а ш ! Недалекий Хрущев скоро проговорился об этом: на печально известном приеме писателей и художников в 1963 году, чуть подвыпив, он сказал, что «беспартийный Соболев ему ближе, чем коммунистка Алигер (поэтесса, в то время критиковавшаяся за какие-то грехи в ее поэмах. — Л. В.)».

Беспартийный Соболев и впрямь оказался «ближе» к властям. До того не делавший особых гадостей, он, видимо, был польщен вниманием и постарался «оправдать доверие». Этот громоздкий старик с зычным боцманским голосом (когда-то служил во флоте) стал сегодня не только посмешищем, но и угрозой для многих писателей. Порою он вдруг оказывается, как говорят, «святее папы Римского», и тогда происходит то, что случи-

лось недавно, в 1965 году, на очередном съезде соболевского союза антиписателей.

На второй или третий день работы съезда Соболев пригласил в ресторан, на «интимный» ужин, всех секретарей областных, то есть, провинциальных отделений Союза писателей (теперь все губернаторы русских литературных провинций официально подчиняются Соболеву). Не были приглашены только москвичи. Выпивка и закуска были превосходны — не знаю, платил ли за них союз или сам Соболев. После того, как присутствующие отдали дань тому и другому, хлебосольный хозяин встал и произнес речь. Он сказал, что «перед нами» стоят четыре неотложные задачи. Первая — убрать Федина (секретаря Правления Союза писателей СССР), потому что «этот мягкотелый интеллигент не способен противостоять клеветникам и модернистам»; вторая — убрать Твардовского (редактора прогрессивного литературного журнала «Новый мир»), так как его имя «стало знаменем всех ревизионистов в советской литературе»; третья — убрать Кочетова (главного редактора крайне реакционного, конформистского журнала «Октябрь», одного из организаторов союза писателей РСФСР), «ибо своими неприличными выходками и плохим стилем он компрометирует наш союз»; четвертая — «тут вы меня поймите правильно, товарищи, я не антисемит, у меня масса друзей евреев, я за то, чтобы евреи трудились во всех областях нашей жизни наряду с другими нациями, но в литературе, в великой р у с с к о й литературе, им делать нечего». Он не договорил, не сформулировал до конца этой четвертой задачи, но, по-видимому, она должна была звучать так: убрать евреев из русской литературы. Это означало «убрать» Каверина, Эренбурга, Слуцкого, Рыбакова, Крона, Коржавина, Мориц, Самойлова и многих-многих других, кого союз «антиписателей» безуспешно атаковал со дня своего рождения. Ясно, такая перспектива казалась сладостной бывшему писателю Соболеву.

Признаюсь, в первый момент, услышав о «тосте» Соболева от одного из присутствовавших (попал-таки «не тот» человек в число приглашенных!), я только усмехнулся. Но, как недавно выяснилось, ситуация не очень комическая: Соболев шаг за шагом проводит в жизнь свои фашистские идеи. В 1967 году в «Правде» появилась статья без подписи — иными словами, исходящая прямо от ЦК партии, — где нападкам подверглись и журнал «Новый мир» (то есть Твардовский) за «смакование теневых сторон жизни нашего общества», и журнал «Октябрь» (то есть Кочетов) за «публикацию серых, неинтересных произведений и заушательскую критику отдельных писателей». Кое-кто истолковал эту статью, как стремление партийного руководства к умеренной линии в литературе и даже как молчаливое признание ошибочности разгромной партийной литературной критики. Но я тут же вспомнил ресторанную болтовню Соболева и понял, что это их, антиписателей работа. Новое партийное руководство и в этом отношении мало отличается от прежнего: в страхе перед правдой оно поддерживает любую нечисть типа Соболева, его соратников и подручных.

Это, увы, подтвердилось и последующими событиями: весной 1967 года, после упомянутой статьи, Твардовский выдержал новые злобные нападки. Из редакционной коллегии «Нового мира» удалили двух его ближайших помощников и «пополнили» состав людьми, угодными хозяевам. Ничего оригинального: совершенно то же самое сделал в свое время Хрущев после того, как редактор «Литературной газеты» Валерий Косолапов осмелился опубликовать известное стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Тогда в редколлегию газеты был «введен» новый заместитель главного редактора, мракобес и реакционер Юрий Барабаш, после чего Косолапова вскоре сняли.

Я дал сейчас два беглых портрета «ведущих совет-

ских писателей» Шолохова и Соболева просто потому, что они более известны, чем сотни им подобных больших и малых «чиновников от литературы». Но все эти чиновники, обладающие властью и влиянием, изо всех сил давят и притесняют каждого мало-мальски честного и талантливого человека. «Восхищаюсь зоркостью нашей критики, — написал два года назад в «Новом мире» Владимир Лакшин. — Она немедленно замечает все яркое и прогрессивное в нашей литературе на предмет предания его поруганию и позору». Но не только критики — так называемые «прозаики» и «поэты» типа тех же Грибачева, Софронова, Кочетова или Фирсова, Василия Смирнова, Сергея В. Смирнова, Чаковского, Рюрикова, Алексеева, Тевекеляна, Михалкова, Полторацкого, Немцова, Баруздина, Сартакова, имя им легион — отдают львиную долю своего времени и сил на так называемую «борьбу за партийность нащей литературы». Казалось бы — писатели же вы, ну и пишите, доказывайте право на существование социалистического реализма вашими произведениями! Но в том-то и секрет, что этот самый социалистический реализм абсолютно бесплоден, и произведения названных мною людей (и подобных им не названных) предельно пошлы и убоги. Магазины завалены этими книгами — их приказывают издавать! — а 700-тысячный тираж повести Солженицына был распродан в стране за два часа, и с тех пор ни одна строка этого великого современного классика не увидела света в отдельном издании.

Как же бороться за существование этим беднягам, как сохранить доходные писательские «должности», дачи, машины и прочие блага? Очевидно, только одним путем: устранением более талантливых и популярных конкурентов. Именно этим, а вовсе не приверженностью к партийным доктринам, объясняется яростная борьба бесталанных ортодоксов против настоящих литераторов.

Есть, конечно, и другие причины. Например, многие так называемые писатели в сталинские годы работали агентами секретной полиции, доносили и клеветали на собратьев по перу. Эти люди смертельно боятся каждого свежего ветерка в политике и литературе, ибо их прошлые дела известны, и может пробить час расплаты. После 1956 года два из них — «профессор-литературовед» Роман Самарин и «критик» Яков Эльсберг были открыто разоблачены на собрании писателей как виновники арестов и расстрелов многих литераторов. Их даже исключили из Союза писателей — неслыханная смелость! Но скандал быстро замяли, в прессе не появилось ни слова, а вскоре распоряжением сверху оба негодяя были восстановлены.

В дни, когда дело Самарина и Эльсберга было предметом разговоров, на многих других «маститых» литераторов было жалко смотреть. Бледная как смерть ходила по редакционным комнатам журнала «Москва» известная очеркистка Вера Шапошникова. Ей было отчего волноваться — ведь это она в 1952 году написала политический донос на писателя Рудольфа Бершадского, в то время работавшего вместе с ней в редакции «Литературной газеты» и сидевшего в той же комнате. Бершадского арестовали, но год спустя, на беду Шапошниковой, умер Сталин, и писателя сразу реабилитировали — обвинение было предельно абсурдным. Рудольф Бершадский живет и работает в Москве — что будет, если ему дадут говорить открыто?

Много пережил в дни Самарина и Эльсберга еще один «корифей социалистического реализма» Орест Мальцев. Ему, платному агенту КГБ, было поручено в 1948 году оплевать и оклеветать Иосипа Броз-Тито. Деньги были отпущены так щедро, что этот дотоле никому неведомый «писатель» нанял «литературного секретаря» и диктовал ему лишь главные идеи своего романа «Югославская трагедия». А уж этот «секретарь»,

молодой и довольно способный литератор, мой добрый знакомый, придал клевете литературную форму — кстати, довольно приемлемую с чисто профессиональной точки зрения. Разоблачение Сталина в 1956 году не отразилось на самочувствии Ореста Мальцева — он и до сих пор не прожил полученных тогда миллионов. Изъятие «Югославской трагедии» из библиотек произошло без лишнего шума, сам Тито не унизился до того, чтобы требовать наказания Мальцева — но вот разоблачения бывших информаторов КГБ встревожили автора «Югославской трагедии». Вдруг бы кто-нибудь поставил вопрос об изгнании из Союза писателей полицейского агента?

Неважно чувствовал себя в те дни и старый писатель Викулин. Ведь он оклеветал и убил руками сталинских палачей не кого-нибудь, а крупнейшего писателя XX века Исаака Бабеля. До тех пор, пока за его спиной лишь декламировали эпиграмму «Каин, где Авель? Викулин, где Бабель?», он не очень волновался. Но когда взялись разоблачать таких как он — тут начались сердечные припадки (когда писалась эта книга, пришло сообщение о смерти старика, и я решил не давать здесь его настоящего имени — что проку разоблачать мертвых; но русский читатель и так прекрасно поймет, кого я имел в виду).

Естественно, что эти люди, по уши вымазанные в грязи, могут спокойно жить до тех пор, пока та же грязь разлита кругом. Любой проблеск чистоты — прямая для них опасность. И они не для вида, а всерьез, отдавая все силы и способности, борются за сохранение старых порядков, за «твердое» партийное руководство литературой и искусством, за этот самый социалистический реализм, которому никто до сих пор так и не дал научного определения. Впрочем, одно определение недавно дали, но оно не того сорта, который годится для пропаганды. «Социалистический реализм, — гла-

сит это точное определение, — есть прославление вождей средствами, доступными их пониманию».

Вожди же, несколько растерявшиеся после разоблачений «культа личности», быстро оправились и оправдали надежды самариных, эльсбергов, шапошниковых, мальцевых и викулиных. Они затравили Пастернака, принудили к молчанию Дудинцева и Солженицына, солали на каторжные работы Синявского и Даниэля, Галанскова и Гинзбурга, теперь подкапываются под Твардовского. Ура, все в порядке!

Нет. Не все в порядке. Странно и неправдоподобно это звучит, но именно сегодня, в обстановке травли и гонений, арестов и ссылок, тайных судилищ и отправок в сумасшедшие дома — именно сегодня поднимается в России большая литература. Я говорю не только о «Докторе Живаго» или повестях Александра Солженицына или стихах Андрея Вознесенского — я имею в виду романы, рассказы и стихи, которые либо еще не изданы типографским способом, либо изданы только на Западе. Они написаны, существуют и уже неплохо известны русскому читателю. Никто не сомневается, что рано или поздно они сметут с книжных полок в Лету все творения «социалистических реалистов».

Обратимся же к ним.

IV

Самолет поднялся с московского аэродрома и лег курсом на уральский город Тюмень. За окнами ночь. Пассажиры угнездились поудобнее в креслах и немедленно заснули. Лишь автору что-то не спалось. Он смотрел на причудливые позы спящих, на их отвисшие челюсти, влажные от пота виски, на неплотно прикрытые глаза с закатившимися зрачками и думал о странном веке, в котором так быстро совершенствуется

техника и так медленно — люди. Люди те же самые, ничуть не лучше средневековых, а вот поди ж ты — спят на высоте десяти тысяч метров со скоростью восемьсот километров в час, словно в дилижансе или на вагонной скамье почтового поезда.

Вдруг властный голос: «Стоп! Остановить самолет!» Что такое? Как попала в самолет эта странная группа людей, что стоит там, впереди, у пилотской кабины?

Но размышлять некогда, приказ уже выполнен, реактивный лайнер остановился в воздухе, опершись крыльями на два облака, внезапно ставших твердыми как скалы. И один из вновь прибывших, явно начальник, громко объявляет:

— Внимание! Всем пассажирам оставаться на местах. Будет проверка снов. Граждане, зарегистрировавшие свои сны в Аэрофлоте, должны предъявить квитанции. Те, кто не зарегистрировал, обязаны рассказать содержание сна. Понятно? Начинаем!

Странно все-таки выглядит этот начальник. Да и его подручные тоже. Длинные камзолы, белые чулки, башмаки с пряжками — какие-то Людовики да и только. Но особенно удивительны их лица — они совершенно фиолетовые.

Вот «Людовики» подходят к первому ряду кресел, где сидит этакий благополучный упитанный гражданин с розовой лысиной. Ну, у таких на каждый случай жизни есть бумажка. И точно — гражданин достает квитанцию, розовую как его лысина, предъявляет начальнику — все в порядке. Проверяющие движутся дальше.

Беспокойство, чувство безвыходности и тоски все сильнее охватывает автора. Что же будет? Ведь он, автор, не только квитанции не имеет, но и не спал, значит сна не видел. Как это докажешь грозному начальнику?

Но пока что там, в первых рядах, происходит что-то необычное. Молодой парень отказывается излагать свой сон! «Нет у меня квитанции, — говорит он начальнику, — и сон свой я вам рассказывать не собираюсь. Это мой сон, мой личный — понимаете?»

— Я тебе покажу личный! — рычит начальник. — Ишь ты, личность какая, скажи пожалуйста. Взять его!

И вот бедного парня уже хватают и запихивают в мешок. Два «Людовика», пыхтя, тащат мешок вдоль салона, к выходной двери. Распахивают дверь, бегут по крылу и выбрасывают трепыхающийся мешок на ближайшее облако. Потом возвращаются, и начальник подступает к следующему пассажиру.

Тот заикается от ужаса. «Я... я... Товарищ начальник, у меня нет квитанции, но я с удовольствием расскажу вам все, что видел. Все, все, все!» Он торопливо рассказывает — начальник хмурится. «Что? Что, товарищ начальник? — беспокойно спрашивает пассажир. — Я разве что-нибудь не то во сне видел?»

— Конечно, не то! — строго говорит «Людовик». — Вернее, не совсем то.

— Я признаю свои ошибки! — с отчаянием кричит пассажир. — Я раскаиваюсь. Я не учел и недооценил. Клянусь, что если вы меня сейчас простите, не накажете, то я никогда в жизни не буду больше видеть таких снов как этот. Никогда!!»

Начальник несколько смягчается. Он говорит:

— На первый случай наказывать вас не будем. Мы ведь вообще гуманные. Мы боремся за человека, за счастье человека. Мы за то, чтобы наш человек видел хорошие, розовые сны. Мы за реализм снов!

Главный «Людовик» еще долго говорит в таком духе. Целый час говорит. И ему с облегчением и с удовольствием аплодируют.

Но как только проверяющие двинулись дальше, опять произошла досадная неприятность. Еще один

странный пассажир взбунтовался. «Я, — кричит, — все равно не буду вам сон рассказывать. Кто вы такие, чтобы мои сны проверять? Вы же люди из прошлого — посмотрите на себя: костюмы старинные и рожи фиолетовые как у покойников. Кончились ваши времена, не обязаны мы теперь вам исповедываться!»

«Вот ведь дурак какой! — рассказывает дальше автор. — Вот, в самом деле, дурак. Мы, пассажиры, не дожидаясь действий начальства, сами скрутили этого дурака, затолкали в мешок и выбросили на облако, к тому, первому. Пусть там вместе валяются, отщепенцы».

После этого начальник пришел совсем в хорошее расположение духа. Кто-то из пассажиров угостил его пивом, он присел на подлокотник кресла и стал непринужденно и по-товарищески беседовать. Проверять сны ему, видимо, больше не хотелось. Все были довольны и польщены доверием.

Внезапно начальник пригляделся к автору и сказал:

— Слушай, парень, а ты мне нравишься. Хочешь пойти к нам работать? Будешь нашим мальчиком.

— Но... Позвольте, как же так. Я ведь уже работаю в Тюмени. И у меня там жена...

— Э, брось ты, парень, — жена, Тюмень... Забудь! Ты знаешь, кто мы такие? Нам все позволено. Хотим ездим, хотим — летаем. Хотим — проверяем сны, например. А живем, думаешь, плохо? Денег сколько хошь, девочки самые лучшие — нам ни одна не отказывает! А отдыхаем тоже неплохо — на лучших курортах!

Он понизил голос:

— И отдыхаем не только у нас, но и за рубежом. Нам весь мир открыт — Ницца, Неаполь, Копакабана... А фиолетовый цвет — так его на курортах просто принимают за загар!

— Нет! — сдавленно крикнул автор. — Делайте со мной, что хотите — нет! С вами — ни за что!

И проснулся. Самолет шел на посадку.

Это был рассказ молодого писателя «Москва — Тюмень», нигде в СССР, конечно, не напечатанный, но очень популярный, хотя автор — мне это точно известно — ничего не делает для распространения копий рассказа и никому, кроме редакции одного литературного журнала, никогда не показывал рукопись. Неведомые люди сумели скопировать вещь, и теперь она живет своей жизнью, независимой не только от тайной полиции, но и от воли самого автора.

Вот содержание другого рассказа — другого писателя.

После 1953 года, когда прошла амнистия и реабилитация заключенных, стали ликвидироваться некоторые сталинские «исправительно-трудовые лагеря». И вот один такой лагерь, расположенный в глухом лесу, в двадцати с лишним километрах от ближайшего небольшого городка, получил приказ о расформировании. Оставшихся заключенных угнали по этапу в другие лагеря, надзирателей и охранников частично перевели в разные места, частично уволили «по сокращению штатов». Получил новое назначение и проводник служебных собак лагеря — тех овчарок, что охраняли колонны арестантов в пути с работ и на работы. Забыли только распорядиться судьбой самих собак — о них не пришло никакого приказа. Уезжавший бывший начальник лагеря отмахнулся от собаковода. «Что ты ко мне пристал со своими волкодавами? Я больше не начальник, ни за тебя, ни за них не отвечаю». Проводник пожал плечами и уехал.

Вот так и случилось, что дюжина собак — сильных, злых, молчаливых, тренированных на людей — осталась единственными обитателями пустой лагерной зоны. Последнее, что сделал для них проводник, — от-

крыл дверку собачника и выпустил псов бегать, где хотят.

Собаки проникли на холодную кухню брошенного лагеря, доели там все кости, разрыли помойку и тоже съели все, что можно было съесть. Потом, повинуясь голоду, подрыли забор и побежали в лес. Там они подняли волка, долго его гнали, наконец загрызли и сожрали без остатка. Насытившись, улеглись спать.

Утро подняло их на ноги, и псы вновь помчались по лесу искать пищи. Так, с разгону, они вбежали на улицы городка.

А было как раз первомайское утро, и в городке этом, как во всех городах Советского Союза, шла праздничная демонстрация. Построившись в колонну, держа над головами портреты вождей и заранее предписанные в газетах лозунги, люди шли вдоль главной улицы, мимо трибуны, на которой стояло, принимая парад, все местное городское начальство. Все, только в меньшем масштабе, происходило так, как в Москве на Красной площади.

Собаки были отлично тренированы и еще не успели забыть своих обязанностей. Увидев колонну, они немедленно заняли привычные места — вдоль колонны, по обе ее стороны через равные промежутки. Горожане были рады эскорту, хотя и не понимали, откуда вдруг в этом городе, где и кошку-то держать не всякий мог, появились такие дорогие и красивые овчарки.

— Ишь! — говорили в толпе. — Собачки-то вместе с нами празднуют. Как люди, ей-Богу: все понимают. Славные какие. Эй, Шарик, фью-фью, поди сюда!

Но псы не реагировали — знали, что на свист заключенных нельзя откликаться и пищи у них принимать тоже нельзя.

Тут у одного из участников демонстрации развязался шнурок ботинка, и он вышел на минутку из своего ряда — шагнул в сторону, наклонился, стал за-

вязывать. В то же мгновение собаки молча, без лая, кинулись на него, сбили наземь и вцепились в глотку...

Еще один рассказ, еще один «неизвестный» автор.

Я проснулся и увидел летнее утреннее небо. И летнее утреннее солнце и летнюю утреннюю траву под окнами. Я сделал себе завтрак — такой же, как это утро: яичный желток вместо солнца, зеленый лук вместо травы и черный хлеб вместо земли.

До научно-исследовательского института, где я работал, было двадцать семь минут пути, и за эти минуты не случилось ничего, достойного внимания. Но в дверях меня остановил вахтер и сурово потребовал: «Пропуск, гражданин!»

Этот вахтер знал меня как облупленного и никогда не спрашивал мой пропуск. Но сегодня он взял документ у меня из рук и долго переводил глаза с меня на фотографию, с фотографии на меня и снова на фотографию. Наконец, он неохотно вернул пропуск и сказал: «Следуйте, гражданин!»

И я проследовал. Я вспомнил, что сегодня приступил к исполнению обязанностей новый директор нашего института. И я как раз должен был идти ему представляться. Необыкновенная бдительность вахтера у дверей стала мне понятна.

За окнами директорской приемной была та же летняя утренняя трава, и то же солнце, и я поймал себя на мысли, что хорошо бы сейчас выпрыгнуть в окошко и раскинуться под солнцем на этой траве. И ощутить прикосновение чьих-то длинных и тонких пальцев. Ибо те пальцы, прикосновение которых я время от времени ощущал, были чуть короче и чуть толще, чем мне хотелось бы.

Но меня позвали в кабинет. Едва я вошел, как сразу понял, что здесь все коренным образом переменилось. Стол с директором раньше стоял слева — теперь он был

справа. Сейф с важными бумагами раньше был справа — теперь слева.

Директор поднялся мне навстречу и с доброй улыбкой пожал руку. Он чувствовал себя так уверенно, словно родился и вырос в этом кабинете.

— Так! Значит, кандидат физико-математических наук? — спросил он покровительственно. Я вздохнул.

— Все еще кандидат...

— Знаем-знаем! — перебил директор. — Это самое... А квадрат плюс Б квадрат, синус-косинус... Разбираемся!

Я кивнул оторопело.

— Ну вот что! — объявил директор. — На вашем участке надо будет перестроить всю работу. Коренным образом. Я думаю, надо будет начать с таблицы умножения.

Я мысленно возблагодарил Бога за то, что новый директор попался с юмором, и постарался попасть ему в тон:

— Вот-вот! Например, так: дважды два — семь, трижды три — двенадцать, а пятью пять тридцать три.

— Невысоко летаете, — сказал директор без улыбки. — Я вот тут кой-какие наметки подготовил, а вы примите за основу и доработайте. — Он достал из ящика лист бумаги. — У меня так намечено: дважды два — двадцать два, трижды три — сто восемьдесят, а пятью пять... вот: пятью пять — тысяча восемьсот двенадцать.

— Гм!.. — Я прокашлялся и осторожно заметил: — Но ведь на самом деле трижды три все-таки девять...

— Что значит «на самом деле»! — нахмурился директор. — А у нас будет сто восемьдесят!

— Но, — сказал я, несколько уже теряя юмор, — ведь если взять три яблока и еще три яблока и еще три, то это будет...

— Фрукты-овощи тут ни при чем! — оборвало меня

новое начальство. — Можете уточнить кой-какие показатели, но в целом будет так, как я наметил.

— Но, — сказал я с бараньим упорством, — если взять три стола и еще три стола и еще три стола, то ведь будет девять столов. Д е в я т ь !

— Не девять, а сто восемьдесят! — директор веско хлопнул ладонью о стол. — Вы что, против решения мебельной проблемы?

Я случайно взглянул в зеркало напротив и увидел, что у меня на голове выросли большие, серые, загнутые назад рога. Мне захотелось пить, я увидел на столе графин, сунул в него мою острую морду и стал лакать.

— Сле-едующий! — крикнул директор. Но я услышал только один звук: е-е-е!

Мне стало неудобно балансировать на двух ногах, и я с удовольствием опустился на все четыре. Я выбежал в приемную и одним прыжком выскочил в окно, на вкусную травку. Как раз мимо гнали стадо баранов, я присоединился к ним. На минуту в голове шевельнулась неясная мысль о прикосновении каких-то длинных пальцев. Это было что-то непонятное, я прогнал эту мысль, она тотчас исчезла. Я перешел дощатый мостик и стал пастись как все.

Разумеется, мои бледные пересказы не могут дать истинного представления о литературных достоинствах произведений. Да и выбор самих произведений — трудное дело: ведь их сотни и среди них есть много поистине блестящих. Но и из пересказов, надеюсь, понятно, что все эти произведения написаны, собственно, на одну тему — на тему о свободе личности, отсутствие которой русские люди ощущают все острее и острее.

Конечно, литература, творимая талантливыми современными писателями России (мне не хочется называть ее подпольной, ибо они сами не любят этого названия и стараются при всяком удобном случае публиковать свои произведения) — эта литература состоит не

только из рассказов. Незадолго до недавней кончины известного писателя Василия Гроссмана к нему на квартиру ворвались с обыском агенты КГБ и унесли вторую часть его романа «За правое дело» — романа о войне. Как раз перед тем Гроссману отказали в публикации этого романа как «идеологически невыдержанного», и ведомство генерала Светличного беспокоилось, как бы роман не пошел по рукам.

История в том же роде произошла с новым романом (собственно говоря, первым романом) Александра Солженицына. Автору вернули рукопись из редакции журнала с сообщением, что произведение, увы, не может быть опубликовано. Писатель уложил четыре объемистых папки с экземплярами рукописи в чемодан и собрался ехать к себе в Рязань (115 миль от Москвы). Но перед тем он решил пройти по магазинам, купить кое-что для семьи. Нагруженный до предела и усталый — здоровье его после многих лет лагеря неважное — Солженицын зашел к московскому приятелю и оставил чемодан с рукописью у него — до следующего приезда. Однако в ту же ночь приятеля «навестили» агенты КГБ и конфисковали роман. Узнав об этом, Солженицын немедленно бросился в Москву и потребовал приема в КГБ. Его приняли. Как передают, он сказал им: мой знакомый ни при чем, он даже не знал, что было в чемодане, если мой роман преступен — арестуйте меня, я к этому привычный. Если нет — верните немедленно рукопись, она моя. Говорят, что разговаривали с ним очень любезно: ему объяснили, что рукопись взяли для того, чтобы предотвратить ее подпольное распространение. Если он обязуется никому не давать на прочтение, то роман могут ему вернуть.

Рукопись, действительно, возвратили, и Солженицын, насколько я знаю, держит слово — никому не показывает. Во всяком случае, ни у кого из моих знакомых (а среди них есть такие, что ничего не пропускают)

этого романа до момента моего отъезда из страны не было. Это большая потеря: через редакционных работников, читавших роман по долгу службы, стало известно, что произведение буквально потрясает. Впрочем, ничего другого от великого Солженицына и не ожидалось*).

Совсем перед самым моим отъездом я прочитал рукопись еще одного большого романа о современной советской бюрократии. Мне сказали, что роман будет напечатан осенью 1966 года. Несмотря на громкое имя автора, я сильно сомневался, что такой роман, бьющий в самую точку, удастся опубликовать. К несчастью, мои сомнения были не напрасны: 1966 год давно кончился, а романа нет как нет.

Наконец, чтобы покончить с примерами большой прозы, назову замечательную книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Совсем недавно, когда я был уже вне пределов СССР, кто-то сумел переправить рукопись на Запад, и книга вышла в Италии (замечу, что Италия стала подлинной меккой современной русской литературы — «Доктор Живаго» был впервые напечатан тоже там).

Евгения Гинзбург — мать известного молодого писателя Василия Аксенова (он носит не псевдоним, а фамилию отца). В тридцатые годы она жила в Казани и была партийным активистом. Последовал арест, издевательские допросы в тогдашнем НКВД, затем пребывание в двух московских тюрьмах, пятиминутный суд при закрытых дверях, одиночка в страшной Ярославской тюрьме, этап в товарном вагоне через всю Россию, на Дальний Восток, и затем долгие годы Колымского заключения. Обо всем этом в книге Гинзбург рассказано спокойно, с таким блестящим мастерством, что этого

---

*) Речь идет о романе «В круге первом», опубликованном на Западе уже после того, как была окончена рукопись этой книги.

мастерства как бы и не чувствуешь, — просто автор дает хронику происшедшего.

Примечательна позиция автора. Это совсем не отрицание режима, это обвинение «сталинщины». Е. Гинзбург писала после XXII съезда партии (1961) и начала с того, что вот теперь, когда партия разоблачила «культ личности», можно рассказать о пережитом. Самый факт запрещения книги красноречиво свидетельствует против такой наивной позиции. Нынешние лидеры дали бы очень дорого, чтобы вычеркнуть из памяти людей два хрущевских съезда — XX в 1956 году и XXII, где незадачливый Никита, сам того не желая, пошатнул самые основы строя, приподняв завесу над злодеяниями Сталина.

Большинство литераторов хорошо понимает это — примером может служить позиция авторов приведенных выше рассказов. «Людовики» из прошлого, допрашивающие людей с е г о д н я, собаки из лагерей, продолжающие п о н ы н е кидаться на невиновных, тупые бюрократы, п р о д о л ж а ю щ и е командовать во всех областях жизни — эти образы рождены не фантазией писателей, а самой окружающей действительностью. Звериный оскал теперешних «умеренных» лидеров лучше всего проявился в деле Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

V

Я не буду рассказывать здесь о самом позорном суде над двумя писателями — обстоятельства суда хорошо известны, стенограммы заседаний и многие другие документы опубликованы на Западе. Я постараюсь дать только некоторые подробности, ускользнувшие от внимания иностранных наблюдателей, и мои личные впечатления.

Весть о внезапном аресте Синявского, Даниэля и

Голомштока (искусствовед, соавтор Синявского по книге о Пикассо, позже превращенный в свидетеля на процессе) была, помню, встречена нами даже с недоверием. «Неужели у ж е началось опять? — спросил как бы сам себя мой друг, писатель. — По моим расчетам, еще рановато». Этот человек просидел в лагерях восемь лет, я — пять с половиной, и мы поняли друг друга с полуслова.

Постепенно приходили новые подробности (в газетах четыре месяца не было ни слова об аресте). Стало известно, что Синявский — это Абрам Терц, чья повесть «Любимов» давно уже пользовалась успехом, и все терялись в догадках насчет автора. Появился в рукописи рассказ Даниэля «Говорит Москва». Мой коллега, журналист из ТАСС (они там самые осведомленные), позвонил мне по телефону и торжествующе закричал: «Есть! Уже о них узнали т а м ! Пришло сообщение!» Тут же мы услышали о Синявском и Даниэле в передачах Би-Би-Си, «Голоса Америки», радио «Свобода».

Чем дальше, тем взволнованнее становились разговоры. Стал ясен капкан, в который угодили советские лидеры с этим арестом. Любой исход был для них плох: освободить писателей значило признать капитуляцию перед правдой и развязать руки еще более смелым критикам режима; судить — но ведь не за что! В уголовном кодексе нет статьи, карающей за публикацию литературных произведений за границей, и Пастернака, например, не судили за «Доктора Живаго». Все гадали, как выкрутятся Брежнев с Косыгиным из скандально-глупого положения, в которое поставили их ищейки КГБ.

В это время, в разгар этих толков и пересудов, у меня произошла встреча, все значение которой стало мне понятно только намного позже.

Я сидел в редакции журнала «Москва» и беседовал с женщиной-редактором прозы, когда в комнате появился пожилой, но этакий крепенький, здорового вида

человек с водянисто-серыми глазами. На нем был дорогой вечерний костюм из черного крепа (встреча произошла около полудня), а под костюмом — теплый жилет ярко-бежевой, почти желтой шерсти. Вместе с красным галстуком это создавало занятное впечатление. Нас представили друг другу, и я узнал, что имел честь познакомиться с писателем-сатириком Аркадием Николаевичем Васильевым.

Конечно, я не знал тогда, что дышу одним воздухом с будущим обвинителем на суде над Синявским и Даниэлем. Я, правда, знал, что Аркадий Васильев тип довольно неприятный, что он один из руководителей того самого Союза писателей РСФСР, где подвизается Соболев, что у него ни на грош таланта, но изрядный запас антисемитизма. Однако все эти сведения обыкновенны для многих «маститых» советских писателей, и я смотрел на бодрого старичка без особого удивления.

Но вот Васильев перешел к делу, по которому явился в редакцию, — и тут я едва не подскочил на стуле. Оказывается, милейший Аркадий Николаевич, как дисциплинированный член партии, пришел уплатить членские взносы в партийную организацию журнала «Москва», где он состоит на учете. А сборщиком взносов была та самая женщина-редактор, с которой я беседовал. Она шутливо похвалила Васильева за пунктуальность, раскрыла его партбилет, достала ведомость уплаты взносов и спросила:

— Ну, сколько с вас за этот месяц, Аркадий Николаевич?

Он скромно и без выражения сказал:

— Триста шестьдесят.

Триста шестьдесят рублей?!! Моя собеседница так и разинула рот. Ведь партийный взнос составляет три процента заработка, следовательно, за истекший месяц Аркадий Васильев «заработал» 12 000 рублей. Квалифицированный рабочий или врач в России зарабатывает столько за десять лет.

Женщина не удержалась:

— Неплохо, Аркадий Николаевич! На хлеб с маслом вам должно хватить...

Шутка произвела на Васильева неприятное действие. Он подозрительно глянул на меня, с недовольством — на женщину-редактора и буркнул:

— Ничего особенного. Мне заплатили за сценарий.

И тут же ушел.

Лишь потом, когда Васильев произнес свою грязную речь на процессе двух писателей, я понял, за к а к о й сценарий он авансом получил такие щедрые, невиданные в России деньги.

Наступило 5 декабря 1965 года. За двадцать девять лет до того, 5 декабря 1936 года, была принята новая Конституция СССР — «Сталинская Конституция», и этот день с тех пор праздничный, нерабочий. В шесть часов вечера в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, произошло нечто небывалое за всю историю советского режима. Группа молодежи устроила демонстрацию с требованием освободить Синявского и Даниэля.

Через Пушкинскую площадь проходит улица Горького — центральная улица столицы. Чуть отступя от улицы стоит прекрасный памятник поэту Александру Пушкину, отлитый скульптором Опекушиным в 1887 году. У подножья этого памятника собралось около сотни юношей и девушек. Внезапно над их головами взлетели белые рукописные плакаты: «Соблюдайте Конституцию!», «Свободу писателям Синявскому и Даниэлю!» Прохожие изумленно останавливались, не понимая, в чем дело. Мысль о демонстрации не приходила в голову никому. Многие полагали, что идет съемка какого-то кинофильма.

Плакаты реяли над демонстрантами всего пять-десять секунд, не больше. В толпу молодежи врезались десятки полицейских агентов в штатском, которые дав-

но уже стояли вокруг — КГБ заранее знал, что готовится демонстрация. Работая кулаками, «сотрудники органов безопасности» прорвались к плакатам, сбили их, изорвали, остервенело затоптали ногами. Другие агенты окружили памятник, следя, чтобы никто из участников демонстрации не ускользнул. Третьи хватали демонстрантов по одному и вталкивали в подходившие машины. Это уже, действительно, напоминало съемку кинофильма, хорошо отрепетированную.

Что же произошло? Почему секретная полиция была так хорошо информирована, что сумела стянуть к месту демонстрации три сотни молодчиков, автомашины и так далее?

Оказывается, молодежь, объединившаяся в организацию под вызывающим названием СМОГ — Союз Молодых Гениев, не скрывала своего намерения выступить в защиту писателей. Участники будущей демонстрации разослали сотни пригласительных билетов, призывавших прийти 5 декабря на Пушкинскую площадь. СМОГ звал за собой писателей, художников, студентов, молодых ученых. Это был открытый, исключительно смелый вызов режиму, потому что если вы рассылаете в СССР даже десять приглашений на какое-нибудь собрание, то должны понимать: одно из этих десяти непременно ляжет на стол в КГБ. Инициаторы демонстрации это п р е к р а с н о п о н и м а л и. Для меня — и для очень многих в России — самым знаменательным была даже не демонстрация как таковая, а именно рассылка приглашений. Боюсь, что эта решающая особенность как раз и ускользнула от внимания западных наблюдателей.

Вероятно, лишь каждый восьмой или каждый десятый из приглашенных явился на Пушкинскую площадь в тот вечер. У непришедших были самые различные резоны — от сознания, что нельзя ставить под угрозу свою важную литературную работу до простой и

вполне понятной трусости. И лишь ничтожное меньшинство — главным образом, тайные информаторы КГБ, не распознанные СМОГом, — вообще не сочувствовало идее демонстрации. После 5 декабря мне пришлось выслушать немало своеобразных «объяснений» от лиц, приглашенных на площадь и не ставших все-таки «декабристами». Слышал я, что это могла быть полицейская провокация, слышал выражение «мальчишество», слышал соображение, что мол видите, они не успели даже слова сказать, как их схватили — что пользы, если бы я был в их числе? Но ни разу, ни от кого не услышал я осуждения «декабристов».

После 5 декабря, когда волна возмущения арестом писателей поднялась во всем мире до высшей точки, советские правители поняли, что играть в молчанку больше невозможно. И вот в «Известиях» появилась статья Дмитрия Еремина «Перевертыши», а в «Литературной газете» творение Зои Кедриной «Наследники Смердякова».

Дмитрий Еремин — один из самых зловонных критиков-клеветников, критиков-доносителей времен Сталина. В последние годы читатели советской прессы успели основательно забыть о его существовании, потому что даже не очень разборчивые редакторы предпочитали не публиковать столь грязное имя. Очень интересно и примечательно, что КГБ вынуждено было поручить статью Еремину, — на такую «работу» не нашлось никого почище и поспособнее.

Как и следовало ожидать, Еремин сделал свое дело очень плохо — даже с точки зрения властей. Если у кого-то и были до его статьи предубеждения против поступков Синявского и Даниэля, то Еремин их успешно рассеял. Например, он возжелал показать, что Синявский двуличен: публиковал за границей обличительные произведения, а в своей стране, выступая как литературный критик, ополчался на тех, кто «чернил совет-

ское общество». Чтобы это показать, Еремин взял выдержку из громовой статьи Синявского в «Новом мире», где А. Синявский, действительно, нападает на писателя Шевцова за искаженную картину современного русского общества. Но дело-то в том, что Синявский в этой замечательной смелой статье подверг разгрому подлый и антисемитский роман Шевцова «Тля», где автор утверждал, что евреи «пролезли» на руководящие роли в советской литературе и искусстве. Против такого гнусного искажения действительной картины и выступил Андрей Синявский, честь ему и слава. А Еремин, не назвав статьи, вырезал из нее кусочек, рассчитывая, что дурак-читатель не узнает откуда это и поверит в двуличие Синявского.

Все остальное в статье Еремина — на том же уровне или еще хуже.

Критик З. Кедрина своей статьей в «Литературной газете» многих удивила: ее не считали до того «наемным убийцей» органов государственной безопасности. Лишь после появления «Наследников Смердякова» кто-то вспомнил, что ведь да, действительно, в начале пятидесятых годов сия дама пару раз официально «бичевала» так называемых космополитов в советской литературе (это термин Геббельса, взятый Сталиным на вооружение в 1950 году).

В своей статье против Синявского и Даниэля Зоя Кедрина кощунственно ссылается на великого Достоевского — одно это достаточно мерзко. Но я обращу сейчас внимание на другое. З. Кедрина, подобно Еремину, тоже решила доказать нечто недоказуемое — а именно, что Синявский был антисемитом. Уж очень ей хотелось выступить против него с этаких, что ли, прогрессивных позиций — вроде как ей претит антисемитизм Синявского. Это само по себе тоже примечательно — чувствовала, чувствовала Кедрина, что грязное дело делает, и страшно ей хотелось представить себя хоть чуточку по-

чище Еремина (ее статья вышла через десять дней после ереминских «Перевертышей»).

Как же доказать антисемитизм Синявского, если он в действительности борец против дискриминации и вся-ческого шовинизма? Кедрина воспользовалась тем, что в СССР произведения Абрама Терца неизвестны — ей-то ведь дали их прочесть только в КГБ. И она, подобно Еремину, «выкроила» соответствующий кусочек из текста, представив его как антисемитский. Разумеется, дама просчиталась: еще до суда все, кто интересовался произведениями Терца и Аржака, могли прочесть их в рукописях. Нельзя, не подобает говорить о пользе суда над писателями — особенно сегодня, когда оба они еще томятся в лагерях, и жизни их всякую минуту под угрозой, — но факт таков, что именно арест Синявского и Даниэля и суд над ними приковал народное внимание к произведениям Абрама Терца и Николая Аржака.

В конце января, буквально за неделю до суда, все еще не было ясно, решатся ли их судить и если да, то как — открытым судом или закрытым. О колебаниях и спорах, что шли по этому поводу «на самых верхах», свидетельствует такой эпизод.

В Доме журналиста, перед специально отобранной аудиторией, вдруг выступил «ответственный сотрудник Комитета государственной безопасности» (так его нам представили) некто Банников. Разумеется, он был облачен в гражданское платье, так что чин его был неясен, но намеком нам дали понять, что это чуть ли не заместитель председателя Комитета. Формально доклад был о «происках империалистических разведок и бдительности советских людей». Однако, поговорив пять минут на общие темы, оратор перешел к делу Синявского и Даниэля. Обозвав их разными бранными словами, он сказал:

— Западная буржуазная пропаганда подняла дикий вой по поводу ареста этих двух проходимцев. Они

испытывают крепость наших нервов. Мы покажем им, что нервы у нас крепкие, что нас не запугаешь. Мы будем их обоих судить. И мы при этом рассчитываем на полную поддержку советской печати, на вашу поддержку, товарищи.

Со странным чувством расходились мы после этого внезапного «доклада». У всех было ощущение, что Банников как бы защищал против кого-то свою позицию, позицию КГБ. Его часто повторяемое «мы» было неопределенным, он ни разу не сказал «партия» или «правительство». По-видимому, это «мы» означало только секретную полицию, которая пыталась спасти «честь мундира» и укрепить свое влияние в государстве.

Суд, назначенный на начало февраля, был в последний момент отложен на двое суток. Видимо, в эти последние двое суток было решено сделать суд формально открытым, а на самом деле закрытым — не пускать иностранных корреспондентов, не пускать и советскую публику, а составить аудиторию маленького зала из специально приглашенных «ортодоксов». Даже таким газетам, как «Правда» и «Известия», не дали просто корреспондентских мест, а предварительно «согласовали», кто будет представлять эти газеты. От «Известий», в частности, присутствовал некто Юрий Феофанов — человек, известный своими связями с органами безопасности.

И все-таки! И все-таки на третий день после окончания процесса я, по многозначительному тону телефонного вызова моего друга, помчался к нему на квартиру и прочел отпечатанные на пишущей машинке последние слова Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А еще неделю спустя читал стенограмму процесса — всю, от начала до конца!

Я не думаю, чтобы кто-нибудь из судебных работников скопировал и распространил эти секретные документы. Я не верю также, что запись процесса получена

через тех немногих «особо проверенных» журналистов, что присутствовали на суде от начала до конца по долгу службы, — слишком уж они «проверенные», да и побоялись бы сделать это, зная, что подозрение падет на их головы в первую очередь. Стало быть, это коллективный труд, потому что только судебные чины да аккредитованные корреспонденты имели пропуска на все заседания подряд. Остальные присутствовали по пропускам, выдаваемым лишь на одно заседание. И этих остальных было в общей сложности не больше пятисот. Значит, и среди этих «надежных из надежных» существовала тайная эстафета записи, перепечатки, сбора воедино тех сотен страниц, что составляют позорный и обличительный документ — протокол беспрецедентного в истории человечества суда над литературой. Поистине, нет больше надежных приверженцев у русской диктатуры.

Я не уверен, что здесь надо пересказывать содержание протестующих писем, индивидуальных и коллективных, направленных после осуждения писателей в разные инстанции, от Председателя Президиума Верховного Совета СССР до редакции «Правды». Скажу только, что таких писем были тысячи. И это, как приглашение к протесту на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года, лучше всего показывает перемены в России — те самые подспудные перемены, о которых написал однажды Евтушенко. Роль баранов в бессловесном стаде больше не устраивает мыслящих людей моей страны.

Эти краткие заметки по поводу суда над Синявским и Даниэлем я закончу любопытным штрихом, относящимся к «общественному обвинителю» Аркадию Васильеву — тому самому, который получил $ 13 200 перед процессом.

После трудов праведных на суде этот человек отправился отдыхать в писательский Дом творчества в

Голицыне, под Москвой. И сразу же обнаружил, что там никто не хочет говорить с ним, подавать ему руку и даже сидеть за одним обеденным столом. Люди не придавали этому характера открытой демонстрации, они просто избегали его — и все.

Полицейский провокатор обиделся. И проделал номер, вполне достойный его морали и интеллекта. Перед обедом, за полчаса до начала, он занял место перед единственным входом в столовую, как бы дыша воздухом. Он хотел поставить писателей в безвыходное положение обязательной встречи с ним нос к носу и «взять на заметку» тех, кто демонстративно отвернется. Результат был самый неожиданный: половина отдыхающих, не дойдя до дверей, повернула обратно и вообще не обедала в столовой в тот день. Остальные проходили, что-то бормоча в ответ на его дружелюбные приветствия. Право, одно это говорит больше, чем все заклинания передовых газетных статей о «монолитности советского общества».

VI

Положение в советском искусстве, изобразительном и театральном, очень схоже с тем, что делается в литературе.

В 1962 году журнал «Молодая гвардия» попросил меня пойти к самому «ведущему» советскому художнику Владимиру Серову и взять интервью. Серов в искусстве — это примерно то же, что Шолохов в литературе, и повидать зверя в его собственной берлоге было соблазнительно. Уговорившись с ответственным секретарем журнала Игорем Смирновым, что мое имя не появится на страницах, что я просто изложу слова Серова о работах молодых художников, я поехал.

Предварительно, по телефону, Серов дал согласие сказать несколько слов для «Молодой гвардии». «Всем

отказываю, — пророкотал он дружелюбным басом, — а молодогвардейцам не могу. Люблю этот журнал. Вы уж извините, я вас на своем чердаке по-рабочему приму, без приготовлений, — работаю».

«Чердак» Серова оказался грандиозной двухсветной студией на верхнем этаже нового дома между гостиницей «Украина» и Киевским вокзалом — в самом прекрасном районе Москвы. Кроме огромного зала, который мог раздвижной перегородкой делиться на две части, в студии были какие-то комнаты и даже кухня — все это не для жилья, Серов живет где-то в другом месте. Меня встретил невысокий круглолицый седой человек, странно похожий на Хрущева. Он извинился за свой вид — распахнутая на груди старая рубаха и мятые штаны в краске — и пригласил садиться.

Первое, что я увидел в студии, была исполинских размеров картина, известная мне еще по школьным учебникам, — «Ленин провозглашает советскую власть». Стояла она на каком-то невероятно сложном станке с рукоятками и рычагами. Пользуясь правом журналиста задавать вопросы, я немедленно спросил:

— Владимир Александрович, разве эта картина так и стоит у вас в студии? Ведь она же написана очень давно, я ее помню с детства.

Серов ласково улыбнулся.

— Да нет, голубчик, это не совсем то, что вы помните. Подлинник в Пекине, а это... м-м... авторское повторение, несколько более современный вариант. Присмотритесь — поймете.

Я присмотрелся и понял. На «авторском повторении» не было Сталина, который в подлиннике, разумеется, стоял плечом к плечу с Лениным на трибуне Смольного. В другой части зала стояла, тоже на станке, картина несколько меньших размеров — опять Ленин, идущий куда-то по булыжной мостовой, а рядом теснятся какие-то типичные «пролетарии».

— Я думаю назвать это «С Лениным», — серьезно сказал Серов. — Как вам название?

Я одобрил название, мысленно благодаря Бога за то, что Серов не спросил «как вам картина?» Ибо сказать, что это была бездарная олеография, значило все равно польстить автору, а после такого ответа интервью вряд ли получилось бы.

Поэтому я отошел от тем искусства и стал расспрашивать художника о его жизни. Совершенно неожиданно я почувствовал не только человека, но и интересного рассказчика, почувствовал его своеобразный юмор.

Серов рассказал, что происходит из села Эммаус Тверской губернии (я много раз проезжал это село, оно на шоссе Москва - Ленинград, так что тема была детализирована), что он сын дьякона местной церкви. Пошли любопытные истории о жизни тогдашнего тверского духовенства — как я понял, в самом начале века, до революции. Вот одна из них, на образец.

«Тверской епископ был человек грамотный, высоко образованный и даже стихи писал. Однажды в его епархии, в деревне под названием Палисадник, случился скандал: подрались поп с дьяконом. Они шли по деревне, а на пути огромнейшая лужа — хоть вплавь кидайся. Поп и говорит: отец дьякон, у тебя сапоги яловые, непромокаемые, перенес бы ты меня через лужу. Тот согласился, сел иерей дьякону на закорки — пошли. Дошли до середины лужи, она глубокая, а в священнике пять с половиной пудов. Дьякон остановился да и говорит: слезай, мол, батюшка. Нет, отвечает поп, ты меня подрядился нести — неси. Ну дьякон взял да и сбросил священника посреди лужи. Тот поднялся, грязный весь, и сгоряча в морду дьякону. А тот сдачи. На другой день оба написали жалобы епископу — один на другого. Взял епископ обе жалобы, вместе скрепил и приколол бумажку с резолюцией: «И коня и всадника вон из Палисадника!»

Выслушав несколько таких историй, я перешел к делу — попросил Серова сказать, что он думает о творчестве молодых художников. И мой непринужденный собеседник чудесным образом исчез. Вместо него передо мной сидел холодный бюрократ высокого ранга, осторожный, злой и подозрительный.

— Пишите дословно, — сказал Серов. — Очень важно передать мое мнение с полной точностью. Значит, так: у нас есть талантливые молодые художники (он назвал несколько имен), они работают над большими темами, развивают лучшие традиции социалистического реализма...

Тут позвонил телефон, Серов взял трубку.

— Да, я. Что это за сомнения у вас такие? Если м ы написали, что надо заплатить за вещь девять тысяч — значит, н а д о заплатить. Мы знаем, кому следует платить по высшей ставке, а кому не следует. Все, до свиданья!

Он обернулся ко мне.

— Продолжим. Наряду с талантливыми молодыми мастерами есть, к сожалению, немало так называемых модернистов, которые своей мазней порочат наше искусство. Есть среди молодых такие типы, которые откровенно отрицают реализм, проповедуют абстракцию, пишут черт знает что. Им надо дать суровый отпор. Этим, с позволения сказать, новаторам я бы отрубил руки, чтобы они не пачкали стены выставочных залов своими...

— Позвольте, Владимир Александрович! — я с отчаянием перебил его людоедскую речь. — Позвольте, но ведь не можем мы писать про руки, которые надо отрубить!

— Почему это не можете? — буквально зарычал на меня Серов. — Вы что, тоже «этим» сочувствуете? Защищаете модерняг и леваков? Смотрите, я завтра же поеду к товарищу Козлову, к Фрол Романычу, и скажу,

что журнал комсомола «Молодая гвардия» защищает модернистов от Серова.*) Он вам покажет! Вы знаете, до чего эти леваки доходят? Тут на днях было обсуждение выставки девяти художников. Плохая была выставка, стали ее справедливо критиковать. Поднимается человек на трибуну и говорит: «С позиций социалистического реализма...» А из зала «Бу-у-у!» Поднимается другой и говорит: «Товарищ Хрущев указал нам...» А они опять «Бу-у-у!» Понимаете? Я уверен, что там половина была агентов ФБР! Их сажать надо!

— Чьих, чьих агентов?

— ФБР — не знаете, что ли? Ну, в общем американских! Это их диверсия против советского искусства!

Я отчетливо понимаю, что эта запись разговора может показаться читателям выдуманной, фантастической. Хочу поэтому обратить внимание, что ни одного слова здесь я не выдумал и не изменил. Слова Серова врезались мне в память навсегда, настолько дико и невероятно они звучали. В. А. Серов недавно умер, но предложение «отрубить руки» он успел после беседы со мною повторить неоднократно, другим людям.

Но это был еще не конец. Серов вошел в раж, глаза его засверкали, он забыл, что просил меня записывать каждое слово, и стал поносить модернизм вообще, не только советский.

— Вы видели эту мазню Пикассо на французской выставке? Нет еще? Так я вам нарисую — вот!

Серов схватил авторучку (рядом стояли в особой вазе десятки карандашей, в другой вазе кисти, но он взял авторучку) и довольно точно набросал контуры «Женщины под деревом» Пикассо. Комментарии, которые он при этом делал насчет частей тела этой женщины, насчет цвета, я лучше приводить не буду.

— Или вот приезжал к нам Ренато Гуттузо! —

---

*) Ф. Р. Козлов, ныне покойный, был секретарем ЦК КПСС.

продолжал Серов. — Конечно, он коммунист, мы его хорошо приняли, хвалили его работы, но, между нами говоря, что он пишет? Что? Это же невозможно смотреть!

Под конец я сделал еще одну безнадежную попытку спасти интервью, как-то смягчить серовские формулировки насчет молодых художников. Но ничего не вышло. В студию зашла жена Серова, приятная темноглазая женщина, и художник стал апеллировать к ней как к аудитории.

— Вот, извольте радоваться: «Молодая гвардия» не желает публиковать мое мнение об искусстве! Им, наверно, больше по душе мутные писания господина Эренбурга (так и сказал — «господина»), который морочит головы молодежи и наводит тень на плетень!

Я прямо из студии позвонил в «Молодую гвардию» и попросил Игоря Смирнова поговорить с Серовым, убедить его, что в таком виде интервью нельзя печатать. Художник долго кричал в трубку те же слова, что перед этим мне, а потом Смирнов со вздохом попросил меня прервать разговор и вернуться в редакцию. Что я и сделал.

Интересно, что интервью с Серовым все-таки появилось в журнале, и без предложения «отрубить руки» — видимо, редакция послала к художнику какого-то более терпеливого человека, умеющего обходиться с «корифеями» лучше, чем я.

А спустя четыре месяца Серов решил осуществить на деле свои угрозы молодым художникам. На выставку, которая открылась в Москве (и где была выставлена его картина «С Лениным», вызвавшая град насмешек), он привел Хрущева с подручными. Хрущев охотно повторял хулиганские выпады Серова против современного искусства, и это было сигналом к длительной травле каждого художника, который хоть чуть-чуть «уклонялся» в своем творчестве от унылого фотографирова-

ния, от писания слащавых жанровых картинок о радости советской жизни.

Тяжелые нападки выдержал тогда талантливейший скульптор современной России Эрнст Неизвестный. Этот мужественный человек, герой войны, не желал ни каяться, ни приспосабливать свое искусство к «генеральной линии партии». Чтобы как-то существовать (все заказы на его работы были, конечно, тотчас аннулированы), он стал выполнять иллюстрации для журналов, в том числе и для нашего — для «Знание — сила». Но в 1966 году (!) главный редактор объявил, что иллюстраций Неизвестного мы больше принимать не можем.

Тем, кто думает, что с «увольнением» Хрущева художникам стало легче, свободнее, надо знать, что не только Неизвестный, но и Рабин, и Плавинский, Зверев, Соостер, Брусиловский (можно назвать еще дюжину талантливых людей) живут по сей день в обстановке нервозности, нападок и притеснений. В январе 1967 года в клубе московского завода «Компрессор» молодые рабочие — любители искусства — организовали выставку одиннадцати молодых художников, в том числе Оскара Рабина и Дмитрия Плавинского. Выставка открылась и проработала... полчаса. В зал ворвались какие-то люди и объявили, что выставка закрывается, «так как помещение нужно для других целей».

Уже на следующий день секретарь Союза художников Екатерина Белашова (в 1963 году ее удачно назвали «Серов в юбке») разразилась истерической речью по адресу молодых художников, которые «все дальше отходят от линии коммунистической партии и социалистического реализма, тратят свое время и силы на пустые формалистические эксперименты». В тексте этой речи не было ничего об отрубании рук или об «агентах ФБР», но ведь нынче в России объявлена эпоха «сдержанных выражений». Однако в подтексте речи Бела-

шовой и в свирепом разгоне художественной выставки все это чувствуется с прежней ясностью. На поверхности советского искусства ничто не изменилось с 1962 года: серовы и белашовы по-прежнему в чести, Неизвестный и Рабин преследуемы и гонимы.

Но изменения следует искать не на поверхности, а под нею: зрители отворачиваются от конфетных полотен придворных рисовальщиков и ищут настоящего, выразительного искусства. Не случайно выставка одиннадцати молодых художников открылась в окраинном рабочем клубе: вопреки усилиям официальных пропагандистов и неофициальных агентов КГБ, искусство прокладывает свой трудный путь к душам человеческим.

VII

Тот же процесс, но со своими, конечно, особенностями, наблюдается в советском театре, в кино, даже в музыке.

В послесталинский период почти все театры страны претерпели одну экономическую реформу, возымевшую серьезные политические последствия. В печати об этом было очень мало, зрители практически не знали о происшедшем, но на театральную жизнь это оказало самое благотворное влияние — вопреки воле властей.

Я имею в виду так называемое снятие государственной дотации. Раньше театры могли не заботиться о коммерческой стороне своей деятельности — если сборы не покрывали расходов театра, убытки восполнялись из государственного бюджета. Поэтому вид пустого зала не очень тревожил директоров и режиссеров — им важно было держать «политически верный курс», за отклонение от этого «курса» карали беспощадно. Не то теперь: театры должны заботиться не только об «идейности» репертуара, но и о его «кассовости», как говорят актеры

на своем жаргоне. Надо чем-то привлекать зрителей, иначе будет нечем платить артистам и рабочим, не на что покупать реквизит и заказывать декорации.

Поначалу эту нелегкую проблему театры стали решать довольно просто — включали в репертуар одну-две современных западных пьесы детективного плана. Как только такие пьесы появлялись в переводах на русский язык и допускались к постановке театральной цензурой, их буквально хватали десятки театров сразу. Если бы русские театры платили авторский процент зарубежным драматургам, то Ф. Нотт, например, быстро стал бы мультимиллионером: его пьеса «Телефонный звонок» ставилась в Москве и на Дальнем Востоке, в среднерусской полосе и в Сибири, за Полярным кругом и в знойной Средней Азии. На афишах бойко мелькали названия вроде «Дорога в Нью-Йорк», «Доброй ночи, Патриция» и им подобные. Зритель, которого тошнило от «производственных» и «сельскохозяйственных» агиток, охотно шел на любой западный примитив — просто поразвлечься. А театры делали так: держали в репертуаре десяток «идеологически выдержанных» пьес, на которые никто не ходил, но показывали их крайне редко. Зато изо дня в день «крутили» доходные иностранные боевики. В репертуарном отчете все выглядело гладко: одна-две иностранных пьесы на десяток советских всегда разрешались.

Но вот кто-то в ЦК партии поднял по этому поводу тревогу. Пошли обследования, проверки репертуара, газеты разразились гневными статьями против «пустых, бессодержательных западных поделок, захлестнувших советскую сцену». Тот же «Телефонный звонок» Нотта был официально запрещен, от театров требовали ставить пьесы, «полноценные в идейном и художественном отношении».

Для многих театров наступил очень тяжелый период, они буквально стояли на грани развала. Помню,

как Владимирский театр (120 миль от Москвы) прельщал зрителей духовым оркестром и танцами в антрактах, другие устраивали лотереи, показывали узкопленочные кинофильмы в фойе — все это мало помогало.

Идеологические руководители были уже непрочь отступить, вернуться к доброй старой системе дотаций, но тут министерство финансов объявило, что это совершенно невозможно: потребные для этого миллионы рублей взять негде, страна и так предельно бедна.

Ничего не поделаешь: пришлось дать театрам некоторую свободу выбора репертуара. Категорически запрещено было только возвращаться к «легковесным» западным боевикам.

Это был переломный момент в истории советского театра; за последние шесть-семь лет были поставлены не только новые сильные произведения русских драматургов, но и лучшие западные пьесы — произведения таких авторов как Гибсон, Брехт, Дюренматт.

На сценах ожили убийственно сатирические пьесы-сказки Евгения Шварца — «Голый король», «Дракон», «Обыкновенное чудо», нацеленные, что называется, не в бровь, а в глаз советской диктатуре. Широко пошли гуманистические, хотя и с просоветской моралью пьесы Виктора Розова; несколько очень смелых пьес — по советским понятиям, разумеется, — написали А. Арбузов, Л. Зорин, В. Радзинский.

Конечно, все это идет отнюдь не гладко — партийные власти прилагают все усилия, чтобы запретить, подавить, задержать появление современных критических пьес. Но, скажем, острейшая сатирическая пьеса Леонида Зорина «Дион» хоть и урезанная цензурой, все-таки идет в Москве — это знамение времени.

Иногда, правда, идеологическое начальство устраивает разгром какой-нибудь особенно откровенной пьесы — чтобы не допустить ее показа и одновременно припугнуть драматургов. Так случилось с пьесой Владими-

ра Тендрякова и Камила Икрамова «Белый флаг» о тяжелых противоречиях двух поколений — старшего, прошедшего сталинскую «выучку» и привыкшего к предательству, и молодого, ищущего правду. По поводу этой пьесы метали громы и молнии, было принято специальное постановление ЦК комсомола, и в результате она не увидела света рампы. Мой друг, театральный критик, меланхолично сказал в самый разгар этого шума:

— Ничего особенного, это они выполняют указание Гитлера, что «писателям и артистам нужно время от времени грозить пальцем».

Это было особенно метко сказано, потому что в то самое время на экраны вышел фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», и эпиграфом к одной из частей фильма были взяты приведенные моим другом слова Гитлера.

Раз уж я заговорил о кино, то надо посвятить несколько слов и этому «важнейшему из всех искусств» по определению Ленина.

На каждую тысячу человек населения в Советском Союзе приходится меньше кинотеатров, чем в любой западной стране. А десятки миллионов крестьян вообще не имеют возможности посещать постоянные кинотеатры — они время от времени обслуживаются «кинопередвижками» с принудительным репертуаром.

Именно этим объясняется тот факт, что даже самые фальшивые пропагандистские «картинки» находят какого-то зрителя — рядовому обитателю провинциального города некуда пойти, кроме как в кино, а кино в его городе единственное, и выбирать не из чего. Но даже при таких безвыходных условиях работники Главкинопроката (это единственная на всю страну организация, распределяющая фильмы) встретились два года назад с финансовой проблемой: кинотеатры страны перестали выполнять планы по сбору денег. Поэтому упомяну-

тый Главкинопрокат изо всех сил стремится показывать на экранах французские, итальянские, американские, западногерманские фильмы: эти картины «делают деньги» безотказно.

Однако на пути иностранных фильмов к советскому зрителю стоит мощный заслон: так называемая закупочная комиссия. Она призвана следить, чтобы на советский экран не проникала «буржуазная идеология». Поэтому ни «8½», ни «Джульетта духов», ни «Сладкая жизнь» Феллини, ни «Вестсайдская история», ни «На берегу» Стенли Крамера, ни «Хиросима — любовь моя» Алена Рене, ни его «Лето в Мариенбаде», так же, как ни один фильм Антониони не попали к русским кинозрителям. Это я назвал первые пришедшие мне в голову значительные западные произведения — можете продолжить этот список сами, вспоминая все лучшее, что поставлено на обоих континентах. К демонстрации допускаются либо так называемые «прогрессивные», то есть левые западные фильмы, либо посредственные коммерческие картины типа французской «Железной маски».

Однажды закупочная комиссия разрешила показывать на советском экране «Великолепную семерку» с Юл Бриннером. Это был прямо праздник для бухгалтеров Главкинопроката — деньги потекли к ним рекой. Но счастье продолжалось недолго: появилась «возмущенная» статья в «Известиях», и картину сняли с проката.

Замечательно, однако, что партийные руководители, в том числе самые высшие, обожают западные фильмы. У них на дачах есть кинозалы, и особый отряд работников того же Главкинопроката возит на эти дачи все новинки зарубежной кинематографии. Картины привозятся в СССР под предлогом просмотра и возможной покупки, даже если заранее известно, что фильм куплен не будет. За несколько дней пребывания в Москве фильм показывается властям, если он интересен,

и тайком от фирмы-производителя контратипируется. На складе Главкинопроката в Гнездниковском переулке и в так называемом Госфильмофонде (на станции Белые Столбы под Москвой, там же, где находится знаменитый сумасшедший дом) есть все, что угодно для души. Мы, журналисты, иногда обращались к заместителю министра кинематографии Баскакову с просьбой посмотреть на нашем закрытом вечере тот или иной фильм и часто получали разрешение. Тогда машина посылалась к задним воротам министерства, и представитель «спецотдела», то есть секретного отдела, выдавал нашему посланцу фильмокопию под особую расписку...

Если вернуться к советским фильмам, то будет несправедливо отнести их все к бездарным агиткам. Есть в советском кино и талантливые режиссеры и способные операторы — если бы снять с них колоссальное идеологическое давление, мы увидели бы немало прекрасных картин. Ведь даже сейчас, при невыносимых условиях работы, когда каждый кадр каждого фильма без конца «обсуждается» с политической точки зрения, появились и «Сорок первый» Григория Чухрая, и «Добро пожаловать» Элема Климова, и «Двое» Михаила Богина, и «Чужие дети» Тенгиза Абуладзе и «Гамлет» Григория Козинцева и «33» Таланкина и Данелия и еще несколько отличных, подчас остро критических картин. Что касается последнего фильма, то его выпустили на экран после долгих колебаний. Это едкая и веселая комедия о «маленьком человеке» из провинции, у которого местный дантист вдруг обнаружил тридцать третий зуб во рту. Новоявленное чудо природы превозносится всей пропагандистской машиной и в конце концов обладатель тридцати трех зубов даже отправляется на Марс.

На предварительном «закрытом просмотре» этого фильма (бесчисленные закрытые просмотры каждого фильма обязательны перед выпуском на экран) при-

сутствовали несколько советских космонавтов. Усмотрев некий намек на себя, они демонстративно покинули зал. Перепуганное кинематографическое начальство сразу же решило запретить картину, и лишь через два месяца авторы пробились к какому-то крупному боссу в ЦК, который разрешил прокат.

— Хорошо поэтам, — вздохнул однажды мой приятель, кинооператор. — Написали стишок, пустили по рукам, и готово — вся Россия знает. А нам, киношникам, каково? Попробуй, сделай подпольную картину!..

Эта шутка удачно выражает мысли многих советских киноработников.

В преддверии 50-летия советской власти было решено объявить «новый подъем» отечественной кинематографии. Официальных похвал и наград удостоились тяжелая многосерийная картина «Война и мир» Сергея Бондарчука, военный фильм «Живые и мертвые» по роману Симонова, тот же «Гамлет» Григория Козинцева. Из этих фильмов только «Гамлет» вызывает живой интерес публики, да и то потому, что, как сказал один критик, «у Козинцева был приличный сценарист Виля Шекспир». От себя добавлю, что был у него еще замечательный исполнитель главной роли — Иннокентий Смоктуновский.

Однако «подъем» кинематографии явно не получился — не мог получиться. Ни по заказу, ни под давлением искусство не рождается.

Относительно легче, нежели художникам, артистам или киноработникам, живется в СССР музыкантам. Время, когда под запретом были и симфонии Бетховена и даже Патетическая симфония Чайковского. давно прошло. Миновали и времена, когда Шостакович был обвинен в формализме. И классики и современные композиторы звучат в России совершенно свободно. Однако даже здесь нельзя говорить об отсутствии идеологического контроля. Совсем недавно после всего

двух исполнений была запрещена симфония Шостаковича — Тринадцатая. «Ей не повезло из-за несчастливого номера» — острили музыканты. Но все знали, что талантливо написанной симфонии «не повезло» по другой причине: в нее включен «Бабий Яр» Евтушенко и музыкальный отрывок на его же стихи о юморе:

Цари, короли, императоры,
Властители всей земли
Командовали парадами,
А юмором — не могли!

Властители всей русской земли не могут вынести таких строк, и так как нельзя было отделить текст от музыки, то приказали замолчать не только словам Евгения Евтушенко, но и нотам Дмитрия Шостаковича.

Но Россия — Россия все равно поет.

VIII

Песни стали сегодня особой стихией русского искусства. Буквально в последние пять лет они сделались достоянием миллионов. Даже стихи лучших поэтов не могут соперничать с песнями по их популярности. И особенно важно то, что эти новые, никем не разрешенные и не прошедшие цензуру песни уже живут во всех слоях народа — их знают рабочие и колхозники, чего нельзя сказать о стихах.

Начало положил крупный поэт Булат Окуджава, москвич, грузин по крови, но русский по воспитанию, участник войны, скромный и даже застенчивый человек. Лет шесть назад, работая заведующим отделом поэзии «Литературной газеты», он вдруг спел нескольким друзьям свои песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Песни понравились, друзья попросили

Окуджаву записать их на пленку — и дальше это приняло характер эпидемии. За каждой новой песней Булата Окуджавы буквально шла охота. Люди складывались и на последние гроши покупали дорогие магнитофоны. Резко поднялся спрос на гитары, расхватывались самоучители игры на этом инструменте, на курсы обучения игре на гитаре стало немыслимо поступить.

Вскоре появились и подражатели Окуджавы — авторы и исполнители собственных песен. Однако наиболее талантливые из них имеют собственное, вполне определенное творческое лицо. Эпигонами их не назовешь — они не только продолжают, но и развивают жанр.

С самого зарождения, с Окуджавы (я веду счет с него, хотя сатирические песни существовали и раньше; однако у них не было такой лавинной популярности), общее направление песен было выражено четко: невыносимость подневольной жизни, протест против диктатуры, издевательство над ней.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать —
Не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать
И узнали, что к чему и что почем — и очень точно...

Таков рефрен одной из «ранних», мало известных, но любимых в России песен Окуджавы. Наиболее популярные из них — «Синий троллейбус», «Дураки», «Черный Кот», «Песня американского солдата» — уже известны на Западе, и я только порекомендую вам достать их и послушать. А здесь расскажу о песнях других авторов, известных пока только в России. Этих «других авторов» я по понятным соображениям называть не буду.

«Облака» — так называется песня о миллионах людей, искалеченных в сталинских лагерях, а сейчас

«милостиво» выпущенных на свободу и впустую доживающих на пенсии. Один из таких — от его лица поется песня — получил свою подачку от государства и теперь пропивает ее. Он следит за плывущими по небу облаками:

Облака плывут, облака,
В дальний край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия ни к чему!
. . . . . .
И по этим дням, так как я,
Полстраны сидит в кабаках;
Нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

Песня с ироническим названием «Старательский вальсок» ставит глубокую моральную проблему молчания из трусости или карьеризма — когда кругом творятся подлости.

Все мы с вами немножко старатели,
Потому что молчание — золото.
Очень просто попасть в богачи,
Очень просто попасть в первачи,
Ах, как просто попасть в палачи —
Промолчи, промолчи, промолчи...

Когда Советский Союз запустил в космос Гагарина, и газеты буквально лопались от пропагандистских урапатриотических излияний, народ откликнулся совершенно издевательской песней:

Марья Петровна идет за селедочкой —
Около рынка живет —
А в поднебесье серебряной лодочкой
Спутник советский плывет!

Дальше в песне рассказывается о том, что Марья Петровна не смогла купить «селедочки» — больно дорого с нее запросили, — а советский космический корабль совершил посадку в заданном районе.

Советская пропаганда много кричит о «новом жилищном строительстве», о новых микрорайонах, возникающих в городах и вокруг них. Автор одной из песен живописует тусклый, безрадостный, пьяный быт в таких новых микрорайонах — и вот его вывод:

Микроулица Микрогорького,
Микроголод и микропир;

Город шаркает микропорками —
Микроклимат и микромир!

Громадную популярность завоевала одна из последних песен — остро сатирический сюжетный рассказ о преподавателе марксизма-ленинизма, которого внезапно вызвали для вступления в наследство умершей за границей тетки-миллионерши:

Оказалось, в далекой Фингалии
Умерла моя тетя Калерия.

В мировоззрении преподавателя марксизма мгновенно происходит полный поворот, вся его коммунистическая убежденность слетает как шелуха, он посылает к черту свой институт и ждет визы в Фингалию — получать свой миллион. Вокруг него тем временем вьются приятели-собутыльники, одалживают ему деньги на пьянство — с тем, что он пришлет им заграничные «джерси»:

И вам мерси,
И вам мерси,
А нам — джерси!

Но вдруг из передачи «последних известий» герой узнает, что в Фингалии произошла революция, и вся собственность присвоена государством. Он в бешенстве, он грозит кулаком радиоприемнику и кричит:

Как вы смели, подонки, бездельники —
Это ж наше с тетей Калерией!

Песня эта саркастически названа «Балладой о прибавочной стоимости». Прибавочная стоимость — одна из главных экономических категорий Маркса.

Таких песен — различного ритма, настроения, сюжета, но одинакового направления — в России уже не десятки, а сотни. Они распространяются в магнитофонной записи и просто из уст в уста — как правило, все они имеют оригинальные, запоминающиеся мелодии.

Власти долго «не замечали» песен, не знали, как с ними бороться. Окуджаву немедленно уволили из «Литературной газеты». Поэт вынужден был в конце концов уехать в Ленинград и занять скромную должность в местном издательстве.*) Но, понятно, такие административные меры ни к чему не привели. Уже в Ленинграде Булат Окуджава написал нарочито издевательские стихи о «каплях датского короля» — это популярное в России средство от кашля:

Если правду прокричать вам мешает кашель,
Надо больше принимать этих самых капель...

И вот идеологические боссы решили «приручить» песенников, повернуть их творчество в «нужную» сторону. Газеты, особенно комсомольские, стали льстить «менестрелям», в клубах начали устраивать вечера песен с выступлениями наиболее безобидных из них.

Однако провалилась и эта затея. Верноподданных менестрелей никто не слушает, а на вечера песен, чтобы

*) Сейчас поэт опять в Москве.

не пустовал зал, стали кое-где приглашать «настоящих» песенников. Почувствовав, что идея оборачивается против них, власти прекратили заигрывание с песенниками, и по этому поводу в печати вновь воцарилось угрюмое молчание.

А Россия поет. И слушает. И думает. И происходят в ней перемены — те самые, страшные для диктаторов подспудные перемены, которые десять лет назад интуитивно предсказал Евгений Евтушенко.

Глава VI

ЖУРНАЛИСТЫ — ПОДРУЧНЫЕ ПАРТИИ

Поездка по ночному Ташкенту. — Что такое «не обобщать». — Чудесное превращение генерала де Голля. — Приговор до суда. — Кто такой токарь-пекарь Пупкин? — Путеводитель по цензуре. — Тайны современного талмуда. — Журналист за рюмкой водки. — Вечерняя болтовня и серьезная работа.

I

В последний раз я посетил Ташкент незадолго до начала обрушившегося на город бедствия — серии землетрясений. Мой самолет пришел поздно вечером, я выстоял час в очереди за такси и наконец с удовольствием уселся в машину. За рулем сидел широкоплечий красивый парень, он лихо рванул «Волгу» с места и лаконично спросил: «Маршрут?»

— Шелковичная улица, 64.

— О-о! — протянул парень не то с уважением, не то с иронией. — Гостиница ЦК? Большое начальство везу?

В последней фразе ирония звучала уже совсем явно.

— Нет, я не начальство, я журналист.

Шофер пристально, изучающе на меня посмотрел (в России пассажир сидит обычно рядом с водителем).

— Будете, значит, писать о достижениях солнечного Узбекистана?

— Еще не знаю.

— Ну да, не знаете! Вас ведь за правдой не посылают.

Тут уж настала моя очередь повернуться и внимательно посмотреть на водителя. Глядя прямо перед собою, на широкий пустой проспект, освещенный только фарами машины, он четко выговорил:

— Смотрите сколько хотите, я вас не боюсь. Могу спорить: если я вам по правде расскажу, как здесь живут, вы все равно в газете не напишете.

Любой московский журналист, если он ездит в командировки по стране, привык к личным жалобам. В первый же день пребывания на заводе, в институте, в совхозе к вам обязательно кто-нибудь подходит и спрашивает, нельзя ли повидаться с вами вечером, наедине. Иногда не один человек, а два или три, но все они поодиночке, и каждый хочет говорить с журналистом без свидетелей. Часто такое желание изъявляет администратор или уборщица гостиницы, где вы останавливаетесь. Отказывать у меня не хватало духу, хотя я наперед знал, что разговор будет длинный и совершенно бесполезный. Некоторые мои коллеги отказывали — может быть, это было даже честнее. Человек, озираясь, приходил к вам в номер, и начинался рассказ о несправедливостях, беззакониях, жестокостях, творимых начальством на том же заводе (или в совхозе или в институте).

Но все эти жалобщики — часто, действительно, затравленные и несчастные искатели справедливости — непременно начинали с того, как они любят советскую власть. Следующий, тоже обязательный тезис, был такой: «Но наши начальники, хоть и носят партийные билеты, на самом деле не коммунисты». Нередко говорилось: «Не коммунисты, а фашисты». Третий тезис: «Москва далеко, там не знают, что у нас творится, а у начальства нашего дружки в верхах, они его покрывают. Я вам расскажу правду, вы проверьте и напишите

— все ахнут. Только мою фамилию нигде не называйте, а то меня съедят. Вы их не знаете, они на все способны». Лишь после этого шла суть дела — как правило, действительно, неприглядная.

Ташкентский шофер удивил меня тем, что отбросил всю эту «преамбулу». Возможно, по недостатку времени — ташкентский аэропорт совсем недалеко от города, — а, может быть, потому, что очень уж сильно ненавидел окружающее лицемерие. Его рассказ, последовавший за вызывающим вступлением, не был личной жалобой. Юный водитель громил местные порядки с гражданских, даже политических позиций.

Он, например, с большой издевкой поведал о «демократичности» первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Поддерживая «популярность в народе», Рашидов, как правило, удовлетворяет просьбы и заявления тех, кто попадает к нему на личный прием. И вот у здания ЦК, прямо на улице, неделями живут просители со всего Узбекистана. Они ждут момента, когда он выйдет из машины, чтобы сказать ему хоть два слова или попроситься на прием. Рашидов от них прячется, незаметно подъезжает к задним дверям, а перед тем, как он должен приехать, милиция разгоняет ожидающих (в его присутствии милиционеры и охранники в штатском не нападают на людей, чтобы создать впечатление, что Рашидов «не знает» об их действиях). Шофер сказал:

— Благодетель у нас Шараф, царь-батюшка. Только почему-то получается, что все остальные начальники в Узбекистане, даже его ближайшие помощники, притесняют людей, а он один хороший — и то только к тем, кому повезет за рукав его схватить.

Он покосился на меня и добавил:

— Вот так у нас, в солнечном социалистическом Узбекистане. Может быть, напишете об этом, а? Или о том, как на уборку хлопка каждый год принудительно гонят

половину Ташкента, а потом в газете помещают фотографии хлопкоуборочной машины — за штурвалом женщина, Герой социалистического труда. Или насчет взяток: не знаю, как в других республиках, а в нашей без калыма*) даже и неприлично разговор начинать. Надо тебе стать на очередь за жильем — плати калым, надо тебе невесту — плати калым отцу по старому обычаю и другой калым по новому обычаю, в милицию, чтобы не поднимала шума насчет продажи несовершеннолетней. Ну как, годится вам что-нибудь из этих тем?

Смелая откровенность парня меня обезоружила. Отвечать ему шаблонными фразами — вы, мол, преувеличиваете, не замечаете светлых сторон нашей действительности, о конкретных недостатках пишите в газеты — я не мог. Я ответил откровенностью на откровенность:

— Нет, парень, ни о чем таком я написать не смогу.

Я ждал новой обличительной тирады, но ее не последовало. Водитель лишь кивнул головой, словно одобряя мою искренность. Спустя минуту мы подкатили к новенькой роскошной гостинице, стоявшей особняком среди покосившихся глиняных хибарок.

— Приехали, — сказал шофер и повел рукой вокруг, как бы приглашая взглянуть на очевидный контраст. — Счастливо отдохнуть.

Он круто, с подчеркнутым мастерством, развернул машину в узкой улочке, помахал мне на прощанье рукой и умчался.

В России все знают, что жизнь, реальность — это одно, а то, что пишут в газетах, — совсем другое. Но об этом не говорят, — по крайней мере, в беседах с журналистами. Вероятнее всего, потому же, почему не говорят хромому, что он припадает на одну ногу, или не

---

*) Калым — по-узбекски «выкуп», но в русском языке это слово употребляется в смысле «взятка» и «легкий заработок».

спрашивают у лысого, куда девались его волосы. Напротив, очень часто люди, у которых я брал интервью, говорили: «Ну, этого, впрочем, писать нельзя, это между нами». Никакого осуждения в таких репликах не слышалось — просто деловитое признание, что есть вещи, о которых в газете или журнале «писать нельзя». Ташкентский шофер был исключением, потому мне и запомнился.

Но это совсем не значит, что русские газеты не печатают критических статей о разных сторонах жизни. Печатают! Мало того, критический «кусок», как выражаются на своем жаргоне газетчики, совершенно обязателен в каждом номере. Если газета в будний день вышла совсем без критики, то сами идеологические надсмотрщики немедленно обвинят ее в «беззубости». А газета, по неписанному кодексу советской печати, должна быть «зубастой», «острой», она обязана непрерывно бороться — з а что-то и п р о т и в чего-то. Но критиковать надо умело, и это сложное умение журналист в России начинает постигать с первых шагов своей газетной работы.

Помню, как редактор, то морщась, то улыбаясь, вычеркивал и правил абзацы в моих юношеских статьях. Из самых добрых побуждений он иронически комментировал вычеркнутое. При этом он без конца повторял главную заповедь советского журналиста: не обобщать! Только не обобщать!

Покажу на примере, что это означает. Предположим, я бы заинтересовался рассказом моего ташкентского водителя о несовершеннолетних девочках, которых, по древнему азиатскому обычаю, продают сами родители за «калым». Предположим, я поехал бы в какой-нибудь колхоз и обнаружил бы факт купли-продажи девочки. Установил бы я также — это трудно, но возможно, — что такой-то представитель милиции принял взятку, чтобы «не увидеть» происшедшего. Потом я по-

ехал бы в другой колхоз, в третий, побывал бы в партийных органах, у прокурора республики, в суде — и вынес бы твердое впечатление, что «калым» существует повсеместно, что это — общественное явление. С таким богатым материалом, нагруженный всякими документами, я возвратился бы в редакцию. Как развертывались бы события после этого?

Редактор первым делом похвалил бы меня за привезенный из командировки «острый, боевой материал». Потом сказал бы, что в ближайшие дни он «посоветуется о том, своевременно ли нам сейчас выступать на такую тему». Допустим, что окажется «своевременно». Редактор скажет мне: пишите материал! Даже может добавить: не церемоньтесь, критикуйте вовсю! Он не предупредит против обобщений, так как имеет дело с опытным журналистом. И верно, я сам не стану обобщать. Я напишу примерно так:

«Близится славная годовщина — 50-летие октября. Подводя волнующие итоги, радуясь успехам во всех областях нашей советской жизни, мы и в эти торжественные дни не можем забыть о недостатках, о пережитках в сознании людей, еще гнездящихся кое-где в стране победившего социализма. Партия учит нас не скрывать недостатков, не замазывать их, а смело говорить правду. Только таким путем можно избавиться от «родимых пятен» прошлого.

Узбекистан... Белое половодье хлопка, свежая вода в пустыне, ослепительный, как мираж, колхозный поселок. И вот здесь, в этом солнечном месте, где трудятся прославленные на весь Союз хлопкоробы, произошла недавно возмутительная история. Четырнадцатилетнюю Таджихон Курбанову «продали замуж» за 300 рублей и дюжину баранов. Продали как вещь!»

Дальше я расскажу, как было дело, непременно подчеркну, что девочка «училась в советской школе, мечтала быть врачом или учительницей или, может

быть, машинистом хлопкоуборочной машины» и продолжу, например, таким образом:

«Я подхожу теперь к самой скверной части истории. В поселке есть милиция, она олицетворяет наш советский закон, социалистический правопорядок. Но поселковый милиционер Султан Нуруллаев продал свою совесть за десяток червонцев и полдюжины овец. Так «отблагодарил» его покупатель девочки (не хочется даже называть этого типа «жених») за попустительство и молчание в позорном деле.

Конечно, случай исключительный, из ряда вон выходящий. Но он сигнализирует о том, что не везде в Узбекистане окончательно добиты феодально-байские пережитки. Нет-нет, да и появится на столе у прокурора республики дело о подозрительно раннем «замужестве». Значит, в некоторых партийных комитетах Узбекской ССР забыли о необходимости неустанной идеологической работы, забыли о том, что никакие тонны хлопка не восполнят провалов в воспитании молодежи.

Таджихон Курбанова все еще живет в чужом, немилом доме, куда ее привели против воли. А Султан Нуруллаев все еще носит почетную милицейскую форму. Надо надеяться, что и то и другое — ненадолго. Надо надеяться, что прокурор Наманганской области и обком партии сделают все выводы из этой необыкновенной истории».

Простите за длинный образец, но зато он показывает, как это делается. С одной стороны — газета выступила откровенно, так сказать, вскрыла язву; с другой — никакого обобщения, никакого общественного явления, просто частный случай, изолированный, из ряда вон выходящий. Есть тут и намек, что случай этот не единственный, но намек достаточно деликатный и отнюдь не создающий, например, впечатления, что милиция еще где-нибудь брала взятки.

Вот это и значит «критиковать, невзирая на лица, но и не обобщая».

Журналист — это, в общем, переносчик информации из жизни в газету. Русский журналист постоянно воспринимает одной своей стороной факты жизни, а другой стороной выдает часть этих фактов в газету в трансформированном, намеренно «исправленном» виде. Резкое несовпадение этих сторон одной личности, постоянная необходимость одно утаивать, а о другом говорить неправду, как легко понять, не способствуют развитию порядочности, честности, искренности, правдивости, принципиальности. Зато вместо них — нормальная защитная реакция — бурно развивается цинизм. Нет сегодня в России бóльших циников, чем журналисты — в своей среде, разумеется.

Я много лет был одним из них, я жил среди них и работал, я крепко люблю их — таких, как они есть: циничных, нагловатых, заваленных день и ночь срочной работой, остроумных, ворчливых, чутких к друзьям. Присмотримся поближе, каково им работается.

II

Каждые две недели главные редакторы центральных газет и журналов съезжаются в Отдел агитации и пропаганды ЦК партии — на так называемые «инструктивные совещания». Там им говорят, что надо и чего не надо делать в последующие четырнадцать дней. Говорит, как правило, один из заместителей заведующего отделом, но, конечно, говорит не от себя, а от имени представляемой им всесильной организации.

Я ни разу в жизни не присутствовал на этих совещаниях, но знаю их распорядок от первой до последней минуты: ведь главные редакторы обязаны после совещаний доводить «главные моменты» до сведения заве-

дующих отделами. А я последние восемь лет заведовал отделом и, значит, слышал эти «главные моменты» приблизительно двести раз. Запомнилось!

Первая часть инструктивного совещания — общая политическая информация. Непременно говорится об очередных достижениях, которые надо показывать «крупным планом», — новая электростанция или выполнение плана хлебосдачи Украиной или даже дружественные переговоры с премьер-министром Польши. Тут же даются «установки», как писать о тех или иных политических деятелях Запада и Востока. Например, в одно прекрасное утро генерал де Голль перестал быть плохим и стал хорошим. Еще вчера, упоминая французского президента, комментаторы должны были писать о «режиме личной власти» или угрозе с его стороны демократическим свободам во Франции (советская печать вообще очень ревниво стоит на страже демократических свобод и многопартийности в других странах!). А сегодня — все наоборот: необходимо подчеркивать положительный вклад генерала в европейское развитие, в дело мира, в налаживание франко-советских отношений. Карикатуры на де Голля исключаются, партию ЮНР впредь «деголлевцами» не называть. Термины, в которых компартия Франции критикует верховную власть, опускать в сообщениях.

В свое время такие превращения — в ту или иную сторону — происходили с Мао Цзэ-дуном, Тито, Сарагатом, Ненни и даже президентом Кеннеди. В 1939, а потом 1941 годах это дважды было и с Гитлером — впрочем, не стоит вдаваться в историю. Важно, к а к это делается — а делается именно так, просто и прозаически, на инструктивных совещаниях главных редакторов. Вопросов присутствующие не задают — они деловито записывают.

Вторая часть совещания — самая волнующая. Начинается разбор недостатков и ошибок в отдельных га-

зетах и журналах за последние две недели. В легких случаях после упоминания об «ошибке» следует устный нагоняй редактору, в более серьезных случаях говорится, что «выводы будут сделаны позже». Это значит, что над головой бедного редактора повисает некий дамоклов меч, особенно страшный своей неопределенностью. И редактор не может даже к кому-нибудь пойти, попросить о снисхождении, сделать попытку оправдаться. Он обязан «нормально работать», будто ничего не случилось — до тех пор, пока меч не падет на его голову в виде конкретного наказания — партийного выговора, снятия с работы или даже исключения из партии. Немудрено, что в этом «инкубационном периоде» у редакторов случаются инфаркты.

Что же это за ошибки такие в безошибочной советской прессе? Вот, наудачу, несколько сравнительно свежих примеров.

Журнал «Архитектура СССР» опубликовал снимок какого-то интересного здания в Западном Берлине. Подпись гласила: «Здание такое-то, Западный Берлин, ФРГ».

«Крупнейшая политическая ошибка, товарищи! — кричал бывший заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК Снастин. — Вы ведь знаете, что Советский Союз не признает никаких прав ФРГ на Западный Берлин. И вдруг советский журнал объявляет, что Западный Берлин — это ФРГ. Непростительно!»

Журнал «Иностранная литература» (№ 3, 1965) вышел без пьесы Артура Миллера «Инцидент в Виши», потому что в последний момент пьесу вырезала цензура. Это-то в порядке вещей, беда была в другом: по недосмотру редакционных работников в конце номера осталась махонькая заметка о постановке этой пьесы где-то в Польше, причем говорилось: «с успехом прошла постановка пьесы А. Миллера «Инцидент в Виши», текст которой публикуется в этом номере журнала».

За эту ошибку главный редактор Рюриков получил

выговор, но занятно другое: было дано указание пьесу опубликовать, чтобы «замазать» скандал. Есть такая русская поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. В данном случае «несчастье» помогло русским читателям познакомиться с маленьким шедевром Миллера — пьеса появилась в № 7 «Иностранной литературы» за тот же год.

Однажды, после полета советских космонавтов Николаева и Поповича, на совещании досталось сразу двум центральным газетам — «Комсомольской правде» и «Известиям». Оказывается, одна из них, рассказывая о жизненном пути героя космоса Николаева, сообщила, что он, «тогда еще никому неведомый будущий космонавт», присутствовал в качестве гостя на XXII съезде партии, где, так сказать, вдохновлялся на подвиг; другая же сообщила, что в дни XXII съезда Николаев сидел в сурдокамере. Журналист живописал даже, как ослабевший от неподвижности, обросший бородой Николаев вышел из добровольного заточения со словами: «скорей дайте газету, ребята, ведь я еще ничего не знаю о съезде партии!» Мы, помню, много смеялись по этому поводу, но где в действительности находился Николаев в дни съезда, я до сих пор так и не знаю. После этого у меня было с ним телевизионное интервью, но я благоразумно решил об этом не спрашивать.

Наконец, еще один пример. В январе 1962 года в Таллине должен был состояться суд над гитлеровскими пособниками, участниками расправ над мирным населением в военные годы. Журнал «Социалистическая законность» — орган прокуратуры СССР — решил дать отчет о процессе. Но как это сделать? Если послать корреспондента на процесс, то отчет мог появиться только в апрельском номере — технология выпуска всякого советского ежемесячника отнимает 75 - 90 дней. К апрелю все уже успели бы забыть об этом суда, и репортаж, понятно, был бы неинтересен.

Редактор журнала, руководствуясь самыми лучши-

ми побуждениями, решил, так сказать, заготовить материал впрок. В ноябре, за два месяца до суда, он послал корреспондента к прокурору Эстонской ССР, который готовил дело, чтобы взять сведения о предстоящем процессе. Прокурор был польщен вниманием центрального журнала и охотно дал журналисту не только текст своей будущей речи, но и текст приговора — в лучших традициях советской законности приговор был изготовлен задолго до суда. Журналисту оставалось немногое: только дописать, что суровый, но справедливый приговор — смертная казнь для всех обвиняемых — был встречен публикой с единодушным одобрением. Что журналист и сделал.

Январский номер «Социалистической законности» с отчетом о процессе должен был выйти в свет 15 января. Суд был назначен на 2 января с окончанием через три дня, так что все выглядело отлично. Однако в последний момент, по каким-то техническим причинам, открытие процесса отложили на две недели. В Москве об этом не знали, а прокурор Эстонии давно успел забыть о визите столичного журналиста, да и вообще не вникал в журнальные тонкости. Судья, отложивший процесс, тем более понятия не имел, что кто-то заранее списал приговор, — журналист к нему не заходил. Одним словом, суд открылся шестнадцатого. И люди входили в зал, держа в руках свежий номер журнала с отчетом о еще не начавшемся процессе, со смертным приговором и с сообщением о «единодушном одобрении» приговора публикой. Название журнала — «Социалистическая законность» — придавало событию особенно колоритный оттенок.

Конечно, и главный редактор журнала и его заместитель были изгнаны с работы и из партии; конечно, журналист, ездивший в Таллин, был пожизненно лишен права заниматься журналистской деятельностью. По их адресу в ЦК сыпались ругательства — но никто и полслова не сказал о сути дела, о приговоре до суда.

Никто не подумал сказать, что если бы суд не отложили, то действия редакторов и журналиста считались бы вполне нормальными. Наконец, никто не наказал прокурора Эстонии или судью — да и смешно было бы наказывать, ведь они только подготовили «проект» приговора, а утвердили этот проект в том же ЦК!

Достаточно, я думаю.

Покончив с «преступлениями и наказаниями», руководитель совещания переходит к заключительной части — к информации о том, какие законы, решения, постановления будут приняты в ближайшие недели или месяцы. Подобно эстонскому судебному приговору, законы эти заранее пишутся в ЦК. О них говорится так: «Принято решение ввести пенсии для колхозников» или «Решено назначить товарища Н. министром по таким-то делам». Эта информация нужна редакторам для того, чтобы готовить «общественное мнение» и создавать у людей иллюзию, будто законы издаются «в соответствии с пожеланиями трудящихся» (любимая формула передовых статей «Правды»).

Потом редакторы прячут блокноты в портфели и расходятся восвояси, чтобы изложить подчиненным «мудрые указания партии» на следующие 14 дней. И подчиненные с новыми силами принимаются проводить эти указания в жизнь — недаром Хрущев со свойственной ему очаровательной прямотой однажды назвал журналистов «подручными партии».

III

Рабочий день в центральной утренней газете начинается, как правило, в 11 часов. Садятся на свои места заведующие отделами и центральная фигура каждой редакции — так называемый ответственный секретарь. По должности ответственный секретарь — третье лицо в газете, после главного редактора и его заместителя.

Однако фактически ни редактор, ни замы (их в больших газетах бывает по несколько) над номером не работают, а секретарь делает всю газету.

Придя на работу, ответственный секретарь первым делом просматривает бюллетени ТАСС (телеграфного агентства Советского Союза). Лишь пять крупнейших газет СССР — «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета» и «Труд» — имеют собственных корреспондентов за границей. Но и они пользуются информацией ТАСС очень широко. А для всех прочих газет бюллетени ТАСС — единственный источник иностранной информации. Только в ТАСС ежедневно приходят и просматриваются в секретном отделе западные некоммунистические газеты.

Из сообщений своих многочисленных корреспондентов во всем мире и иностранных газетных статей ТАСС составляет несколько видов бюллетеней. Лишь один из этих бюллетеней, печатаемый на ротаторе лиловой краской, предназначен для воспроизведения в газетах. Давая сообщения из этого бюллетеня в номер, ответственный секретарь вправе только сокращать их, если не хочет помещать полностью. Запрещается изменять хотя бы одно слово.

Секретарь имеет доступ еще к одному бюллетеню ТАСС — так называемому «белому», хотя он печатается черной краской. Бюллетень этот содержит чуть более подробную и более правдивую информацию, однако воспроизводить ее на газетных страницах нельзя. Содержимое «белого» ТАССа служит только для контр-пропаганды — например, для полемических статей газетных обозревателей против тех или иных высказываний западной прессы. Но так как собственные иностранные обозреватели есть у очень немногих газет, то «белый» бюллетень рассылается только этим газетам.

Еще более конфиденциальные сообщения — правдивые обзоры зарубежной прессы — содержатся в

«красном» бюллетене ТАСС (он, как показывает название, размножается красным шрифтом). Но этот бюллетень рассылается исключительно главным редакторам нескольких крупных газет и высшим партийным чиновникам — «для сведения». На нем стоит гриф «секретно» со всеми вытекающими отсюда последствиями (см. главу IV).

Насколько мне известно, подобная система организованной дезинформации уникальна и не применялась даже в фашистской Германии.

Понятно, что фильтрация зарубежных сообщений, многоступенчатая их проверка, цензурный контроль и прочее требуют массу времени. Даже тысяча с лишним сотрудников, сидящих в здании ТАСС на Тверском бульваре в Москве, не может справиться со всем этим достаточно быстро. Бюллетени ТАСС дают поэтому информацию суточной, а то и двухдневной давности. Сами журналисты из ТАСС придумали такую шутку.

В здании ТАСС начинает стучать телетайп. Дежурный сотрудник подходит к аппарату и читает выползающую ленту. «Париж, 25 мая. От вашего собственного корреспондента. По сообщению агентства Франс Пресс, в Москве, на Тверском бульваре, горит здание Телеграфного агентства Советского Союза...» Сотрудник бросает ленту и бежит к окну. Он видит, как к зданию подъезжают пожарные машины.

Но, как бы то ни было, у ответственного секретаря газеты нет выбора. Он может поставить в номер только один вид зарубежной информации — тот, что лежит перед ним в «лиловом» бюллетене. И эта информация попадет к читателю только на следующий день.

Для начала ответственный секретарь отбирает те зарубежные сообщения, которые пойдут на первую страницу. Их не очень много, и вся эта работа занимает десять минут. Теперь надо заполнить остальную площадь страницы.

На лежащем перед ним макетном листе секретарь отчеркивает место для будущего клише заголовка, созывает к себе заведующих отделами промышленности, сельского хозяйства и информации и начинает «творить».

— Сюда поставим передовичку (так на жаргоне журналистов зовется небольшая передовая статья).

— Мою, пожалуйста! — кричит заведующий отделом промышленности.

— Нет, мою! — восклицает сельскохозяйственный журналист. — Она вторую неделю в секретариате валяется!

— Примем соломоново решение, — мирит их ответственный секретарь. — Дадим передовую отдела школ и вузов. Во-первых, она уже скоро месяц как набрана, а во-вторых, на последнем совещании в ЦК было велено нажимать на науку.

Он вытаскивает из ящика гранку статьи, примеряет на страницу и наклеивает.

— Теперь вот здесь ляпнем крупное фото знатного токаря-пекаря товарища Пупкина, — говорит секретарь. Окружающие даже не улыбаются, острота эта дежурная. Пупкин — издевательская «общая фамилия» для какого-нибудь «передового рабочего» или «труженика колхозных полей». Точно так же в насмешку придумана профессия — токарь-пекарь. В редакции всегда есть запас таких фотографий и восторженных репортажей о героях труда. Выпустить без них газету невозможно — одно время это пытался делать зять Хрущева Алексей Аджубей, тогда главный редактор «Известий», но даже он немедленно получил выговор за «безыдейность» газеты.

Такими материалами, предназначенными отнюдь не для чтения, а только для идеологического начальства, заполняется весь остаток первой страницы. Склеенный макет отсылают в типографию и делают предваритель-

ный оттиск. Пробежав его еще раз, ответственный секретарь отправляет страницу на чтение цензору — у газет цензоры «свои», они сидят в том же здании.

Интересно, что отправка цензору сверстанных страниц — дело противозаконное. Официально цензор может читать материал лишь после того, как под ним есть подпись главного редактора. Но дело происходит примерно в полдень, главного еще и в помине нет, он будет читать и подписывать весь номер часов в пять, в шесть вечера. Если ответственный секретарь не «загрузит» цензора раньше, газета получит разрешение цензуры только ночью. А до получения заветного штампа «разрешается в печать» ни один заведующий отделом не может уйти домой — вдруг по его материалам возникнут у цензора какие-нибудь вопросы?

Поэтому ни в одной газете эта «формальность» не соблюдается. Страницы верстают по очереди и тотчас отсылают цензору на чтение.

В два часа дня появляется главный редактор — считается, что до этого времени он пребывает «у руководства» и согласовывает там какие-то особо важные вопросы. На самом деле он может быть где угодно — ему просто нечего делать в редакции до послеобеденного времени.

Как только он является, к нему в кабинет (а в крупных редакциях — в специальный зал) сходятся все сотрудники, кроме самых младших. Начинается ежедневное собрание по планированию следующих номеров газеты — на журналистском жаргоне оно именуется «планеркой». Встают по очереди заведующие отделами и предлагают дать на завтра или на послезавтра свои материалы. Ответственный секретарь, сидящий где-нибудь в углу, всегда играет роль «адвоката дьявола», он критикует, не стесняясь в выражениях, темы будущих материалов и уже написанные статьи. Затем слово берет главный редактор — ему полагается по чину «давать

перспективу» подчиненным, придумывать какие-то новые рубрики, темы, направления. Эти «новаторские» потуги обычно тяжело и неловко слушать — ведь ничего действительно нового в них быть не может, но надо говорить — человек говорит. Некое исключение в этом смысле составлял тот же Аджубей. На «планерках» в «Известиях» он, бывало, говорил по сорок минут и «высыпал» на головы журналистов десятки всевозможных предложений, часто неисполнимых, но зато любопытных и даже остроумных. По уровню самостоятельности такого редактора, как Аджубей, не было ни у одной русской газеты за все полвека советской власти, и в его времена «Известия» отличались, по крайней мере, живостью. Но теперь Аджубей сидит в редакции журнала «Советский Союз», он там не главный редактор, а заведующий незначительным отделом, и самостоятельности у него больше нет.

С «планерки» ответственный секретарь отправляется доделывать номер, и скоро последняя, четвертая страница газеты уходит на верстку в типографию (все центральные ежедневные газеты в СССР выходят на четырех страницах, только «Правда» и «Известия» выходят на шести). Главный редактор принимается за чтение номера, а в кабинете ответственного секретаря уже звонит телефон. Это цензор сообщает, по каким материалам у него «возникли вопросы».

Хороший ответственный секретарь никогда не спорит с цензором, даже не входит в суть дела. Некогда. Он любезно и по-дружески отвечает цензору, что сомнительный материал будет немедленно заменен другим, той же длины. Через пять минут курьер уже несет цензору новую гранку, извлеченную секретарем из стола, а уж потом как-нибудь, при случае, секретарь скажет заведующему соответствующим отделом:

— Слушай, там цензура срубила твою корреспонденцию. Иди, согласуй, что там неладно. Я пока сбросил

кусок с номера, получишь разрешение — поставлю завтра.

Наконец, номер украшается подписью главного редактора, а потом и штампом цензора: «Разрешается в печать». Сотрудники расходятся по домам, в редакции остаются только дежурный помощник ответственного секретаря и дежурный цензор. Поздно вечером, когда типография даст полный оттиск номера, цензор поставит на нем второй штамп: «Разрешается к выпуску в свет». Тогда номер возьмут в печатный цех, а редакция опустеет окончательно.

В еженедельниках темп жизни и распорядок дня, конечно, иной, в ежемесячных журналах — тем более. Но есть нечто, совершенно неизбежное в любом органе советской печати, будь то редакция газеты, журнала или книжное издательство. Это «нечто» — цензура.

IV

— Вот эту цифру придется снять, — сказала мне женщина-цензор в июне 1966 года.

Она обвела красным карандашом число, показывающее диаметр земного шара.

— Как, Галина Леонтьевна, разве и это секрет?

— Есть прямое указание не публиковать точных размеров планеты.

— Но, простите, тут, наверно, что-то не так. Автор статьи взял размер Земли из американского геофизического журнала. От кого же секрет?

Галина Леонтьевна Кирова досадливо поморщилась.

— Честное слово, Леонид Владимирович, мы зря теряем время. Я же сказала: есть п р я м о е указание, что же тут обсуждать?

Слова «есть указание» обладают в России волшебной силой. Например, 15 октября 1964 года было «спу-

щено» указание не публиковать имя некоего Хрущева. И с тех пор — будьте уверены — это имя ни разу не появилось в русской печати. Ни разу! Если нужно сослаться на период его правления, то для этого разработаны соответствующие эвфемизмы: «недавний период волюнтаризма в руководстве», например. А самого Хрущева, пользуясь словами Оруэлла, просто н е б ы л о, е г о р а с п ы л и л и.

Работая с цензорами, исправляя или заменяя статьи по их «вопросам», я часто думал, что цензура — это самое высшее достижение советской власти. В самом деле, среди всеобщего беспорядка и неразберихи она одна действует с железной и нерушимой четкостью. Ни одно печатное издание в Советском Союзе — книга или почтовая марка, газета или этикетка для бутылки, журнал или конфетная обертка — не выходит в свет до того, как цензура даст свое разрешение. Ни одна радиопередача не проходит в эфир, ни одна выставка не открывается для обозрения, пока тихий и незаметный человек не поставит свою подпись и штамп с личным номером. Это грандиозно, это, если хотите, даже заслуживает уважения.

Посмотрим, каким же образом удалось наладить столь всеобъемлющий контроль над произнесенным или напечатанным словом.

В центре Москвы, на Китайском проезде (это название старое, дореволюционное, но сейчас оно звучит забавно), на шестом этаже здания министерства электроэнергетики находится странное учреждение с двойным названием. Внизу, на улице, вывеска гласит, что это «Главное управление по охране государственных тайн в печати Государственного Комитета по печати при Совете Министров СССР». А наверху, на тихой площадке шестого этажа, где посетитель видит лишь глухую дверь во внутренние покои, окно для приема документов да телефонную будку, красуется другая, более ла-

коничная вывеска: «Главлит СССР». Слова «главлит» в русском языке нет, это какое-то сложное сокращение времен двадцатых годов, приблизительно означающее «главное управление литературой».

Ни то, ни другое название не соответствует действительности, потому что Главлит контролирует не только печать, не только литературу, но и радио, телевидение, выставки и так далее. Однако дело ведь не в названии; дело в том, что на Китайском проезде находится главный штаб советской цензуры.

Я много раз бывал в этом малосимпатичном учреждении — наш журнал считался важным и контролировался группой старших цензоров на Китайском проезде. Всякий раз для посещения нужен был отдельный пропуск, который мне заказывали заранее, по телефонному звонку. Открыв дверь на площадке шестого этажа, я встречал вооруженного милиционера и предъявлял мой паспорт. Милиционер находил мой пропуск на маленьком столике у двери, спрашивал «к кому идете?», я называл фамилию цензора и получал ответ «комната 28, прямо и налево». Это было и указанием дороги и напоминанием, что заходить с моим пропуском в другие комнаты, мягко говоря, не рекомендуется.

В широких коридорах Главлита стоит деловая тишина. На дверях — дощечки с фамилиями сотрудников, без указания должностей. За одной такой дверью работает начальник Главного управления Павел Романов. Если верить вывеске внизу, то он подчиняется Председателю Государственного Комитета по печати при Совете Министров СССР (эту должность сейчас занимает Александр Михайлов). Но на самом деле Романов не подчиняется ни Комитету по печати, ни самому Совету Министров — то есть ни Михайлову, ни Косыгину. Хозяин Романова — секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам Петр Демичев.

В кабинетах на Китайском проезде сидит не так уж

много народу — не больше ста человек. Это сам Романов с секретарями и референтами, три его заместителя, неизбежный отдел кадров и несколько десятков старших цензоров. А общее число цензоров в стране невообразимо огромно и даже трудно поддается приблизительной оценке.

В самом деле, во всех центральных газетах, во всех республиканских и областных работают цензорские группы — как минимум по два человека на газету, но в среднем больше. Такие же группы действуют во всех книжных издательствах страны. Далее, «собственных» цензоров имеют мало-мальски значительные типографии, радио- и телестудии, агентства ТАСС и «Новости». Однако, кроме всего этого, Главлит управляет самой многочисленной «местной сетью». В каждом маленьком городке, в любом районном центре есть свой уполномоченный Главлита, контролирующий районную газету и всю продукцию местных типографий.

Такое местное «представительство» Главлита есть и в Москве. Представьте себе, что ваш институт должен напечатать экзаменационные программы или ваш театр выпускает новую афишу. Перед тем, как отнести заказ в типографию, вы аккуратно печатаете текст на машинке в двух экземплярах, готовите (в красках!) весь изобразительный материал и несете это в московское отделение Главлита — оно с давних времен зовется труднопроизносимым и туманным словом «Мособлгорлит». Получив штамп «разрешается в печать», можете нести один экземпляр в типографию — второй, абсолютно такой же, остается в архиве Главлита для последующего контроля. А когда типография даст сигнальный экземпляр издания, вы едете с этим экземпляром в тот же Мособлгорлит, там проверяют, соответствует ли напечатанное тому, что было разрешено к печати, и ставят еще один штамп: «Разрешается к выпуску в свет». После этого типография имеет право выдать вам тираж,

оставив у себя сигнальный экземпляр с заветным штампом.

Как говорится, «простенько, но мило».

Однако советским журналистам было бы поистине легко жить, если бы структура органов цензуры исчерпывалась тем, что я описал. Если вы выпускаете не пригласительный билет и не театральную афишу, а газету или журнал, то цензура, которую вам придется проходить, будет многоступенчатой, словно космическая ракета.

Аналогия с многуступенчатой ракетой пришла мне в голову не случайно. Дело в том, что журнал «Знание — сила», где я работал последние шесть лет, много писал о космических полетах (как сотни других газет и журналов, впрочем). И каждый раз, когда нужно было напечатать хоть пятистрочную заметку на космические темы, включалась «вторая ступень» цензуры — особая цензурная комиссия по космическим делам.

Это учреждение родилось вместе с началом «космической эры», в 1957 году. Раньше оно не имело определенного названия, состояло всего из двух человек и помещалось почему-то в Советском комитете по проведению Международного геофизического года, на Молодежной улице. Посетители узнавали комнату по вывеске «посторонним вход воспрещен» — традиционная дощечка на цензорских дверях. Потом учреждение разрослось и переехало на улицу Вавилова, в здание одного из крупных институтов Академии наук. Появилось и солидное название — «Комиссия по исследованию и использованию космического пространства при Президиуме Академии наук СССР». В действительности комиссия эта «исследует» только рукописи статей на космические темы и разрешает либо не разрешает их печатать.

Чтобы получить разрешение в этой комиссии, нужна довольно сложная процедура. К двум экземплярам

полного текста с иллюстрациями прикладывается письмо с указанием, кто автор статьи (если он под псевдонимом, то даете настоящую фамилию), где работает и какие источники использовал при написании материала. Если все благополучно, то вам через два-три дня — иногда и через неделю — вернут один экземпляр с разрешительной резолюцией. После этого вы обязаны предъявить статью цензору Главлита и получить обычный штамп.

С самого основания космической цензуры ее возглавляет кандидат технических наук Михаил Крошкин. Журналисты шутливо прозвали этого рослого симпатичного человека «зав. Луной». Много лет подряд мы с Крошкиным были в самых дружеских отношениях, помогали друг другу запасными частями к автомобилям (у него и у меня были машины одной марки — «Москвич»), иногда приятно проводили время в Доме журналиста, который Крошкин очень любил посещать. Но за все годы приятельских отношений я так и не узнал, откуда попал Михаил на эту работу и кому же он на самом деле подчиняется. Версия о подчинении Академии наук никем всерьез не принимается, ибо после каждого полета советских космонавтов Крошкин сидит вместе с ними и Президентом Академии наук на пресс-конференции и подсказывает ответы на вопросы не только космонавтам, но и Президенту. В это время он явно осуществляет «контроль сверху». Откуда именно — остается только гадать, а задавать вопросы лучше не надо.

В мае 1966 года Михаил Крошкин запретил нашему журналу печатать репортаж о подготовке советской лунной станции к полету. По моему мнению, репортаж был соверешнно невинный, не содержал никаких секретов и ни малейших сравнений с американскими программами (это строжайше запрещено в СССР с тех пор, как отставание в «лунной гонке» стало очевидным). Я

разозлился и попытался выяснить, есть ли возможность получить разрешение на пубикацию репортажа в более высоких космических инстанциях. Для этого я обратился к моему знакомому на Китайском проезде — цензору очень высокого ранга. После некоторых колебаний тот ответил, что теоретически такая возможность есть: надо обратиться по внутренней кремлевской телефонной сети к одному из руководителей космических программ — весьма секретному ученому, некоему Мажорину. Было сказано, что подпись Мажорина — закон для цензуры, и виза Крошкина тогда не нужна.

Я поехал в редакцию «Правды», где есть особый кремлевский телефон — так называемая «вертушка». Трубку немедленно поднял сам Мажорин, он попросил прислать ему материал на прочтение по адресу «Москва, почтовый ящик номер такой-то», без указания его фамилии на конверте. Я сделал все как он велел и через четыре дня получил репортаж обратно с резолюцией «не публиковать» и неразборчивой подписью.

К сожалению, комиссией Крошкина дело не исчерпывается. Если в статье хоть в малейшей степени затрагиваются военные вопросы, то необходим еще штамп Военной Цензуры (ВЦ) — единственного цензурного учреждения в СССР, которое честно называет себя цензурой. Статьи и сопроводительные письма для ВЦ надо сдавать в экспедицию Первого дома Министерства обороны на улице Фрунзе, а получать экземпляр с разрешением (или запретом) в другом месте — на улице Кропоткина, в здании без всякой вывески, но с солдатом-часовым за дверьми подъезда. В положительных случаях ВЦ ставит на первую страницу статьи большой штамп с таким текстом: «По вопросам военного характера возражений против публикации данного материала не имеется. Наши замечания см. на страницах таких-то. По остальным вопросам решение о публикации должно быть принято органами Главлита. Военный цензор (подпись)».

Будем, однако, справедливы: нам, журналистам, иметь дело с ВЦ было легче всего. Во-первых, ВЦ работает с армейской четкостью: на третий день ответ, независимо от длины статьи. Во-вторых, как ни странно это звучит, Военная Цензура — самая либеральная. Видимо, там работают квалифицированные специалисты, хорошо знающие, что можно, а чего нельзя, и в меньшей степени подверженные влиянию знаменитого лозунга русских бюрократов: «Спокойнее запретить, чем разрешить».

Увы, список цензур не оканчивается и на этом. Есть, как минимум, еще две.

Первая из них, в противоположность ВЦ, имеет самую худую славу. Это атомная цензура во главе с Валерием Калининым (его предшественник на этом посту некто Кандарицкий года четыре назад покончил самоубийством по неизвестной мне причине). Официально она существует как часть Государственного Комитета по использованию атомной энергии при Совете министров СССР и помещается в здании Комитета на Старомонетном переулке. Это создает дополнительную трудность — получить пропуск в атомный комитет чрезвычайно тяжело. Я постоянно имел дело с ведомством Калинина (еще со времен более приятного Кандарицкого), но был принят лично всего дважды.

Однако главная беда цензуры Калинина — ее невероятная бюрократичность. Были случаи, когда статьи и даже научно-фантастические рассказы (они тоже сдаются туда, если содержат атомные темы) разрешались или запрещались после пятимесячной волокиты. Даже статьи, подготовленные редакцией «Правды», Калинин держит неделями. На него много жалуются в ЦК, но это мало помогает. А обойти эту цензуру невозможно: ваш цензор Главлита ни за что не поставит штампа, если в статье есть слова «атомный реактор» и нет визы Калинина.

И, наконец, еще одна цензура, принадлежащая Комитету государственной безопасности. По счастью, «пользоваться» ею журналистам приходится не очень часто — главным образом, в тех случаях, когда материал написан о разведчиках или в нем есть намек на действия органов безопасности. Хорошо также то, что обращаться в эту цензуру вам не надо — материалы в нужных случаях отправляют туда сами цензоры Главлита. Правда, читают в Комитете госбезопасности, по-видимому, очень внимательно — я сужу по тому, как много времени это у них отнимает. Свое мнение цензоры КГБ сообщают чаще всего прямо в Главлит, но иногда и в соответствующие редакции.

Вот, примерно, какая машина действует для того, чтобы к русскому читателю, слушателю, зрителю не проникло слово «ереси». Замечательно то, что весь этот разветвленный организм, стоющий гражданам России огромных денег, работает в тени и, в общем, хорошо спрятан от общественного мнения. За все годы советской власти ни в одном печатном издании не промелькнуло даже намека, что цензура в СССР существует; о ней не говорится ни с одной трибуны; шифр цензора, который есть на любой книге, газете, журнале и т. д., читателю непонятен — его вполне можно принять за номер типографского заказа или другие служебные пометки. В принципе средний советский гражданин представляет себе, что какая-то цензура есть, но где она, как работает — об этом ведомо только людям, непосредственно с нею связанным.

Кстати говоря, возможности общения с цензорами регулируются строгими правилами. Согласно этим правилам, выслушивать указания цензора имеют право только главный редактор издания, его заместитель и ответственный секретарь. К сожалению для цензуры, соблюсти подобное ограничение просто невозможно, и

Главлит молчаливо терпит тот факт, что заведующие отделами тоже проникают к цензорам.

Но в одном отношении цензура абсолютно непреклонна: ни при каких обстоятельствах она не вступает в контакт с авторами произведений. Правила игры таковы, что автор даже не должен знать, что его статья, очерк или роман проходят цензурную проверку. Указания об изменениях и сокращениях по требованиям цензуры должны передаваться автору как бы от имени печатного органа или издательства. У меня в жизни был в связи с этим незабываемый случай.

Однажды я написал статью в научно-популярный журнал, но не в свой, а в параллельный, тоже московский. У цензуры возникли вопросы, и редактор отдела того журнала, парень молодой и неопытный, долго не мог их разрешить. Он без конца звонил мне по телефону, спрашивал: «а откуда вы взяли это», «где источник такой-то информации». Я терпеливо объяснял, но дело все тянулось.

Внезапно меня осенило: я вспомнил, что у нас и у них цензор один и тот же. Отношения с этим цензором были у меня самые дружеские (быть в дружбе с цензором — первая заповедь каждого редактора). Я тотчас позвонил ему, попросил позволения приехать, явился и был встречен очень тепло, как обычно. Но как только этот неглупый и, в общем, приятный человек узнал, что я приехал к нему не как редактор моего журнала, а как автор соседнего, его словно подменили. Краснея и пряча глаза, он объявил, что разговаривать о статье со мною не может, это грубое нарушение инструкции. Никакие уговоры не помогали, только злили его. Я уехал ни с чем, совершенно потрясенный случившимся.

Должен, однако, заметить, что в дальнейшем этот цензор проявил хорошие человеческие качества: он, в конце концов, разрешил статью, а со мною при следую-

щей встрече разговаривал в прежнем дружеском тоне, будто ничего не случилось.

Это вообще характерно для нынешнего времени: цензоры, подавляющие свободу по долгу службы, разговаривают не только мирно и спокойно, но даже дружественно и порой либерально. С ними вполне можно пошутить, обменяться рискованными анекдотами, поиграть в шахматы (один из цензоров долгое время был моим любимым шахматным партнером). Большинство теперешних цензоров, даже высокопоставленнх, сравнительно молоды — я не знаю в Главлите никого старше пятидесяти лет. Но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой: на компромиссы они не идут. Это легко объяснимо — ведь структура Главлита иерархична, и над каждым цензором есть «последующий контроль», проверяющий то, что разрешает данный цензор. Так что люди в цензуре имеют весьма малые права, но большую ответственность.

Мои молодые коллеги часто жаловались мне на «драконов» из цензуры. Им казалось, что наш цензор «плохой», что он «перестраховщик», с ним, дескать, невозможно ни о чем договориться и так далее. Я старался убедить их, что это не так, что споры с цензором ни к чему привести не могут: независимо от личных качеств он просто не имеет права разрешить хоть на словечко больше, чем дозволено свыше в данный момент. Сам я никогда не раздражал цензоров спорами; если мне казалось, что запрет необоснован, я дружески предлагал: «Давайте попробуем обратиться к вашему начальству. Мы напишем письмо на имя Романова, пусть там наверху почитают». Такой путь легален, цензору это повредить не может, напротив, докажет начальству его «бдительность», и потому мои цензоры всегда охотно соглашались. Иное дело, что такие жалобы практически не помогают — начальство всегда стремится поддержать решение цензора. А жаловаться «через голову» Рома-

нова, прямо в отдел пропаганды ЦК, решаются очень немногие редакторы, да и в таких случаях успех очень сомнителен.

Теперь главный вопрос: на чем же основывает цензор свое мнение? Как достигается почти полное единство цензурных решений на всех 22 миллионах квадратных километров земли Российской?

V

Это толстая книга в зеленом коленкоровом переплете. Сверху золотом оттиснуто: «Секретно. Экземпляр № . . . ». Сам номер поставлен несмываемой краской. Пониже, опять золотом, заголовок: «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати».

Перечень издается Главлитом СССР каждый год, а в течение года много раз пополняется. Время от времени в редакции центральных газет и журналов доставляются секретной почтой тоненькие брошюрки без обложек — циркуляры Главлита. Каждый начинается словами: «В дополнение в разделу такому-то Перечня сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати, запрещается упоминать нижеследующее». Мне не приходилось видеть, чтобы какой-нибудь запрет был снят циркуляром, хотя на практике цензоры иной раз вдруг начинают разрешать ту или иную информацию, прежде недозволенную. Видимо, снятие запретов Главлит не находит нужным доводить до сведения редакций.

Что же под обложкой этой многостраничной книги, которую цензоры в разговорах между собою зовут не иначе, как талмудом («Володя, передай мне, пожалуйста, талмуд»)?

Во-первых, там список военных и государственных тайн — вроде номеров и дислокации воинских частей, марок оружия, чертежей действующей военной техники

и так далее. Это, в общем, запрещается публиковать в любой стране, хотя масштабы запрещения в СССР самые широкие. Затем идут разделы: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, административный аппарат, финансы, даже религия.

В разделе «промышленность», например, сперва идут общие сведения (нельзя публиковать численность рабочих ни на каком предприятии, нельзя давать абсолютных цифр выпуска продукции, себестоимости изделий и многого другого). Потом приведен список заводов, которые нельзя упоминать, и другой список заводов — тех, что можно т о л ь к о упоминать, без малейшей дополнительной информации. Каждый список занимает много страниц.

Есть и всякие особые запрещения (те самые «прямые указания», на которые ссылалась моя женщина-цензор, вычеркивая диаметр земного шара). Почему-то нельзя, например, писать о биологической очистке воды, о бездоменном процессе выработки стали; вполне понятно почему запрещено указывать уровень радиации где-либо на территории СССР.

В таком же духе составлены и другие главы «талмуда». Вот только некоторые запреты, на мой взгляд, любопытные или неожиданные:

— нельзя давать сведений о пожарах, ураганах, лавинах, землетрясениях и других стихийных бедствиях на территории СССР (в каждом случае надо получать особое разрешение на публикацию в ЦК);

— запрещается писать об авиационных, морских и подземных катастрофах, о крушениях поездов (о таких же событиях за границей — можно);

— нельзя приводить цифры заработной платы номенклатурных работников;

— нельзя сообщать уровень урожайности сельскохозяйственных культур на какой-либо конкретной территории (области, крае);

— нельзя без специального разрешения председателя КГБ давать фамилии каких-либо сотрудников органов госбезопасности;

— запрещается публиковать фамилии сотрудников Комитета по культурным связям с зарубежными странами — можно упоминать только председателя Комитета;

— запрещается сопоставлять бюджет советских граждан с ценами на товары;

— нельзя упоминать о повышении цен — только о снижении;

— запрещается публиковать снимки советских городов, сделанные с самолета, нельзя давать точные географические координаты городов;

— нельзя публиковать какие-либо средние статистические цифры по СССР, если они не взяты из сборников Центрального Статистического Управления;

— запрещается писать о повышении жизненного уровня рабочих или крестьян в зарубежных странах (кроме стран Восточной Европы, Северной Кореи, Северного Вьетнама и некоторых развивающихся стран по особому списку);

— нельзя объявлять о закрытии или открытии церквей, писать об абсолютной численности прихожан либо сравнивать численность верующих с предыдущими периодами;

— нельзя писать о недостатке продовольствия — только о перебоях в доставке отдельных его видов.

Получив рукопись или гранки для чтения, цензор сверяет текст с «талмудом» и ставит против определенных строк вопросы. Это еще не запрещение — это лишь требование к редакции предъявить источник информации. Лишь изредка строки просто вычеркиваются — когда нарушены «прямые указания».

Однако работа с «Перечнем сведений» — только часть дела. Вторая, куда более важная часть, — поли-

тическая оценка материала. Я никогда не видел на эту тему каких-либо печатных руководств для цензоров Главлита. Сомневаюсь, что руководства вообще существуют, ведь политическая линия настолько извилиста, что за ее поворотами не угнаться, и любое руководство, даже выпущенное на месяц, устарело бы во время печатания.

Что я любил делать — так это задавать наивные вопросы моим цензорам. Самым лояльным тоном, заглядывая им в глаза, я спрашивал, почему им не нравится то или иное место в тексте. Большей частью я, разумеется, понимал их мотивы, но всегда было велико искушение послушать, что они скажут.

Увы, ответы были всегда туманны. Например, «ну что вы, Леонид Владимирович, сами не понимаете?» Или «мне кажется, это просто нехорошо». Или «вдумайтесь в смысл этой фразы — вам самому станет ясно». В таком роде.

Один высокопоставленный цензор, мой приятель, сказал так: «Политическое чутье надо иметь, дорогой. Нюх, понимаешь?»

Должно быть, это своеобразное шестое чувство — политический нюх, соответствующий моменту, — развивают на специальных семинарах, которые у цензоров бывают чуть ли не ежедневно.

Разумеется, самые большие сложности возникают у цензоров при оценке литературных произведений, где особенно трудно применять и четкие параграфы «талмуда» и этот самый нюх. Некоторые редакторы, недовольные запретами, обращаются в ЦК, даже к самому Демичеву, и изредка получают разрешения — высокое начальство любит иной раз показать свой либерализм.

Бывало, некоторые главные редакторы говорили или писали Романову, что не согласны с его запрещением и настаивают на публикации рассказа или романа. В

подобных ситуациях Романов всегда отвечал одно и то же:

— Главлит не имеет права запретить публикацию, если она не содержит сведений, объявленных в «Перечне». Хотите публиковать на свою ответственность — публикуйте, я дам указание цензору поставить штамп для типографии. Но помните: мы н е р е к о м е н д у е м вам публиковать материал. О нашем мнении мы немедленно доведем до сведения ЦК.

Я знаю только один случай, когда главный редактор газеты воспользовался таким двусмысленным «разрешением» и дал в номер стихи вопреки мнению Главлита. Очень скоро он был снят с работы.

Закончить этот краткий рассказ о цензуре хочется одним штрихом, смешным и в то же время печальным.

В Советском Союзе есть единственный журнал, не проходящий цензуру Главлита. Самый настоящий журнал, выпускающийся шесть раз в год тиражом в 25 000 и распространяющийся не только в стране, но и за рубежом. Этот уникум называется «Советиш Геймланд» — «Советская Родина» — и издается на языке идиш.

Когда на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов было решено восстановить в порядке контр-пропаганды хоть один еврейский орган печати, сотрудников и авторов подобрали очень быстро. Но перед Романовым встала во весь рост необыкновенная проблема: а как быть с цензурой?

Дело в том, что все материалы для журнала готовятся на идиш. Переводить их специально для цензуры на русский, во-первых, большая работа, во-вторых, это недостаточно надежно, при переводе может измениться какой-нибудь важный нюанс. Обучать кого-нибудь из цензоров языку идиш — на это нужны годы. Взять на работу в Главлит цензора-еврея, владеющего языком, — ну, это было совершенно исключено, такая возможность, я уверен, даже не обсуждалась.

И решение было принято поистине мудрое. Главного редактора будущего журнала Арона Вергелиса вызвали в тогдашний Идеологический отдел ЦК и сказали примерно так:

— Мы всецело доверяем вам, товарищ Вергелис, и просим вас быть не только редактором, но и цензором журнала. Вот «Перечень», вот ваш цензурный штамп с личным номером. Надеемся, вы понимаете, сколь высокую ответственность партия на вас возлагает.

И теперь Арон Вергелис регулярно читает свой журнал дважды. В первый раз он его подписывает как редактор. Потом открывает «талмуд» (по иронии судьбы жаргонное название книги тут особенно к месту) и проверяет как цензор. Наконец, ставит штамп и отправляет контрольный экземпляр в архив Главлита.

Стоит добавить: знакомые сотрудники журнала много раз говорили мне, что предпочли бы иметь дело с самым свирепым цензором...

VI

Вот в такой свободной, приятной обстановке и работают все без исключения советские журналисты. У тех из них, кто не утратил способности мыслить, есть только две отдушины в жизни — пьянство и цинизм.

В Москве, на Суворовском бульваре, есть Центральный Дом журналиста — клуб, куда каждый вечер сходятся сотрудники газет, журналов, радио, агентств и издательств. Старинный особняк, некогда принадлежавший богатому купцу Постнову, не очень велик, но уютен. В годы, когда Аджубей был секретарем Союза журналистов СССР, он капитально перестроил дом изнутри, и теперь за старинным фасадом скрываются вполне современные, красиво отделанные помещения.

В Доме журналиста всегда есть чем заняться. В ма-

леньком, но великолепном концертном зале почти ежедневно выступают артисты, в кинозале «крутят» фильмы, причем иногда такие, каких не показывают в кинотеатрах общего пользования; шахматный холл внизу обычно заполнен игроками и «болельщиками»; в других помещениях работают группы по изучению иностранных языков, а дамы занимаются кройкой, шитьем и даже моделированием шляп. Время от времени происходят в Доме собрания так называемых «творческих секций», где журналисты смежных направлений обсуждают профессиональные вопросы (я, например, был вице-председателем секции научной журналистики).

И все-таки главная «приманка» Дома журналиста — это его ресторан и три маленьких уютных бара. В них можно и выпить и всласть побеседовать с друзьями. Баров общего пользования в Москве нет, а рестораны не дают ни той, ни другой возможности — там нельзя «посидеть», надо непрерывно что-то заказывать, потому что у каждого официанта есть «план». В Доме журналиста вас не гонят с места злыми взглядами, напротив, вас знают и приветствуют. Это своеобразный оазис — даже, если угодно, оазис Запада в Москве. Ведь самых больших ценителей западного стиля жизни надо искать не в Нью-Йорке, не в Париже и не в Лондоне, а среди московских журналистов.

И вот там, в дружеской и нетрезвой атмосфере журналистского бара, сбрасываются по вечерам все личины. В первой стадии опьянения мои коллеги начинают критиковать свое редакционное начальство, потом постепенно переходят к проклятиям по адресу режима в стране, а заключительная стадия, когда человек уже сильно пьян, — это всегда самооценка, как правило уничтожающая.

Я знаю международного обозревателя крупной газеты, который имеет обыкновение комментировать по вечерам в Доме журналиста то, что он написал днем. Это

своеобразный комментарий, чудовищно циничный и всегда интересный. Столики в Доме журналиста поставлены тесно, и этот человек, независимо от стадии опьянения, никогда не повышает голоса. Да, собственно, ему и не нужно повышать: он разговаривает сам с собою, а партнер по выпивке важен ему лишь в том смысле, чтобы он не был информатором КГБ.

— Сегодя со страшной силой разделал американцев, — говорил мне международник. — Пригвоздил их к позорному столбу за эскалацию во Вьетнаме. Триста строк, на это места не жалеют. Идиоты они там в Вашингтоне. Гнилые гуманисты в белых перчатках. Хотят остановить коммунизм, кретины. Его не останавливать, его давить надо. Не понимают. Ни хрена не понимают! Был у них единственный мужик, который разбирался в шакальей психологии всех этих сталиных, хрущевых, мао и дядюшек хо*). Мистер Джон Фостер Даллес, царство ему небесное. Этот знал, что с коммунистами можно разговаривать приятно и вежливо — если держать пистолет у их виска. Вот тогда они и тихие и мирные — вообще шелковые, а любой другой способ не годится, все равно укусят. Шакалы они шакалы и есть, никаких оттенков между наглостью и трусостью. Я-то помню, как они боялись Даллеса — там, в самых верхах. Прямо тряслись перед ним, только старались вида не показывать. Глотнем?

Мы «глотали» залпом по рюмке коньяку.

— После Даллеса один-единственный раз поговорил с ними Кеннеди как следует, это когда с Кубой. И они сразу в кусты, хвост поджавши. Вроде бы ясно, как с ними надо, — так нет, опять мягенько, опять заигрывают, ах вы, дорогие коммунистики, давайте договоримся. Ну, а мы, конечно, гав-гав! Это я сегодня гав-гав. Позор американским варварам. Гаг-гав из подворотни!

---

*) Имеется в виду Хо Ши-мин. — Л. В.

Пусть господа в Пентагоне не думают, что наше терпение беспредельно. Ух ты, страсти какие! А у самих полные штаны. Нет, американцы — жуткие идиоты. Вот я читаю этих олсопов, липпманов да пирсонов — и ни один из этих мудрецов прямо не скажет: плюньте на советских и делайте свое дело во Вьетнаме. Русские ни в жисть пальцем вас не тронут. Боятся вусмерть. И китайцы не тронут. А будут сильно орать — огрызнитесь как следует, спокойно, по-даллесовски, так и утихнут. Сами мира попросят. Эх, глупо устроена жизнь. Мы не можем писать, что думаем, — но ведь и они не могут. Боятся своих же леваков. Я там был, я знаю.

Выпивалась еще рюмка. Приходила следующая стадия.

— А вообще, какие мы с тобой гнусные твари. Не обижаешься? Правильно. Про себя я точно знаю, что тварь. Гнусная. Э, да и ты не лучше. Ты о достижениях передовой советской науки, я о советской миролюбивой политике. И за это нам дают здесь посидеть и покурить «Винстон». Или прокатиться в Париж, ужаснуться буржуазному разложению. Выпьем!

Помню еще такой вечерний его комментарий.

— Ты знаешь, что такое «центральная Германия»? Не знаешь? Почитай завтра мои писания. Я там шарахнул по этим наглым боннским реваншистам за то, что они называют ГДР «центральной Германией». Понимаешь, намекают, что восточная Германия — это уже за Одером и Нейссе. У, агрессоры. Писал и думал: а что, если бы, не дай Бог, Гитлер выиграл войну? Нет, он был из гадов гад, я против него дрался, это я просто для примера — вот что было бы? Ну, загнали бы нас с тобой за Урал, в Европейской России устроили бы марионеточный «национал-социалистический Российский рейх», а Украину с Белоруссией и Прибалтику он бы просто оттяпал себе. Как бы мы этот Российский рейх называли? Ясное дело, «Центральная Россия» — чтобы дать по-

нять, где Западная Россия находится.

Мы помолчали, выпили, а потом он заговорил как-будто о другом:

— Месяц назад был я в Польше. Заехал во Вроцлав, это бывший Бреслау. Интересная штука: единственное место в лагере мира и социализма, где легко найти квартиру. Не едут туда поляки, не хотят, понимаешь, возвращаться на исконные польские земли. И зарплата там по особому закону выше, и льготы всякие, а вот едут туго. Глупые какие-то поляки. Нам бы, говорят, Львов и Брест-Литовский — это, говорят, действительно, Польша, а Вроцлав — нет, не надо. Занятно, а? Но это еще что: мой коллега из Берлина недавно приезжал, ихний гедеэровский комментатор. Хочу, говорит, с вами посоветоваться, у нас, говорит, есть некоторые пропагандные трудности с восточной границей. Я, говорит, имею доводы, что и Бреслау, и Лигниц, и Ландсберг, и Данциг и даже Штеттин когда-то были польскими, это как-то еще можно объяснить. Но, говорит, какие доводы вы порекомендуете насчет Кенигсберга, Инстербурга, Тильзита и вообще Восточной Пруссии? Нам, мол, трудно объяснить гражданам ГДР, почему они принадлежат России, если СССР выступает за принцип исконного владения и национальной принадлежности. Я на него поглядел так внимательно — что, думаю, издевается, собака, или искренний дурак? Смотрит, понимаешь, преданно, карандашик приготовил, ждет, что я ему объясню, как ловчее врать. Я ему так сухо говорю, что, мол, это, товарищ, результат гитлеровской агрессии, а за текущими разъяснениями обратитесь в агитпроп. Записывает! Записывает и спрашивает деловито: в какой, мол, агитпроп лучше, в советский или в гедеэровский? Насилу от него отвязался, чуть матом не послал, ей-Богу...

Повторяю, этот журналист всегда говорил тихо, но и, тем не менее, постоянно оглядывался вокруг: не мо-

жет ли кто-нибудь с соседнего столика поймать хоть словечко из его страшных высказываний. Именно страшных, ибо подобные вещи не говорятся в СССР даже в семейном кругу. Это была какая-то странная реакция мозга, переполненного дикой смесью правды и лжи. Человек находил мрачное удовольствие, какой-то свой выход в том, чтобы высказывать точку зрения, полярно противоположную официальной. И при этом смертельно рисковать.

Я далеко не всегда разделял его пьяные мысли, порой они казались мне чересчур крайними, порожденными озлоблением. Но факт тот, что в такие минуты он бывал искренен. Есть точная русская поговорка: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

В остальном этот журналист не был исключением: то, что говорится вечерами в Доме журналиста, всегда более или менее противоположно написанному в газетах и журналах. Не следует, по-моему, переоценивать подобную форму протеста — да и протест ли это, скорее просто неверие, в лучшем случае фрондирование, не опасное для режима. Однако мои коллеги в России способны не только на это.

С удовольствием сообщаю, что большая часть политических анекдотов — как правило, остро антисоветских — рождается в журналистской среде. Оттуда же вылетают меткие словечки, клички, определения. И когда в Доме журналиста встречаются два приятеля из разных газет или журналов, то стало уже почти правилом, что беседа начинается с обмена свежими шутками. «А, Саша, привет. Есть новые хохмы?*)» «Ты слышал, что надо сделать для того, чтобы твой холодильник был всегда полон продуктов? Надо выдернуть вилку холодильника из электросети и включить ее в радиосеть». «Хо-

*) «Хохме» — по-еврейски шутка, острота. Это слово очень распространено в разговорном русском языке.

хо, ничего. А знаешь самый смешной анекдот всего из одного слова?» «Ну?» «Коммунизм». После такого вступления разговор может перейти на любую тему.

Это журналисты прозвали партийных чиновников и их подхалимов в литературе «красносотенцами», намекая на так называемых «черносотенцев», членов погромно-реакционной организации в царской России. Это они называют интервью, публикуемые в газетах, не иначе как «интервру», а скверные стандартные дома из прокатных панелей, обезобразившие русские города с легкой руки Хрущева, — «хрущобами». Таких крылатых словечек — сотни, и они, так же, как анекдоты, летают по всей стране. Как известно, смех способен убивать, и раскаты злого смеха, нарастающие в России, не на шутку встревожили обитателей Кремля. 16 сентября 1966 года в СССР появился новый закон, по которому за распространение анекдотов человека можно упрятать в лагерь на три года. Но 17 сентября журналисты уже рассказывали друг другу, что КГБ объявил конкурс на лучший антисоветский анекдот. Первая премия — три года заключения...

Однако главная заслуга многих русских журналистов в том, что они — с невероятными трудностями, с большим риском — пытаются сказать читателю нечто отличное от официальной пропаганды. Это чаще делается в журналах, чем в газетах, там легче спрятать намек от цензуры среди нейтральных фраз. Не могу, к сожалению, приводить примеры выступлений моих коллег, хотя примеры есть поистине блестящие — ибо любой пример будет немедленно прослежен по его содержанию, и автору придется плохо. Поэтому, чтобы дать понять, как это делается, приведу пример из собственной практики — не сочтите за нескромность.

В декабрьском номере моего журнала за 1965 год я опубликовал пространный очерк о Международной выставке «Химия», прошедшей в Москве. Незадолго до то-

го я прочел в рукописи блестящие миниатюры Александра Солженицына — глубокие, тонкие, поэтичные и, видимо, в силу этих самых качеств запрещенные к публикации. Мне пришла в голову мысль, что одну из миниатюр можно пересказать в моем «химическом» тексте. И я начал очерк такими словами: «Я читал недавно рассказ очень большого писателя...» Потом спокойно передал содержание рассказа и перешел к собственно химии. Журналисты знают, что переход от любой темы к любой другой — дело профессионального навыка, это нетрудно.

Мой расчет строился на том, что ни главный редактор журнала, ни цензор не спросят, чей рассказ я читал и как он назывался. Ибо написано, что рассказ «очень большого писателя» — им будет неудобно показать, что они о нем не слыхали. Мало ли, может быть это Толстого рассказ, а они вдруг спросят «чей». Предполагается, что образованный человек в России должен назубок знать русскую классику, и оба — редактор и цензор — действительно, побоялись обнаружить свою «необразованность». Очерк напечатали в таком виде, как я его дал, и мне было необыкновенно приятно узнать несколько недель спустя, что Солженицын, с которым я никогда не был знаком, прочитал его. Разумеется, я узнал об этом «через десятые руки». Мне не сказали, к сожалению, понравилось это писателю или нет. Может быть, он был лишь рассержен моим бессильным пересказом. Если так, я хочу воспользоваться случаем и здесь попросить у него прощения — надеюсь, когда-нибудь он прочитает и эти строки.

Повторяю, мой пример — вынужденный, в значительной мере случайный. Другие делали и делают эту трудную и очень нужную работу систематически. Пусть их эзопов язык понимают не все, пусть это пока удел интеллигенции — все равно значение правдивого слова,

напечатанного в газете или журнале, переоценить невозможно.

Понятно, что среди русских журналистов есть и типичные партийные чиновники, и абсолютно беспринципные карьеристы и опасные негодяи, сотрудничающие с секретной полицией. Таких особенно много в ТАСС, в агентстве «Новости» и почему-то на радио. Однако не они составляют большинство. Девять из каждых десяти сотрудников советской прессы по меньшей мере недовольны тем, что им приходится ежедневно лгать за плату. О том, как они относятся к «свободе» и «правдивости» печати в СССР, хорошо свидетельствует журналистский анекдот, которым я закончу главу о моих коллегах.

В СССР объявлена полная свобода. Много партий, газеты различных направлений, частная инициатива. В частное кафе заходит посетитель.

— Официант, чашку кофе и коммунистическую газету!

— Кофе с удовольствием, а коммунистических газет в нашем кафе не имеется.

— Я прошу чашку кофе и коммунистическую газету!

— Прошу прощения, господин, коммунистических газет у нас в кафе не держат.

— Дайте мне чашку кофе и коммунистическую газету!

— Повторяю вам: нет коммунистических газет!

— О, повторяйте же, повторяйте!..

Глава VII

ДРУЖБА НАРОДОВ

Путешествие с приключениями. — Сертификат крови. — Куда еврею можно и куда нельзя. — Карьера Трофима Кичко. — О чем мечтают угнетенные.

I

«Прошлым летом я с группой друзей путешествовал по нашей стране. Мы прибыли в Осетию и разбили палатку на краю горной деревушки. К нам подошла группа местных жителей, и через минуту после знакомства, по законам кавказского гостеприимства, мы все были приглашены на свадьбу, которая должна была вот-вот начаться в селе.

Надо ли говорить, что приглашение было принято с радостью. Но в тот момент, когда мы уже готовы были двинуться, один из местных внимательно всмотрелся в меня и вдруг сказал, что мне лучше к ним на свадьбу не ходить. Никто не понял, в чем дело, я пожал плечами и остался у палатки.

Но вскоре я увидел, что ко мне бегут какие-то люди. Еще издали они делали приветственные жесты. Это были осетины, среди них старейшины деревни и тот самый парень, который предложил мне не ходить. Все наперебой передо мною извинялись и чуть не под руки отвели к праздничному столу. «Извини, дорогой, такая ошибка получилась! Понимаешь, мы сперва приняли тебя за грузина».

Наш дальнейший путь лежал через Грузию. На улице грузинской столицы Тбилиси ко мне подошли двое подвыпивших молодых людей и задали какой-то вопрос на их языке. Я ответил по-русски, что их не понял, и тогда спросивший ударил меня кулаком по лицу.

Инцидент разрешился в милиции. Когда дежурный открыл мой паспорт, чтобы вписать имя потерпевшего в протокол, один из моих обидчиков заглянул в документ и буквально схватился за голову. «Ой, прости меня, пожалуйста, — сказал он. — Делай со мной, что хочешь. Мы ведь приняли тебя за армянина!»

Потом мы уехали в Эстонию, и там никто не желал со мной разговаривать, потому что эстонцы считали меня русским. А когда путешествие окончилось, и я вернулся в Москву, то оказалось, что меня не утвердили членом редколлегии журнала «Дружба народов» ибо я еврей. Как насчет дружбы народов в нашей стране, товарищи?»

Это был отрывок из речи советского писателя Григория Свирского, члена коммунистической партии (позже исключенного) на собрании московских писателей весной 1966 года. Разумеется, речь не была нигде напечатана, но немедленно стала известна от слова до слова и произвела впечатление водородной бомбы, взорванной в центре Москвы. Свирский нашел в себе мужество затронуть самую запретную в России тему — о подлинных взаимоотношениях между нациями в стране. И он сделал это не только публично, но и в присутствии главного партийного идеолога, секретаря ЦК КПСС Петра Демичева, сидевшего на собрании.

Нет, времена все-таки сильно изменились. В 1947 году я заговорил об антисемитизме в СССР с коллегой-студентом, коллега донес в секретную полицию, и через несколько дней, с помощью несложной полицейской провокации, я был послан в лагеря на семь лет. А Свирский заговорил о том же перед полным залом и до сих

пор, насколько мне известно, пребывает на свободе. Это ли не прогресс!

Больше того: в речи на том же собрании Демичев вынужден был коснуться выступления Свирского. Он сказал, что принял выступление к сведению, что «пережитки национальной розни», видимо, еще существуют в СССР, но заострять публичное внимание на них не следует, так как этим «мы дадим пищу сионистской пропаганде». Курьезно, что партийный босс, сам того не желая, выдал себя с головой: его страшит «сионистская пропаганда», от которой надо всячески скрывать о ф и ц и а л ь н ы й антисемитизм, — а об отношениях к другим нациям он даже не заикнулся, поскольку официальной дискриминации по отношению к ним сейчас не проводится.

Мне, однако, не хочется следовать примеру Демичева и сводить национальную проблему в СССР к антисемитизму. Надо взглянуть на положение дел немного шире.

II

По достижении шестнадцатилетнего возраста каждый советский гражданин, живущий в городе или рабочем поселке, получает паспорт. Внутренний паспорт, годный только для проживания в своей стране. На первой странице документа, сразу после имени, места и даты рождения, идет графа «национальность». Здесь обозначается национальная принадлежность — по крови родителей. Т о л ь к о по одному этому признаку. В графе пишется «русский», «казах», «белорусс», «еврей», «татарин» и так далее.

Если человек рожден в смешанном браке, то милиция, выписывающая паспорт, дает ему право выбора между двумя национальностями, обозначенными в паспортах родителей. Этот выбор делается один раз и на

всю жизнь, изменить свою национальность — даже с материнской на отцовскую или наоборот — после выдачи паспорта невозможно. В смешанных семьях накануне выбора обычно происходят советы — все знают, как важно иметь «хорошую» национальность в России. Если один из родителей русский, то советоваться почти не о чем — ясное дело, надо брать эту, самую привилегированную национальность. А если оба родителя не русские, то вопрос решается в зависимости от «качества» их национальностей и от места проживания. Скажем, в татарско-украинской семье ребенок будет (как правило, конечно) записан украинцем, а в татарско-еврейской — татарином. Ибо лучше быть украинцем, чем татарином, лучше быть татарином, чем евреем. В армяно-грузинской семье, живущей в Тбилиси, сын или дочь выберут грузинскую национальность. В той же семье, но живущей в Ереване, дети будут армянами. И так далее.

Шестнадцатилетний сын моих друзей, русского отца и еврейской матери, рассказывал мне с усмешкой, как удивился офицер милиции, услышав, что он желает записаться евреем. Офицер несколько раз переспрашивал, какую же все-таки национальность решил избрать мальчик, затем осведомился, делается ли это с общего согласия всех членов семьи, и, наконец, внушительно сказал: имейте в виду, что отец у вас русский и поэтому вы имеете п о л н о е п р а в о вписать в свой паспорт русскую национальность. Этот полицейский чиновник искренне желал сделать мальчику доброе дело!

Паспортом, однако, дело не ограничивается. При поступлении на любую работу или в университет или даже в спортивный клуб, при переезде на новое место жительства и, разумеется, перед каждой поездкой за границу граждане СССР заполняют анкеты. Эти анкеты различны по количеству и характеру вопросов — зави-

сит от важности места, куда вы едете или поступаете, — но вопрос о вашей национальности есть в любой из них наверняка. И отвечать на этот вопрос вы обязаны в точном соответствии с тем, что написано у вас в паспорте. Давать другой ответ просто глупо, ибо анкету, перед тем как у вас принять, сверяют с вашим паспортом. Кроме того, на большинстве анкет напечатано внушительное предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных сведений.

Помимо Советского Союза, в сегодняшнем мире есть только одно самостоятельное государство, где каждый гражданин носит с собою сертификат о своей кровной принадлежности и где никакая смена вероисповедания не дает права на замену сертификата. Я говорю, конечно, о Южно-Африканской республике. Правда, в ЮАР на сертификате ставится лишь буква, обозначающая расу, — белый, цветной, черный, индус, китаец, — а в СССР это детализировано гораздо подробнее. Однако во всем остальном сходство поразительное — даже в том, что и в России и в Южной Африке расистско-фашистские «исследования» были начаты н е из антисемитизма.

Есть, однако, и громадная разница между ЮАР и Россией. В Южной Африке политика апартеида провозглашена з а к о н о м, и закон говорит, что можно и чего нельзя представителям каждой расовой группы. Я глубоко убежден, что законы апартеида бесчеловечны и отвратительны, однако сейчас разговор не об этом: во всяком случае, расовые ограничения легальны и сформулированы в документе, обязательном для суда. В Советском Союзе никогда не было издано ни одного закона, хоть в чем-нибудь ограничивающего права отдельных наций. Тем не менее, ваша кровь «засвидетельствована» в паспорте и анкетах; немцы Поволжья высланы в Сибирь, частью брошены в тюрьмы и расстреляны и с к л ю ч и т е л ь н о из-за своей национальности (Гит-

лер в 1941 году не тронул живших в Германии русских эмигрантов!); калмыки, чеченцы, ингуши и крымские татары были полностью, под дулами винтовок, вывезены в Сибирь и на Алтай; крымские татары до сих пор не имеют права въезда в свой Крым; а в правительственных, военных, дипломатических, полицейских, внешнеторговых, партийных и других важных органах Советского Союза нет ни одного еврея. (Разрешите не принимать в расчет заместителя Председателя Совета министров СССР Вениамина Дымшица — у Сталина ведь тоже был заместителем Лазарь Каганович).

Русский писатель, с которым мы беседовали о сходстве между СССР и ЮАР, заметил:

— Одноименные полюсы отталкиваются. Должно быть, поэтому наши власти так ненавидят Южную Африку, а там, насколько я знаю, не очень жалуют Советский Союз.

В другом разговоре я услышал от русского профессора, полковника инженерно-авиационной службы, такие слова:

— Вы знаете, в чем разница между положением наших евреев и, скажем, негров в США? Американские негры имеют свои организации и своих лидеров, они открыто борются за свои права, а у нас евреи не борются и не имеют организаций, иначе... (полковник выразительно провел ладонью поперек своей шеи). А другие различия, в общем, несущественны, друг мой.

Когда Никита Хрущев с трибуны XX и XXII съездов Коммунистической партии предавал анафеме Сталина, он упоминал и о тюрьмах, и о пытках, и о казнях. Но одну тему он обошел гробовым молчанием: сталинскую национальную политику и связанные с ней преступления.

На то были у него, по крайней мере, две причины. Первая была в том, что признать советский нацизм

— значило окончательно поставить знак равенства между СССР и гитлеровской Германией. Вторая причина, быть может, главная из двух: Хрущеву хотелось приберечь сталинскую «дружбу народов» для собственного дальнейшего употребления. Ведь национальная рознь, искусно направляемая, с давних пор служила в России «предохранительным клапаном» против народного недовольства. И не по прихоти своей Сталин широко открыл этот клапан в России конца сороковых — начала пятидесятых годов: страна была нищей, голодной, злой — надо было дать злобе хоть какую-то разрядку.

Печальный факт состоит в том, что нынешние лидеры страны идут в этом смысле полностью по стопам Хрущева. Они охотно признают теперь любые глупости и ошибки «великого десятилетия» (так именовался в пропаганде хрущевский период, когда Никита Хрущев был еще у власти), но упрямо отрицают советский нацизм. Лозунги о «братской дружбе равноправных советских народов» остаются неизменными со времен Сталина. А уровень расовой дискриминации — со времен Хрущева.

Интересно, что когда Брежнев занял «трон», в стране стали циркулировать такие слухи: ЦК партии решил, мол, потихоньку, без огласки, ликвидировать национальную рознь и, в частности, антисемитизм. Для этого советским гражданам выдадут новые паспорта, без указания национальности, и упразднят все вопросы о национальности в анкетах. Одновременно автоматически снимут расовые барьеры при поступлении на работу или учебу.

Мне не известен источник этих слухов, но в России обыкновенно «не бывает дыма без огня». Возможно, что проблема секретно обсуждалась на высшем уровне. Но, так или иначе, никаких изменений не последовало, и я получил мой первый паспорт без указания национальности, когда ехал за границу. Более того, меня прямо

предупредили, что при заполнении въездной карты в Англии надо писать в графе «национальность» только слова «гражданин СССР» и ничего больше. Хозяева боятся, как бы советский гражданин по привычке не написал за границей то, что он обязан писать дома!

Так обстоит дело с проблемой национальных взаимоотношений в целом. Чтобы познакомиться с частностями, возьмем в качестве примера антисемитизм. Мне это просто легче и ближе, я сам еврей. Но если бы я был, скажем, крымским татарином или эстонцем, я с равным успехом мог бы привести в пример моих соплеменников. Были бы описаны иные события, иные возникли бы вопросы, но вывод о неравноправии, будьте уверены, всплыл бы в конце концов непременно.

III

У нас в редакции освободилось место: заболел и перешел на инвалидность сотрудник, ведавший публикациями по биологии. Перед журналом встала труднейшая проблема поиска специалиста. Просто журналист или просто биолог не годился — нужен был своеобразный гибрид этих далеких специальностей, человек, хорошо знающий биологию и умеющий отлично писать, редактировать, работать с авторами. Где такого взять?

Главный редактор специально обратился по этому поводу «к народу». В дружественной и шутливой форме (таковы вообще взаимоотношения во многих русских редакциях) было сказано, что за поимку столь редкого зверя объявляется награда — освобождение от дежурства по типографии. Мы улыбнулись и взялись за «ловлю».

Несколько дней спустя мне посчастливилось встретить вечером в Доме журналиста безработного автора, страстно желавшего найти штатную работу и отвечав-

шего, кажется, всем требованиям. Всем, кроме одного, хотя и не высказанного нашим редактором: мой автор был еврей.

Я, однакож, был достаточно благоразумен: говорил с человеком, выяснял его возможности, вспоминал читанные его статьи в разных журналах, но об открывшейся у нас вакансии не сообщал. Сказал только, что было бы неплохо еще разок свидеться, побеседовать, а потому давайте, мол, телефон и адрес.

На второй день я зашел к редактору без посторонних и поговорил откровенно с глазу на глаз. Рассказал о человеке, напомнил его выступления в печати, и с каждым словом лицо редактора все более светлело. Наконец, он не выдержал и воскликнул:

— Ну, хватит! Считайте, что от типографского дежурства вы уже отделались. Тащите ваше сокровище сюда!

Я ответил:

— Как насчет дежурства, я еще не знаю. Дело в том, что мой кандидат — еврей. На всякий случай я ничего не сообщил ему о вакансии — что зря возбуждать надежду, а потом травмировать человека.

Редактор долго молчал, повесив голову. Потом вздохнул.

— Боюсь, Леонид Владимирович, что вы сделали правильно, не обнадежив человека заранее. Будем откровенны, вы же знаете нашу ситуацию: кроме вас, в редакции работают... (он назвал три еврейские фамилии). Весьма трудно взять еще одного. Начальство там (он поднял палец) давно уже мне намекает на «неправильный подбор кадров». Да и партийная организация непременно ткнет мне в нос, что я «протаскиваю в штат определенных лиц по определенным рекомендациям» — никак ведь не скроешь, что это ваша кандидатура, даже если (он улыбнулся) не снимать с вас дежурства. Конечно, сегодня не пятьдесят второй год, я могу на-

стоять на своем и взять парня — но давайте подумаем, стоит ли идти на такие обострения... Вот как вы сами полагаете?

Я постарался ответить как можно спокойнее, что потому, собственно, и не обещал человеку чего-либо определенного. И ушел, оставив главного редактора — абсолютно не антисемита! — в муках совести. Вероятно, на его месте я поступил бы так же.

Я привел здесь этот недавний случай с протокольной точностью, ничего не преувеличив и не преуменьшив, потому что он абсолютно типичен для всей ситуации с евреями в СССР. Их не выгоняют с работы по национальному признаку; нельзя даже сказать, что их совсем не принимают на работу; но, тем не менее, еврейство — тяжелое препятствие и тормоз на жизненном пути человека.

Года два-три назад в СССР приезжал довольно видный французский коммунист. Он проделал любопытный опыт. Объявив официально, что приехал узнать, как обстоит дело с приемом евреев на работу, он посетил несколько заводов, учреждений, институтов. Повсюду француз задавал начальникам один-единственный вопрос: сколько евреев работает у вас на заводе (в институте, в учреждении). Иногда руководитель учреждения или предприятия называл ему цифру немедленно, наизусть. В других случаях он вызывал заведующего отделом кадров. Но нигде гостю не пришлось ждать больше пяти минут для выяснения точной цифры работающих евреев, даже если это был большой завод! А в Московском университете ему не только назвали цифру студентов-евреев, но и сообщили, какой процент это составляет от общего числа студентов университета, добавив не без гордости, что процент вдвое выше, чем был до революции.

Правда, этот умный француз не сам выбирал пункты посещения. Иначе он мог попасть во множество

мест, куда доступ евреям закрыт полностью. Скажем, в редакцию журнала «Техника — молодежи». Причина: журнал принадлежит Центральному Комитету комсомола, а эта молодежная организация — одна из самых антисемитских в стране (она ни в какой степени не представляет сегодня русскую молодежь, и было бы грубой ошибкой делать отсюда вывод об антисемитских настроениях среди молодежи). Напрасно было бы искать хоть одного еврейского студента в Московском институте Международных отношений, в Институте Внешней торговли, в партийных школах ЦК. Евреев нет ни в одном партийном комитете от районного и выше (в ЦК заседает все тот же Дымшиц), ни в одном дипломатическом учреждении СССР — как известно, в свое время министром иностранных дел был еврей Литвинов, советским послом во Франции еврей Суриц, можно назвать многих бывших советских дипломатов еврейской национальности и никто из них не скомпрометировал себя в глазах советских властей.

В менее важных учреждениях и предприятиях количество сотрудников-евреев зависит от местоположения и «настроений» руководства. Скажем, в Грузии еврею относительно легко найти работу, не очень трудно это и в Белоруссии. На Украине это исключительно тяжело.

Директор Одесского Политехнического института некто Ямпольский категорически запрещает членам приемной комиссии зачислять в институт студентов-евреев. Однажды экзамены в институт держал еврейский юноша блестящих способностей. Экзаменаторы прилагали все старания, чтобы «срезать» его (это самый простой способ отказать в приеме), но у них ничего не вышло. Пораженный знаниями юноши, председатель приемной комиссии решил, в виде исключения, его принять. Когда весть о «самоуправстве» председателя приемной комиссии дошла до директора, он был взбешен и прика-

зал юношу не принимать — под любым предлогом. Все тот же председатель приемной комиссии (точнее, заместитель, потому что председателем по положению всегда является директор) робко попытался уговорить Ямпольского. Он сказал, что ведь это всего один человек, ничего страшного. Директор ответил ему фразой, получившей известность во всем городе:

— Если не хочешь, чтобы у тебя завелись клопы, смотри, как бы один клоп не появился!

Руководитель учреждения или предприятия может, таким образом, увеличивать или уменьшать количество евреев-подчиненных. Но в первом случае он всегда рискует попасть под подозрение в «пособничестве» евреям или под партийную критику; во втором случае он не рискует решительно ничем. Играют тут роль и, так сказать, пределы наполнения: никто никогда не упрекнет руководителя, если у него в учреждении евреев нет вообще, но ему устроят суровый разнос или даже снимут с работы, если случайно окажется 25 - 30 процентов. Как говорится, принимай-принимай, да знай же меру! «Перебор» (так на жаргоне кадровиков называется повышенный процент евреев) карается очень строго.

Такое положение существует третий десяток лет, к нему привыкли, насколько можно привыкнуть к дискриминации, и оно теперь имеет очень любопытные психологические последствия.

Например, евреи, независимо от места работы, стараются трудиться изо всех сил. Они очень дорожат местами, понимают, что любое упущение в работе, которое пройдет незамеченным у русского, может для еврея обернуться увольнением. Словом, нет в СССР более усердных и преданных делу тружеников. А это отнюдь не приводит в восторг их коллег — особенно если начальство обращает внимание на хорошую работу еврея и, как принято в советском обществе, призывает остальных «подтягиваться до его уровня». Отсюда возникает и

зависть и порой ненависть: «Что этому еврею надо, почему он лезет из кожи вон? Не могут эти евреи работать как все, обязательно им надо выделяться. Поневоле станешь антисемитом!»

С другой стороны, большие и малые руководители в России втихомолку очень ценят это еврейское вынужденное старание. Если ситуация позволяет, они стремятся обзавестись заместителями еврейской национальности. С таким заместителем начальник чувствует себя легко: можно, не стесняясь, переложить на его плечи всю работу. Человек будет только доволен своей «незаменимостью» как гарантией того, что он не потеряет эту предельно высокую для него должность. По этой причине в России, где почти нет евреев-начальников, так много евреев-заместителей.

Еще одна психологическая особенность — мне неприятно и тяжело о ней говорить, но ничего не поделаешь. Если еврей занимает руководящую должность, и от него зависит прием на работу, то он, как правило, старается брать поменьше своих соплеменников или не брать их совсем. Он, как огня, боится обвинения в «национальном протекционизме» — это обвинение всегда готово у русских антисемитов, а оно считается тяжелым и даже политическим. Более того, евреи, уже работающие в данном учреждении, косо смотрят на новичков своей национальности — ведь они увеличивают процент сотрудников-евреев, появляется угроза «перебора», дается пища для антисемитских разговоров и так далее.

Существует в России порода «просвещенных» антисемитов — по-моему, это самые невыносимые представители человечества. Они порой непрочь завести с евреем «разговор начистоту», чтобы доказать ему необходимость некоторых ограничений для этой национальности или обосновать «стихийный», «народный» антисемитизм. Вот что говорил мне однажды разоткровенничавшийся Василий Федченко, редактор моей книги в

издательстве «Молодая Гвардия», секретарь партийного комитета этого издательства:

— Леонид Владимирович, давайте поговорим откровенно. Вы меня, надеюсь, антисемитом не считаете? Отлично. Если бы я им был, я бы не заводил этого разговора с вами. Попробуйте на минуту отвлечься от того, что вы еврей, и рассудить по справедливости. Сколько евреев живет в нашей стране? Два с лишним миллиона, примем для простоты, что они составляют ровно один процент населения. А сколько евреев у вас в редакции? Четверо из пятнадцати — это больше двадцати процентов. В высших учебных заведениях Москвы их, в среднем, больше пяти процентов. Выходит, что в процентном отношении их больше, чем русских. Почему же, я вас спрашиваю, они оттирают плечами русских ребят с порога университета? И за что в таком случае русским ребятам, не попавшим в университет по милости евреев, любить этих своих конкурентов? Не лучше ли будет сказать, что антисемитизм, который вы справедливо проклинаете, поддерживается самими евреями? Вот ведь, дорогой, что получается, если трезво смотреть на вещи!

Он увлекся, раскраснелся, на его губах играла улыбочка. Я подумал, что надо его остановить, а то он понесет совсем страшное и придется идти на скандал, давать ему по физиономии. Это мне отнюдь не улыбалось — хотя бы потому, что вся вина за скандал свалится на меня, будут тяжелые неприятности, и никто не примет во внимание мои еврейские эмоции. Поэтому я хладнокровно сказал:

— Давайте, как вы говорите, по справедливости. Чтобы исправить положение, надо установить процентную норму приема евреев в высшие учебные заведения. Один процент. Так?

Не подозревая подвоха, Федченко ответил:

— Ну, почему же один процент? В Москве живет

много евреев, я бы установил два. Повторяю, я не антисемит.

— Хорошо, Василий Алексеевич. А царские чиновники, ведавшие просвещением до революции, — они ведь б ы л и антисемитами, не так ли?

Федченко пожал плечами.

— Н-ну, по официальной политике, насколько нам известно из истории, — да, были.

— Так вот, о н и установили норму в три процента. Но если вы добьетесь, как влиятельный в партии человек, чтобы повсеместно принимали в институты хоть о д и н процент, то еврейские, как вы выражаетесь, «ребята» будут вам по гроб жизни благодарны, потому что им откроется путь в высшие учебные заведения, куда сегодня их вообще не берут. Похлопочете, Василий Алексеевич?

Я намеренно использовал в разговоре примитивные доводы — более тонкие антирасистские соображения он бы не понял и не принял. А эти подействовали — Федченко быстренько сменил тему и впредь «откровенных разговоров о справедливости» со мною не заводил.

Не стоило бы, конечно, упоминать здесь такого Федченко, если бы не одно важное обстоятельство. Самые высшие руководители страны — большей частью именно такие «просвещенные» антисемиты. Это люди старше пятидесяти лет, впитавшие сталинские послевоенные настроения. Их уровень культуры чрезвычайно низок, он не позволяет им перешагнуть через собственные предрассудки. Скажу больше: именно эта прослойка населения страны — старше 50, более или менее образованные, но не интеллигентные, духовно бедные и отто-го очень самоуверенные люди — именно она отравлена шовинистическими предрассудками сильнее всех других слоев населения. Простой крестьянин, даже если он недолюбливает «жидов, армяшек и косоглазых», гораздо более терпим. Многие даже украинские крестьяне

(говорю «даже» ибо Украина считается цитаделью антисемитизма) прятали у себя во время немецкой оккупации евреев, ежеминутно рискуя головой. То же относится к рабочим. Этим необразованным людям ближе общечеловеческие категории добра и любви к ближнему, чем карьеристам-полуинтеллигентам, оторванным от жизни народа и большей частью забывшим о человечности.

Нет теперь никакого антисемитизма и у молодежи. Напротив, сталкиваясь с официальной дискриминацией, русская молодежь все сильнее ненавидит чиновников-антисемитов. Шовинизм стал символом сталинщины, хрущевщины в глазах молодых людей, и одна из форм протеста против этого среди студенчества, например, — подчеркнутое юдофильство, если хотите «анти-антисемитизм».

Но страной-то управляют не рабочие, не крестьяне и не молодые интеллектуалы, а как раз упомянутые мною бюрократы «сталинской закалки». Пока это положение сохраняется, на изменение национальной политики в России нет надежд. И особенно тяжелая особенность национального угнетения в России состоит в том, что оно происходит под покровом оголтелой пропаганды «дружбы народов».

IV

Читаете ли вы советскую газету, слушаете ли радио, едете ли по дороге, пробегая укрепленные на обочине плакаты, вы непременно видите и слышите восторженные здравицы в честь «братской нерушимой дружбы между народами нашей страны». Люди в России давно уже привыкли к противоестественным самовосхвалениям в пропаганде, их не коробят такие, например, плакаты: «Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма!» Но даже они читают и слуша-

ют лозунги о «дружбе народов» с кривой улыбкой. Вот в это не верит, действительно, никто!

Тем не менее, лозунги незыблемы. Они сохранялись и в те времена, когда «Правда» ежедневно печатала по антисемитскому фельетону или двусмысленно толковала в передовых статьях о ведущей роли русской нации среди остальных «социалистических наций», населяющих Советский Союз. Ныне прямые антисемитские выпады в печати стали редки, они, во всяком случае, делаются завуалированно, а статьи о ведущей роли русской нации исчезли совершенно. Но славословия по поводу несуществующей «дружбы народов» повторяются с прежним усердием.

В противовес этому, цензура старательно вычеркивает из всех печатных материалов какие-либо намеки на расовую дискриминацию или даже шовинистические настроения отдельных людей в СССР.

В марте 1965 года литературный журнал «Москва» опубликовал мою повесть. В рукописи был небольшой эпизод с молодым рабочим, которому его старая тетка не позволяет жениться на еврейке. Эпизод не главный, а кроме того, «отсталые настроения» этой тетки решительно осуждаются устами другого молодого персонажа. Я подписал корректуру повести с этим эпизодом. Каково же было мое возмущение, когда, взяв в руки свежий номер журнала, я увидел, что эпизод отсутствует.

Понятно, я сразу понесся в редакцию, прикидывая по дороге, кто мог без ведома автора, после подписи корректуры, сделать такую пакость. Я готов был наговорить грубостей за это хоть самому главному редактору. Но оказалось, что в редакции виноватых нет: в последний момент, во втором уже чтении, эпизод вычеркнула цензура. Сотрудники редакции боялись, что если мне сразу об этом скажут, то я потребую снять повесть, в журнале появится «дыра», и выпуск в свет задержится

на неопределенное время. Решили меня до поры до времени «не волновать».

Любопытно, что эта повесть была затем переведена в СССР на английский язык (журнал «Советская литература» № 10, 1965), а еще немного позже разыграна в виде пьесы по Центральному телевидению в Москве (18 января 1966 г.). В обоих случаях мои попытки восстановить эпизод были тщетны.

Никто, однако, не вырежет из произведения антисемитские выпады, если только они делаются без упоминания слова «евреи». В том же 1965 году издательство «Советская Россия» выпустило тиражом в 100 тысяч экземпляров (!) гнуснейший «роман» некоего Ивана Шевцова под названием «Тля» — я имел уже случай упомянуть об этой книге в главе V. Подобной антисемитской мерзости не писали и в самые тяжкие сталинские годы. Но редактор «Советской России» Смирнов не получил даже выговора, у цензуры вопросов тоже не возникло.

После выпуска романа многие газеты и журналы очень резко критиковали это «произведение». Но вот тут цензура была начеку! Ни один из авторов критических статей не получил права сказать, что роман Шевцова — антисемитский. В лучшем случае критикам удавалось использовать весьма абстрактные намеки.

Другой пример еще колоритнее.

Примерно в то же время, что «роман» Шевцова, вышла в свет «научно-популярная» книга Трофима Кичко «Иудаизм без прикрас». Лучше было бы назвать ее «Антисемитизм без прикрас», настолько она проникнута ненавистью ко всему еврейскому, лютой ненавистью погромщика. Автор использовал то приятное для него обстоятельство, что в России можно громить любыми словами иудаизм и сионизм. Раз так, то вместо слова «евреи» достаточно говорить «сторонники иудаизма» или «сионисты», а для полной ясности снабдить книгу

картинками, изображающими отвратительных носатых «сионистов», чьи руки тянутся к золоту. Так все это и проделал Трофим Кичко в «творческом содружестве» с художником Савченко, а издательство Академии наук Украины (!) выпустило сей научный труд в количестве 12 тысяч копий.

Книгу Кичко тоже мягко покритиковали, но автор, разумеется, благоденствует в Киеве. Он даже получил ученую степень кандидата наук. Между тем, Трофим Кичко — личность интересная отнюдь не с научной и не с литературной точки зрения.

Автору этих строк «повезло» сделать небольшое открытие, касающееся биографии «борца с иудаизмом». Вскоре после появления его книги я сидел в библиотеке и по какой-то надобности перелистывал комплект «Литературной газеты» за 1953 год. В номере от 10 февраля я увидел заголовок, типичный для тех невеселых времен, — «Раскроем псевдонимы». Прочел — так и ахнул. Это оказалась статья двух журналистов из украинского города Винницы, Озябкиной и Зарудного, посвященная... Трофиму Кичко. Статья разоблачительная. Авторы сообщали, что этот гражданин пытается представить себя как «подпольщика», чуть ли не партизана в годы оккупации Винницы немцами. На деле он не был ни тем, ни другим, а сотрудничал с оккупантами.

Знаете, я ко многому привык в России, но такое и меня поразило. Ведь сотрудничество с гитлеровскими оккупантами считалось после войны самым страшным преступлением, и не одна тысяча невинных людей была уничтожена по этому обвинению. А Кичко — книги выпускает, кандидат наук... Что такое?

Я немедленно написал письмо одному крупному украинскому писателю, моему другу. Рассказал про статью и спросил, как же этот Кичко открутился от петли или пули. Письменного ответа я не получил, но вскоре этот писатель приехал в Москву и лично отчитал меня

за наивность. Он объяснил мне, что колоритное прошлое проходимца Кичко прекрасно известно в Киеве всем, кому следует. Но есть заслуги, за которые в России милуют даже коллаборационистов. Кичко это своевременно понял, и еще давно, вскоре после войны, целиком «посвятил себя» антисемитским научным исследованиям (официально это именуется борьбой с иудаизмом и сионизмом). У него даже диссертация написана на эту тему. Такого ценного человека трогать, понятно, нельзя, и следователи КГБ получили партийное указание свернуть дело.

И гитлеровец Трофим Кичко чувствует себя превосходно.

Отлично чувствуют себя и люди, призванные отказывать евреям, скажем, в приеме на работу или учебу. За много лет практики они научились это делать прямотаки артистически. Никто никогда не скажет человеку, что его не принимают как еврея. Что вы, что вы! Скажут, что на эту работу мы предпочитаем взять более молодого сотрудника. Или человека постарше. Или женщину. Или мужчину. А если сказать совсем уж ничего нельзя, если кандидат абсолютно по всем статьям подходит, то его просят позвонить через две недели, ибо пока еще нет ясности со штатным расписанием. А если он настолько глуп, что, действительно, звонит через две недели, то его просят позвонить вновь — на этот раз уже через месяц. И все.

Это лицемерие тоже имеет один печальный психологический результат. Чувствительность многих евреев в России часто переходит в мнительность. Отказ в любой их просьбе, резкое слово, даже косой взгляд они немедленно воспринимают как антисемитизм. Мне случалось подолгу уговаривать людей, что продавец магазина, недовесивший им 50 граммов колбасы, не обязательно действовал из антисемитских побуждений. А если говорить серьезно, то особенно часто приходилось убеждать представителей моей национальности, что рус-

ский народ в целом непричастен к действиям кремлевских нацистов. И более того — что нацисты эти весьма довольны, когда ущемленные евреи или армяне или литовцы начинают питать неприязнь к русским или грузинам или латышам. Тем самым, под шум пропаганды о «дружбе народов», взращивается, бережно культивируется национальная рознь, которая в любой трудный для правителей момент может стать «предохранительным клапаном».

Разумеется, в России есть очень много людей, прекрасно это понимающих. Если они русские — то на своей работе, в своем окружении они гневно ополчаются на любые проявления антисемитизма. Если евреи — не питают никакой вражды к русскому народу. Вот такая, подлинная дружба между народами начальству отнюдь не по вкусу, и если, скажем, русский человек открыто прокламирует свою ненависть к антисемитам — он высоко не продвинется, невзирая ни на какие таланты.

Недавно среди писателей появилась эпиграмма на поэта Сергея В. Смирнова — злобного и бездарного горбуна, антисемита и приспособленца. В четырех коротких строчках эпиграмма исчерпывающе объясняет подлинную суть «дружбы народов»:

Поэт горбат,
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты!

V

Мне хотелось бы еще сделать несколько заключительных замечаний о том, как выглядит расовая дискриминация изнутри страны и как — снаружи.

Попав на Запад и почитав здесь литературу и прес-

су, я почувствовал... как бы это поточнее выразить? Почувствовал, что хоть часто описываются подлинные факты, разговор в целом идет не совсем о том (а, может быть, и совсем не о том), что действительно творится в стране.

Возьмем опять же евреев. О чем беспокоятся на Западе? В первую очередь о том, что нет в русских городах еврейских общин, национальной жизни. Во вторую очередь — что ущемлена религия, закрыто большинство синагог. В третью — что нет еврейского театра, нет прессы на еврейском языке (журнал Вергелиса «Советиш Геймланд» никто на Западе, слава Богу, в расчет не принимает), нет школ и вообще никаких очагов культуры. Все безукоризненно правильно, однакож... вот это и есть «не о том».

Попробую объяснить так. Представьте себе, что есть группа голодающих людей, что их тяжелый голод продолжается десятилетия. А мы будем возмущенно писать в газетах, что этим людям не дают черной икры, омаров и устриц. Понимаете, о чем я говорю?

Для того, чтобы развивать еврейскую национальную культуру и религию, надо сперва устранить дискриминацию, погасить или хотя бы приглушить антисемитизм — словом, дать людям сначала хлеб, а потом уж думать о деликатессах. Ведь если сегодня, не отменив графу о национальности в паспортах и в анкетах, не сняв барьеры и негласные «процентные нормы», открыть десять еврейских газет и сто новых синагог, то газеты не будут покупать, а в синагогах вряд ли будут прихожане. Почему? Ответ поистине ужасен, но правдив: люди еврейской национальности в России хотят, насколько возможно, с к р ы т ь свою национальную принадлежность, а не выставлять ее напоказ. Быть евреем — это, по современным русским понятиям, некий грех, какая-то неопределенная, но вполне ясно ощущаемая вина — словом, это н е п о л н о ц е н н о с т ь. Неда-

ром так много детей, рожденных в смешанных браках, предпочитают числиться русскими; недаром многие евреи меняют фамилии на русские (графа-то в паспорте остается, но твое имя будет звучать «приятнее»); недаром почти все писатели-евреи и журналисты-евреи выбирают русские псевдонимы — легче печататься, на страницах прессы должно быть поменьше рабиновичей и коганов (кстати сказать, я тоже это сделал). Вот ведь в чем главное несчастье — люди доведены до того, что прячут свою национальность, стыдятся ее. Будут ли они ходить в еврейские клубы и посылать своих детей в еврейские школы, даже если то и другое станет возможным?

Как видите, трагедия трех с лишним миллионов российских евреев намного глубже, чем представляется многим западным исследователям вопроса. Я не оговорился — трех с лишним миллионов, хотя последняя перепись дала цифру около 2,8 миллиона. Сама эта цифра показывает тяжесть положения: ведь во время переписи документов не спрашивали, и многие захотели хоть один денек, один раз не быть евреями. Наивно и страшно!

Есть еврейские деятели, особенно сионисты, как огня боящиеся «принудительной ассимиляции» евреев в СССР. Я хочу «успокоить» таких людей: никакой ассимиляции нет, об этом бдительно пекутся нацистские хозяева России. Какая уж тут ассимиляция при паспортах и анкетах — полная диссимиляция! Но если, в конце концов, «сертификаты крови» отменят (а я твердо верю, что они не вечны), то страшиться ассимиляции тоже нечего: в условиях свободы каждый сделает свой выбор, и к возрожденной еврейской культуре примкнет достаточно много людей.

С точки зрения еврея, живущего в СССР, требования западных собратьев насчет синагог, школ, театров и общин нереальны, просто абсурдны. Это где-то в дру-

гом мире, в сладком сне такое возможно. А у нас в России дай Бог, чтобы не ущемляли на работе, на учебе, чтобы не выпускали книг вроде Кичко и Шевцова, не высылали израильских дипломатов и не арестовывали за контакт с ними, не устраивали бы судебных процессов о хищениях со сладострастным смакованием в газетах еврейских фамилий — а там, в дальней перспективе, отменили бы анкеты да «пятый пункт» в паспортах. Вот предел мечтаний!

Вы будете надо мною смеяться, но я буквально остолбенел, когда на шумной лондонской улице впервые увидел стрелку, указывающую куда-то в сторону, и на ней надпись «Синагога такая-то». Первая мысль была в таком роде: как же городские власти разрешают вешать подобные указатели в центре города?! Потом я опомнился, но еще долго, проходя мимо указателя, представлял себе, какие замечания отпускались бы по поводу такой вывески в центре Москвы.

Когда Косыгин в декабре 1966 года посетил Париж, ему задали вопрос о положении евреев. Он ответил в том смысле, что в СССР все нации равноправны. И сказал, что как-нибудь организует пресс-конференцию в Москве с участием представителей всех наций — пусть они расскажут, как хорошо им живется под солнцем дружбы народов.

Если бы такая пресс-конференция была организована, она протекала бы именно по этой программе. Выступил бы еврейский академик, татарский заслуженный артист, эстонский поэт, якутский оленовод. Все как один пели бы осанну дружбе народов и «давали отповедь» злобной буржуазной, в частности, сионистской пропаганде, трубящей о неравноправии.

Это я к тому говорю, что изучение фактической обстановки в Советском Союзе — дело адски трудное. С иностранцами о таких вещах в России не разговаривают, и все, что видят исследователи, — это отсутствие,

скажем, еврейских культурных и религиозных организаций (да и то им стараются подсунуть концерт одной из нескольких еврейских бродячих эстрадных групп, существующих на птичьих правах в России). На связанные с этим вопросы советские лидеры отвечают, что «меры принимаются» — расширяется издание книг еврейских поэтов, существует журнал «Советиш Гейм-ланд», а в нескольких городах, в том числе в Москве, работают синагоги. Чего ж вам еще, буржуазным пропагандистам, надо?

Я буду очень рад, если эта книга хоть в какой-то степени прояснит истинное положение вещей. Но не жду, что лидеры теперешнего режима в России пойдут навстречу требованиям из-за рубежа и переменят свою фашистскую национальную политику. Нет, это сделают сами русские люди, уже сейчас заметно отходящие от шовинизма всех видов, в том числе антисемитизма. Пусть никакие антисемитские выходки отдельных негодяев не заслонят от вас того факта, что в душах русских людей происходит постоянная и все ускоряющаяся эрозия нацизма. В конце концов он выветрится совсем, вопреки провозвестникам сталинско-гитлеровской «дружбы народов», еще сидящим в московском Кремле.

Это и питает мой оптимизм.

Глава VIII

РОССИЯ В ДРЕЙФЕ

Пять причин существования строя. — Что автор обнаружил в самом себе. — Консерватизм, желанный, но невозможный. — Как используют западных «левых». — Кремль слабеющий.

I

Минувшая недавно 50-я годовщина советской власти в России была поводом для новой волны пропаганды сверху и новой волны размышлений снизу.

В области пропаганды, впрочем, отличие от предыдущих лет было только количественным. Никаких позитивных новинок в этой области не придумано: то же «торжество идей коммунизма», те же космические корабли как доказательство «расцвета советской науки и техники под водительством партии», тот же «неслыханный рост многонациональной советской культуры». Затем та же обтекаемая формула о «постоянной заботе партии о благосостоянии советских людей», упоминание о «размахе жилищного строительства», о численности врачей, учителей и инженеров в стране. Наконец, хорошо подобранные и отредактированные цифры, сравнивающие Россию 1913 года с Советским Союзом 1967-го.

Что касается размышлений советских граждан, то в них появилась одна новая тема. Люди теперь подолгу и с некоторым удивлением обсуждают между

собой такой вопрос: почему этот режим держится в стране уже полвека, сколько он еще продержится и каким образом переменится? Споры на подобные «кощунственные» темы идут вовсю, и теперь уже не только в среде интеллигенции, не только в студенческих общежитиях, но и между рабочими. Впрочем, вопрос о том, что надо делать для изменения режима, обычно не поднимается и, поговорив всласть, отведя душу, люди расходятся по домам, чтобы жить по-прежнему. Единственным исключением была для меня беседа с учеными в Сибири, описанная в главе IV.

Я много раз участвовал в таких спорах, принявших более или менее широкий характер после падения Хрущева. На разных уровнях — среди рабочих, студентов, инженеров, журналистов, писателей, юристов — говорилось примерно одно и то же. Мнения людей, если отбросить разнообразие формы их выражения, можно свести к нескольким пунктам:

1. Идеологическая основа режима — движение к грядущему коммунизму. Но в наступление коммунизма, этого земного рая, не верит больше никто. Даже в хрущевское время, когда в программу партии вписали слова «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», верующие еще были. Теперь эти слова запрещено воспроизводить в пропаганде — не потому, что новые руководители честнее, а потому, что напоминать о них с течением времени все более смешно.

2. Но, если коммунизма не предвидится, то это значит, что прошедшие мучительные 50 лет были просто ни к чему. Десятки миллионов жертв во имя коммунизма — это страшно, однако хоть как-то объяснимо. Десятки миллионов жертв без цели — это катастрофа, и строй, допустивший это, должен распасться, как карточный домик.

3. Между тем, принесение жертв про-

должается. Народные массы живут в нищете, движение людей — даже внутри страны, не говоря о поездках за границу — ограничено жесткими полицейскими мерами, законы свирепы, печать и литература за малыми исключениями скучны, развлечения скудны, работа тяжела, жилища тесны и примитивны. Между жизнью советского рабочего или крестьянина и жизнью рабочего или фермера любой западной страны — гигантская пропасть. Почему же все это держится год за годом?

4. Первая причина продолжающегося существования режима — насилие. В руках партийных руководителей мощная армия, многочисленная полиция и грандиозный секретный аппарат Комитета государственной безопасности, чьи агенты работают во всех без исключения советских учреждениях и предприятиях — от сапожных мастерских до Академии наук или посольств за границей. Малейшее поползновение к организованному протесту обнаруживается и подавляется в зародыше. Еретики отсылаются на долгие годы в «исправительно-трудовые» лагеря, где по-прежнему процветают все сталинские ужасы. А сами агенты, хоть они тоже не верят ни в какой коммунизм, продолжают делать свое дело, ибо это их профессия, хлеб, образ жизни.

5. Затем — пропаганда. Головы людей постоянно забиваются марксистскими и псевдомарксистскими теориями о неизбежности данного, сегодняшнего исторического этапа, об обреченности капитализма и т. п. Простой анализ, сопоставление тезисов, опубликованных год назад и сегодня, достаточны, как правило, для опровержения всех этих теоретических построений, но такой анализ — тоже ересь. Надо повторять, не раздумывая, и это бесконечное повторение отнимает у людей способность мыслить самостоятельно. Что и является главной целью пропаганды.

Еще одна сторона пропаганды — невыполнимые обещания, впоследствии замалчиваемые, забываемые и заменяемые новыми, — тоже еще действует, хотя и слабее, чем прежде. Люди начинают вспоминать: в 1957 году было обещано «решить жилищную проблему и дать каждой семье отдельную квартиру в течение 10 - 12 лет», а теперь ясно, что этого и через 50 лет не будет. Или: в 1958 году газеты кричали, что с выполнением семилетнего плана, к 1965 году, уровень жизни советского гражданина превзойдет средний западноевропейский уровень. Семилетний план официально считается выполненным и перевыполненным, а разрыв в уровнях жизни не только не сократился, но увеличился, потому что в 1962 году, в ходе выполнения этого плана, цены были резко подняты без повышения зарплаты. То же самое произошло с обещанной отменой налогов. Поэтому нынешнему более умеренному обещанию — поднять за пятилетие уровень зарплаты на 20 процентов — тоже не очень-то верят, но все-таки есть люди, думающие, что так оно и будет.

6. Следующая причина того, что режим в России все держится, — невозможность прямых сравнений. Житель страны отрезан от мира пресловутым «железным занавесом» — он не ездит за границу (на Запад пускают только «проверенных» и «отобранных»), не получает западных газет (только коммунистические), не разговаривает откровенно с приезжими иностранцами (это опасно), не смотрит лучших западных фильмов (за исключением пессимистических). С 1963 года он имеет возможность слушать по радио русские передачи «Би-Би-Си», «Голоса Америки» и «Немецкой волны», но эти станции осторожны и не без оснований боятся, что их опять начнут глушить: в ЦК партии многие по сей день считают снятие глушения этих станций «ошибкой Хрущева», который якобы поддался уговорам Эйзенхауэра в 1959 году в Кэмп Дэвиде. А более откровенные пере-

дачи радио «Свобода» или «Свободная Россия» тщательно заглушаются по сей день*).

7. Режим держится и потому, что люди в России не знают, чем его можно заменить. Демократический строй по любому западному образцу ассоциируется с понятием «капитализм», а против этого понятия в умах советских граждан существует сильный психологический барьер, выработанный 50-летним антикапиталистическим воспитанием. Подчас самые резкие критики советской системы не принимают капитализма в качестве альтернативы. Они спрашивают: как же так — отдать землю, фабрики, заводы и прочее снова в частные руки? Дать иностранному капиталу закабалить страну? Некоторые задают и такой грустный вопрос: зачем же мы 50 лет подряд пытались построить какое-то новое, не капиталистическое общество?

8. Наконец, в России — если говорить о широких народных массах — нет четкой тяги к политическим свободам. Демократических институтов, основанных на свободном выражении и обсуждении различных взглядов, в России никогда не было. Они начали было развиваться в 900-х годах и быстро дали демократическую революцию в феврале 1917 года. Но последующий октябрьский переворот и затем разгон парламента — Учредительного собрания — были концом коротенького периода свободы, так что средний русский человек так и не почувствовал ее вкуса. А если вы никогда не видели, скажем, сыра и не знаете его вкуса, то вряд ли вы будете упорно стремиться его попробовать. И если вы слепы от рождения, то никто не сможет вам объяснить, как прекрасна

---

*) С 21 августа 1968 года, т. е. с момента вторжения советских войск в Чехословакию, возобновлено глушение всех западных радиостанций, вещающих по-русски.

голубизна неба. Испокон веку на Руси правили князья, потом цари; теперь не цари, так партийные секретари — какая разница!

Эта причина — отсутствие тяги к свободе, политическая пассивность и внутреннее убеждение, что у нас на Руси иначе и быть не может — выглядит несколько отвлеченной и умозрительной. Но она, быть может, самая важная из всех.

II

Тот факт, что в России идут такие дискуссии и делаются такие выводы, сам по себе очень радостен. Он говорит об огромных изменениях, происшедших в сознании гражданина Советского Союза за последние десять-двенадцать лет. До смерти Сталина — и даже некоторое время после нее — Россия была похожа на одну из своих великих рек, скованных сорокаградусным морозом. Эти реки промерзают почти до дна, и только на глубине можно обнаружить слабое движение воды. Но в середине 50-х годов началось то, что покойный Илья Эренбург образно назвал оттепелью. Политический климат в стране потеплел, и ныне подо льдом громко журчат живые потоки. Тем не менее, лед еще не сломан и местами он довольно крепок.

Дело в том, что есть еще одно обстоятельство, помогающее режиму выживать год за годом. Обстоятельство это пока ускользает от граждан моей страны — я тоже не понимал его, не думал о его существовании, пока не попал на Запад. Только здесь оно стало постепенно проступать для меня. Оно открылось мне в моем собственном поведении.

Очень трудно объяснить, как шаг за шагом, живя в интернациональном, многоязычном Лондоне, я стал

улавливать разницу между собою и остальными людьми. С ужасом и жгучим интересом я узнавал, что я не такой, как окружавшие меня англичане, индусы, африканские негры или даже братья по крови израильтяне. Я ничем как будто не выделялся в лондонской толпе, я видел и слышал то же, что все они, — но воспринимал я виденное и слышанное совсем по-другому.

Например, меня смущали и даже коробили открытые разговоры о деньгах. Английский журналист спросил при мне у редактора, сколько тот заплатит ему за статью, — я ужаснулся. Зубной врач, осмотрев рот и назначив лечение, сказал «это будет стоить столько-то» — я подумал: «вот торгаш от медицины!» Две девочки вывесили в окне своего дома плакатик: «Продаются белые мыши по 2 пенни за штуку» — меня поразило, что детям разрешают пускаться в коммерцию.

Я чувствовал вначале совершенно естественное превосходство над такими людьми. Я ведь за всю жизнь ни разу не торговался, не запрашивал цену за мои литературные труды. Я всегда брал, сколько мне давали — а потом, в кругу друзей, иногда проклинал скаредных редакторов. Проклинал? Вот тут-то я и поймал себя на том, что все мое равнодушие к деньгам было сплошным притворством, чистой воды лицемерием. Ведь, живя в России, я всегда нуждался в деньгах, всегда хотел получить побольше. Но никогда открыто об этом не говорил — это не принято, это не по-советски.

В России все вокруг меня нуждались — многие гораздо острее меня, — однако, жалуясь на проклятое безденежье, донашивая продранные носки и подчас недоедая, они, скажем, никогда не просили прибавки жалованья на своей работе. Ибо сказать в России «я хотел бы получить такую-то должность, потому что она выше оплачивается» означает, во-первых, наверняка не полу-

чить эту должность, а, во-вторых, прослыть в глазах начальства и коллег меркантильным человеком, работающим исключительно ради денег. Желая получить нужную вам работу, вы обязательно должны сказать, что чувствуете к ней чистосердечное влечение, призвание, что именно на этой работе, вы уверены, вам удастся принести наибольшую пользу родине. Ваши истинные мотивы будут совершенно ясны начальству и сотрудникам, но правила игры гласят, что о них нельзя упоминать. В Советском Союзе сегодня люди работают ради денег и только ради них; высокооплачиваемые места часто становятся объектами интриг, раздоров, взяток, бесчестных подсиживаний — но все это прикрыто лицемерной фразеологией о высоких материях.

Постепенно открывал я в себе новые и новые язвы двоедушия. Сидевшая напротив меня в вагоне подземки молодая пара время от времени целовалась — я старался не глядеть на них и думал: «Господи, как им не стыдно!» Полгода спустя я убедился, что моя реакция была стандартной для советского гражданина. Вот что, по словам московского писателя Евгеньева, испытывала в Лондоне советская туристка Катя в аналогичной ситуации:

«У стены, возле буфетной стойки, целовались мальчик и девочка... И ни на кого не обращали внимания. И никто на них не обращал внимания. Наверно, одной Катюше было не по себе при взгляде на них. «Синий чулок? Может быть... Но зачем же все-таки так напоказ, на виду у всех?»

В СССР подобное поведение невозможно, потому что на вас непременно обратят внимание. В лучшем случае подойдет какой-нибудь «активист» из числа пенсионеров и, исполненный сознания своей гражданской нравственности, сделает вам публичный выговор за «недостойное поведение в общественном месте». В худшем — может вмешаться милиция. Во всех случаях

на вас будут пялить глаза, будут громко обсуждать «происшествие». А в то же время — может быть, именно потому, что какие-либо намеки на секс запрещены — Россия стала страной половой невоздержанности, повальных супружеских измен, распадающихся семей, беременных школьниц и подпольной проституции. Но человек, постоянно изменяющий жене или обучающий «современных девочек» половым извращениям, никогда не поцелует свою спутницу в метро, даже если он основательно выпил. Его удерживает от этого глубоко впитавшееся чувство — бессознательное лицемерие.

Однажды я увидел подъезд роскошного ночного клуба в Мэйфэйре. Увидел швейцаров в цилиндрах, высаживающих богатых дам из роллс-ройсов. И, не зная совершенно этих дам или сопровождающих их джентльменов, я почувствовал к ним инстинктивную неприязнь, даже вражду. Я думал примерно так: свобода-то свободой, да ведь капитализм — это тоже плохо. Эти идут прокучивать в одну ночь десятки фунтов, а рабочая семья могла бы месяц жить на такие деньги. Я думал так, хотя знал, что контраст между богатыми и бедными в России куда острее, чем при любом капитализме, что рабочая семья в Англии сытно ест, нормально одевается и живет в отдельной квартире, если не в собственном доме. Я знал, что русские рабочие ютятся в «коммунальных квартирах» и у них никогда не хватает денег на еду и одежду. Но я все-таки думал так, потому что богачи в России скрываются за высокими заборами своих вилл и развлекаются где-то в своих кругах, надежно отгороженные от наблюдения заслонами полиции, секретной и несекретной. Я думал так, ибо капиталистическое неравенство зримо, а коммунистическое — скрыто. И, поймав себя на этом, я понял, что так думает подавляющее большинство моих соотечественников.

Те в Советском Союзе, кто имеет небольшое состояние, нажитое даже самым честным путем (некоторые писатели, художники, композиторы, артисты), — всеми мерами стараются скрыть свое богатство: как бы не сочли их «капиталистами»! А чиновники, партийные боссы, живущие в роскоши, проклинают капиталистическое неравенство, классовое угнетение и прочие ужасы в каждой своей речи. Многие из них делают это почти искренне — они тоже заражены бессознательным лицемерием, они полагают, что «работают для народа», а не сидят у него на шее.

Так, анализируя собственное восприятие, проверяя мои открытия на соотечественниках, тоже выехавших недавно из России и как две капли воды похожих на меня, я стал подходить к тяжелым выводам. В самом деле, ведь если даже я, человек, знающий цену советской диктатуре, прошедший лагеря, эмигрировавший из страны, — если даже я насквозь пропитан «советскими» взглядами, суждениями, лицемерием, то что же сказать о миллионах других, принимающих систему как должное?

Очень тяжелый всеобщий недуг живет в душах людей моей страны. Он подкрался исподволь, давно, еще в ленинские времена. Он пышно расцвел при Сталине. Он не диагностируется внутри страны, и люди не знают, чем больны их души. Поэтому неизвестно, сколько времени понадобится на излечение.

Тут я вернусь на момент к статье Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм» — в главе I я обещал вам это сделать. Как вы помните, в этой блистательной статье, направленной против всей советской системы, а не только против «соцреализма», есть неожиданные слова о советской власти. Автор клеймил современное «социалистическое государство», но отделял его от понятия «советская власть». Он писал: «Рассуждая строго логически, «советская власть» и «социалисти-

ческое государство» — это одно и то же. Но эмоционально — это совсем разные вещи. Если против социалистического государства у меня что-то есть (самые пустяки!), то против советской власти я абсолютно ничего не имею. Это смешно? Может быть. Но это и есть романтизм».

Увы, это не романтизм проявился у Андрея Синявского. Этот умнейший, образованный, трезво мыслящий писатель был жертвой той же болезни — бессознательного, безотчетного лицемерия. Главный симптом болезни — нарушение логики рассуждений. Автор, как видно из приведенного отрывка, понимал нелогичность своей позиции, но болезнь сидела глубоко и в тот момент пересилила. Здесь, на Западе, я десятки раз замечал нарушения логики в собственных мыслях, но вся суть в том, что я никогда не замечал их, пока жил в России. Там они — не отклонение, а норма.

Я боюсь, что этот вирус лжи и лицемерия, растворенный в крови российских жителей, лучше всего помогает современным диктаторам удерживать власть. Хотя выздоровление и начинается, но идти оно будет, по моему убеждению, медленно и долго.

III

«Главное, что происходит у нас в России, — это то, что ничего не происходит! — сказал мне в Москве друг, молодой историк. — Сто тридцать лет назад Пушкин кричал: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом!» — и этот крик может повторить сегодня любой честный поэт». Полгода спустя, уже в Лондоне, я услышал от эмигранта (тоже, кстати, историка): «Россия находится в состоянии стагнации. И она может простагнировать так еще пятьдесят или сто лет».

Я понимаю и разделяю отчаяние обоих моих собеседников — и московского и лондонского, — но с о г л а -

ситься с ними полностью не могу. Медленность и трудноуловимость изменений не означает их отсутствия. Кроме того, все усилия властей направлены на удержание, сохранение, консервацию режима; власти не мечтают ни о каком развитии — только о статус кво; при таких условиях замечать изменения особенно трудно. И все-таки их можно не только заметить, но и объяснить и предсказать.

В послевоенные годы мир сделал, выражаясь по-китайски, большой скачок вперед в области техники и коммуникаций. Сама по себе техника, тем более сами по себе коммуникации, русским лидерам ни к чему — они цинично считают, что российский обыватель нуждается только в хлебе (легко объяснить их бешенство по поводу романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», вышедшего в 1956 г.). Но, к огорчению лидеров, держать страну в стороне от технического прогресса сегодня невозможно. Это невозможно просто потому, что для удержания власти надо иметь современное оружие, а оно технически очень сложно. И потому еще Сталин резко поднял оплату ученых, поэтому Хрущев создал сказочные условия ракетчикам и другим военным специалистам, поэтому Брежнев с Косыгиным так озабочены автоматизацией и повышением производительности труда.

Все это неизбежно ведет к росту веса и влияния научно-технической интеллигенции в обществе. Специалистов нельзя держать взаперти, их волей-неволей приходится время от времени выпускать на международные конференции, на осмотры зарубежных предприятий и выставок; приходится устраивать иностранные выставки у себя.

Люди, сбросившие в 1964 году Хрущева, поняли, как напряглось экономическое положение и к каким далеко идущим результатам это может привести. И они поставили задачу: перевести руководство экономикой на научные рельсы.

В первую очередь это означало резко увеличить количество электронно-вычислительных машин, ввести операционные исследования, линейное программирование, сетевые графики и прочие новинки современного капитализма. Но выявились две вещи: во-первых, нужное количество электронно-вычислительных машин не будет достигнуто и через 20 лет при полном напряжении сил; во-вторых, машины хороши только тогда, когда их решения проводятся в жизнь, — а в России это не удается из-за постоянной нехватки материалов, транспорта, квалифицированного персонала. И драгоценнейшее время даже существующих электронных машин чаще всего пропадает впустую. Кроме того, действует тот же консерватизм: руководители предприятий считают все эти «электронные мозги» модной игрушкой. Мода пройдет, и будем опять работать как работали, а пока надо делать вид, что заинтересованы, потому что мода идет сверху.

Затем, надо было как-то наладить внедрение новой техники. И вот на всех заводах, во всех институтах появились патентные отделы и бюро. В них почти нет юристов — советские институты не выпускали до сих пор специалистов по патентному праву — и они допускают тяжелые ошибки в работе, но они учатся на этих ошибках. Учатся только и исключительно у Запада. А это означает новое, вынужденное расширение контактов.

Наконец, потребовалось организовать трудовой процесс рабочего, чтобы поднять хоть немного производительность труда, ужасающе низкую в стране. И появилась НОТ — сокращенно «научная организация труда». А что такое НОТ? Это система производства, разработанная Тейлором и примененная полвека назад Фордом. Советские специалисты начинают сегодня постигать ее азы.

Прибавьте к этому главный рычаг экономической

реформы Косыгина — п р и б ы л ь — и посмотрите, какая любопытная получается картина.

Вводятся э л е к т р о н н ы е м а ш и н ы — после того, как совсем недавно кибернетика числилась «буржуазной идеалистической лженаукой»;

вводится изучение п а т е н т о в , покупка лицензий — после того, как стоял шум на весь мир о «приоритете русской науки»;

вводится с и с т е м а Т е й л о р а — после того, как тридцать лет подряд пропаганда твердила о бешеной капиталистической эксплуатации рабочих на основе тейлоризма;

вводится примат п р и б ы л и — этой отвратительной капиталистической категории, убедительно разоблаченной Марксом как нечто, выколачиваемое предпринимателями из рабочих.

Экономически это означает полную и безоговорочную капитуляцию перед капиталистической системой, молчаливое признание ее достижений и подражание ее образцам. А политически?

Хозяева страны понимают, я думаю, что перенести все эти «ростки капитализма» на коммунистическую землю и сохранить изоляцию страны, статус кво за железным занавесом — дело гиблое. Они знают, как, в общем, благожелательно рассматривают на Западе все эти заимствования. Они слышат западные разговоры о «конвергенции» — постепенном срастании, сближении двух мировых систем на основе либерализации в коммунистических и централизации в капиталистических странах. Они все это знают — и корчатся от ужаса: либерализация немедленно вышибет из-под них абсолютистские троны. Задолго до проблематичной конвергенции они будут сброшены и, может быть, судимы за преступления. Нет-нет, только не сближаться с Западом. Не может быть мирного сосуществования идеологий! (подлинные слова Хрущева, повторяемые и сегодня).

Что же им, бедным, делать? Чтобы выжить экономически, надо заимствовать капиталистические методы; чтобы выжить политически, надо отмежевываться от капитализма, поддерживать активную вражду к нему. Консерватизм, так хорошо насаженный в тридцатых годах, надо теперь ломать своими руками — но не значит ли это рубить сук, на котором сидишь?

Таковы гамлетовские терзания сегодняшних русских лидеров. Они отражаются тяжелыми конвульсиями, рывками вправо-влево, на всей стране. Дают больше самостоятельности, больше свободы предприятиям — и сажают в тюрьмы писателей и студентов. Поднимают мутную волну антисемитизма в связи с ближневосточным кризисом — и снимают нацистские ограничения с крымских татар (это сделано 8 сентября 1967 года, когда глава VII этой книги уже была написана).

Но, как бы то ни было, я сумел, надеюсь, показать в этом разделе, что изменения в России все-таки идут, что они имеют известную закономерность, и в целом, если не учитывать волнистость, зигзагообразность развития, дрейф идет в сторону либерализма.

Что же касается угрозы, которую либерализм несет советским вождям, то для борьбы с этой угрозой они пока имеют кое-какие средства. И эти средства достойны особого разговора.

IV

Из того, что говорят и делают в последние годы руководители Советского Союза, можно вывести строгую закономерность: чем больше и откровеннее заимствуются западные достижения, тем свирепее делается антикапиталистическая и вообще антизападная пропаганда в России. Не нужно думать, будто авторы грубых и неумных статей об «ужасах капитализма» действительно

задыхаются от ненависти к нему. Большей частью они его даже любят и, будучи людьми доверенными, нередко выезжают за рубеж «поразлагаться» (модное циничное словечко, не так давно появившееся в русском обиходе). Статьи они пишут в порядке выполнения служебных обязанностей — как говорил Лев Толстой, «делают подлости по двугривенному за штуку». Сами они не верят ни слову из собственных писаний и не питают иллюзий насчет того, что им поверят образованные люди.

Для чего же со всех советских пропагандистских амвонов возглашают анафему капитализму? Это необходимо русским лидерам для двух целей: для обработки широких народных масс и для отражения китайской пропаганды.

Пропаганда, направленная на массы, больше не может вызвать у них любви к собственному правительству; но она еще в состоянии вызвать ненависть к другим государствам. Никакая диктатура вообще не может существовать без внешних врагов — это старое правило, — но ярость нынешней антикапиталистической клеветы в России объясняется тем, что клевета должна прикрывать подражание капиталистическим методам. Старый пропагандистский тезис «у нас лучше, чем у них» ныне снят, как не вызывающий доверия, но есть новый: «у нас есть проблемы и трудности, но мы строим коммунизм, а у них при внешнем показном благополучии внутренняя пустота и бесперспективность». Этот тезис, особенно вторая его половина, пока работает, и рядовой русский рабочий или колхозник все еще сочувствует своим западным коллегам, живущим среди «язв капитализма».

Вторая цель антизападного, в особенности антиамериканского треска — К и т а й. Пропаганда Мао постоянно обвиняет русских лидеров в «сговоре с американскими империалистами» — и вот надо изо всех сил показывать, что сговора нет. Больше того, советская прес-

са при случае непрочь сама обвинить Мао в «тайных махинациях с империализмом», не замечая, какой злой шуткой эти обвинения оборачиваются против их авторов. Сравнительно недавно, после беспорядков в Гонконге, «Правда» заявила, что маоисты «предали гонконгских трудящихся английскому империализму» и что Мао Цзэ-дун не желает ликвидировать «зловонный очаг английского империализма на китайской земле», ибо получает барыши от гонконгских купцов.

Из сказанного ясно, что на прекращение или даже смягчение тона советской антизападной пропаганды рассчитывать в ближайшее время не приходится. Скорее напротив: она будет делаться еще злее, еще лживее. Это контрастирует со всеобщим западным стремлением к мягкости и взаимопониманию с русскими, это разочаровывает и обижает многих западных дипломатов, писателей, политических деятелей. В утешение им скажу, что не нужно переоценивать русских проклятий: они направлены лишь по форме на запад, а по существу — только внутрь и на восток.

В то же время не надо думать (как думают сейчас, например, многие весьма ответственные американцы), будто терпеливость и мягкость со стороны западных держав смогут убедить «этих подозрительных русских» в добрых намерениях американцев или англичан, будто мягкость тона с запада вызовет в конце концов ответное смягчение тона с востока. Дело обстоит как раз наоборот: не очень обремененные моралью русские лидеры рассматривают западную вежливость т о л ь к о как признак слабости и боязни — они судят по себе. Отсюда вывод: люди в Кремле уважают только твердый, строгий тон, за которым усматривают скрытую силу. Они наглы, но трусливы (эти качества всегда идут об руку), и делаются тем мягче, чем тверже с ними говорят. Создается впечатление, что Кеннеди понимал это во время

кубинского кризиса, а потом это понимание было полностью утрачено.

Я оговорился в начале этого раздела, что грубая антикапиталистическая пропаганда не действует больше на русскую интеллигенцию. Власти это, по-видимому, понимают. И для удержания интеллигенции хоть в какой-то пропагандистской узде у них есть особый рецепт. В аптекарских терминах я назвал бы этот рецепт «левым противоядием».

В Америке, Англии, Франции, Западной Германии, Италии — везде на Западе — есть множество людей, недовольных по тем или иным причинам жизнью. Нет, не плохая пища, не теснота квартиры и не дырявая одежда вызывают их недовольство — наличие всех элементов жизненного комфорта они принимают как должное. Они даже обижаются, когда им намекают, что они имеют автомобиль и спят в отдельной спальне — они интеллектуальны и презирают эти бытовые мелочи, эти капиталистические подачки. Против правительств, противостоящих существующих гнилых государственных институтов бунтует их гордый дух. Они бичуют, протестуют, разоблачают, они глаголом жгут сердца людей. Они придерживаются разных взглядов, иногда противоположных убеждений, одни религиозны, другие атеистичны, третьи анархисты, четвертые централисты, пятые коммунисты — но все они с удовольствием называют себя левыми. Придерживаться левых, по возможности радикальных взглядов — это сейчас модно на Западе как сверхкороткие юбки или псевдоантичная мебель.

Сам по себе факт безнаказанного (и часто безбедного) существования левых с их ярко выраженными антиправительственными взглядами и действиями свидетельствует о наличии свободы в их странах, а не о ее отсутствии. Но этого они не замечают, и излюбленная тема левых речей, левых статей, левых митингов — ограничение, подавление свободы.

Что ж, в принципе левая оппозиция полезна для демократического строя. Ее немедленная критическая реакция на каждый промах властей делает эти промахи видимыми и помогает их ликвидировать. Оппозиция слева принуждает правительства уделять больше внимания нуждам бедных слоев населения — это тоже прекрасно. Очень плохо другое: сегодня западные левые стали главным средством, главным инструментом и оружием советской диктатуры в борьбе против собственной прогрессивной интеллигенции.

Давайте не касаться сейчас членов коммунистических партий западных стран. Они, как правило, хорошие, честные люди и не отдают себе отчета в особых отношениях между их руководителями с одной стороны и советской партийной верхушкой и Комитетом госбезопасности СССР — с другой. Давайте не говорить о них еще и потому, что западные коммунисты почти не используются в России для обработки интеллигентских мозгов. Коммунисты, даже западные, не вызывают больше доверия в среде российских интеллектуалов. Ими пренебрегают как платными агентами КПСС, хотя, повторяю, лишь малая часть коммунистов мира заслуживает такого прямого обвинения. Давайте, стало быть, вести разговор о людях, не принадлежащих к компартиям.

Эти люди, среди которых есть весьма значительные писатели, философы, ученые, художники, видят в своих странах только темные стороны, только скверные, отталкивающие явления. Но, если так, то должен же быть где-то другой, светлый полюс. С целью его отыскания они едут на месяц в Советский Союз и возвращаются в полном восторге. Ну, по правде сказать, не совсем в полном восторге, но какие-то там мелочи быта проходят мимо их внимания. Подлинный интеллектуал выше этого, особенно если он квартирует в трехкомнатном номере отеля класса «люкс» с видом на волшебный Кремль и поедает высокосортную черную икру на завт-

рак. Зато какие они милые люди, эти русские, как откровенно говорят, наряду со своими крупнейшими достижениями, о переживаемых ими некоторых трудностях! Какие у них грандиозные планы! Какую удобную рабочую квартиру удалось случайно посетить! Какими массовыми тиражами издают они мои книги!

И далее в том же духе.

За бесплатное или почти бесплатное проживание в отелях, за путешествия к теплому Черному морю и потребление черной икры благодарный западный интеллектуал пишет книгу того же черного цвета о стране, откуда он приехал. Этого только и надо его гостеприимным русским хозяевам. Если в книге, наряду с проклятиями по адресу капитализма, есть восхваления Советского Союза — это совсем хорошо. Но если и нет — тоже не страшно, не было бы только критики. Книгу издадут тиражом в полмиллиона и будут о ней писать в газетах куда похвальнее, чем о произведениях Шекспира. Автора назовут великим и прогрессивным — а такого искушения не способен выдержать даже человек, умеющий при случае отказаться от Нобелевской премии (простите, это, кажется, прозвучит диссонансом, но когда Жан-Поль Сартр отказался от присужденной ему премии, русские интеллигенты с ненавистью говорили: если бы ему было нечего жрать, взял бы премию как миленький! И добавляли по адресу апологета экзистенциализма такие чисто русские эпитеты, которые воспроизвести в печати, увы, невозможно).

Надеюсь, вам уже понятен рецепт, прописываемый советской пропагандой интеллектуалам. Смотрите, говорят им, вот свидетельства великих и прогрессивных писателей Запада о том, что такое капитализм. Это говорят вам не коммунисты, а люди, далекие от коммунизма (последнее выражение — «далекие от коммунизма» — принятая пропагандистская формула, и чем дальше

автор «черной» книги от коммунизма, тем в данном случае лучше).

Примите теперь во внимание, что никаких других книг о капитализме, кроме этих вот «прогрессивных», в России не издают, и получить западные издания других книг рядовой русский интеллигент тоже не может. Об этом заботятся такие учреждения, от существования которых в СССР западные левые стараются всячески отмахнуться, — цензура и секретная полиция. Что же остается русскому интеллигенту? Прочесть Сартра или какого-нибудь Силлитоу или даже блистательного Грэма Грина или великолепного Сэлинджера — и подумать: ах, черт, если уж такие компетентные люди резко критикуют капитализм, значит, он и вправду несладок. Видимо, ничего не остается, кроме как терпеть наш режим.

На этот эффект власти и рассчитывают, отбирая книги западных писателей и журналистов для перевода на русский и устанавливая тиражи. Вот, кстати, занятный факт по этому поводу: издательство «Мир», выпускающее переводы, — единственное в стране, не указывающее тиражей своих изданий. Стоит, пожалуй, еще разъяснить, что установление тиража в СССР — акт чисто политический, а не коммерческий: тираж устанавливается заранее, в зависимости от идеологической ценности книги и не имеет никакого отношения к последующему спросу. Это ведет к тяжелым экономическим жертвам, но, как любят выражаться пропагандисты в СССР, идеология выше торгашеских соображений.

Однако книги левых литераторов Запада — лишь один из инструментов в этом дьявольском наборе. Не все ведь левые — писатели, не все они пишут книги. И не надо. Одни пишут книги, другие ставят подписи под протестами против войны во Вьетнаме, третьи выступают в газетах, четвертые пикетируют Белый Дом, пятые делают просоветские доклады в обществах дружбы, шестые приезжают в СССР и дают соответствующие ин-

тервью советским журналистам. Все идет в дело, все публикуется в России. Бумаги на это всегда вдоволь — ее не хватает только на издание «Доктора Живаго» или романов Солженицына или поэм Бродского...

Правда, иногда левые вдруг высказываются «не по программе». Они ведь — за исключением кучки профессионалов, сделавших левизну источником существования, — безупречно честные и гуманные, только несколько наивные люди. И гнилой буржуазный гуманизм в сочетании с милой наивностью иногда побуждает их протестовать, например, против отправки на каторжные работы русских писателей. Но подобные высказывания левых печатает, увы, только продажная западная пресса. Правдивая печать СССР о них благородно молчит.

Не могу удержаться от того, чтобы привести недавнее (сентябрь 1967 года) высказывание западногерманского писателя Генриха Белля (далекий от коммунизма, но великий и прогрессивный). Вместе с группой своих коллег Белль протестовал одновременно против войны во Вьетнаме и против приговора Синявскому и Даниэлю. То, что он пишет об этом — подлинный перл левого мышления:

«Все западногерманские газеты, а их несколько сот, опубликовали наш протест против ареста обоих советских писателей, но лишь немногие из них (разрядка моя. — Л. В.) — и протест против вьетнамской войны... Я полагаю, что в социалистических странах было наоборот: там были напечатаны или упомянуты лишь наши протесты против вьетнамской войны, а протест против ареста обоих писателей был либо замолчан, либо прокомментирован в том же издевательском тоне, как здесь наш протест против войны во Вьетнаме».

Видите, до чего прогрессивен герр Белль: он даже допускает, что «и там не очень хорошо, и здесь плохо». Он ставит этакий знак равенства между западногерманской и восточно-европейской прессой. Так-то так, но од-

на мелочь несколько портит нарисованную им картину: «немногие» западногерманские газеты, как пишет Белль, все-таки опубликовали его вьетнамский протест. И цензура им не помешала, и редакторов не забрали наутро в полицию. А в социалистических странах «были напечатаны или упомянуты только протесты против вьетнамской войны» и не нашлось почему-то ни одной газеты, осмелившейся напечатать — просто напечатать, а не издевательски прокомментировать — протест против ареста Синявского и Даниэля. Почему бы это, как вы думаете, уважаемый герр Белль?

Впрочем, задавать такие вопросы левым — дело довольно безнадежное. Вразумительного ответа, что они думают об уровне жизни в СССР, о свободе слова и печати в России, о лагерях, слежке и подавлении — вы никогда не получите. Вместо этого они всегда твердят одно: «А на Западе тоже не лучше: во Вьетнаме идет война, а в Детройте — негритянские волнения».

Когда я впервые попал в Англию и основательно поговорил с местными левыми интеллигентами (не коммунистами!), мне сперва стало страшновато, потом смешно и неловко за них. Но скоро я нашел для себя утешение: я вспомнил, что в середине тридцатых годов, во время кровавого сталинского половодья, левых на Западе было тоже немало. И к их числу принадлежали люди, даже более крупные, чем мсье Сартр или герр Белль — ну, скажем, Ромэн Роллан и Лион Фейхтвангер. И «те» левые, образца тридцатых годов, были даже более просоветскими, чем нынешние — теперь-то ясно, что без известных оговорок обходиться нельзя.

Но все-таки: имеющие уши да слышат! Господа левые, понимаете ли вы, как вас используют в Советском Союзе? Хотите ли вы быть использованы таким образом для нужд диктатуры и для подавления свободы, о которой так печетесь?

Я скажу еще одну вещь и, надеюсь, меня поймут

правильно. Когда левые сочинения против капитализма и буржуазной демократии публикуются в России — это в какой-то степени действует, помогает русским лидерам справляться с интеллигенцией. Но когда левый вдруг перестает быть левым и отрекается от своих ошибочных взглядов, это действует — в обратном направлении — гораздо сильнее. И в России об этом всегда быстро узнают. Во-первых, о таком «дезертире» моментально перестают упоминать в советской прессе, и чуткие русские понимают: ага, что-то не так. Во-вторых, иногда «бывшим левым» дают отповедь на страницах советских газет, и эта злобная ругань по адресу человека, только что ходившего в «великих и прогрессивных», всегда радует мыслящих людей в России: ну, слава Богу, еще один поумнел!

Так было, если брать последние годы и примечательных людей, с американским писателем Говардом Фастом. Его произведения печатали сказочными тиражами, играли на сценах, ставили в кино. Потом Фаст взял и написал честную книгу «Голый бог». После некоторого замешательства московская «Литературная газета» опубликовала истерическую статью советского писателя-жандарма Грибачева на всю первую страницу под выразительным заголовком «Говард Фаст — псаломщик империализма». И статья эта, против воли советских идеологов, дала интеллигенции больше, чем многие подпольные антисоветские сочинения.

Между прочим, у меня с этой статьей Грибачева связано поразительное воспоминание. Буквально за две недели до ее появления я с восторгом «проглотил» первую часть автобиографии Артура Кестлера «Стрела в небесной синеве» (разумеется, я получил ее нелегально). А. Кестлер жил в Германии в начале тридцатых годов и великолепно описывает атмосферу перед приходом Гитлера. Он работал тогда в прессе Ульштейна, а этот газетный концерн ежедневно подвергался зверским

нападкам фашистов как либерально-демократический и к тому же еврейский. Особенно старался в своей газете доктор Геббельс, статьи которого появлялись каждое утро. «Это неудивительно, — замечает А. Кестлер, — мы ведь придерживались всего того, что Геббельс особенно ненавидел». Дальше автор ставит двоеточие и перечисляет, что же именно ненавидел будущий гитлеровский идеолог. На первом месте стоит «безродный космополитизм»!

У меня, помню, тогда дух перехватило. Вот, значит, откуда заимствовали советские идеологи борьбу с «безродным космополитизмом», которая развернулась в России через пять лет после смерти доктора Геббельса! Даже прилагательное «безродный» взяли у нацистов без изменения.

И вот я читаю статью Грибачева «Говард Фаст — псаломщик империализма» — и вдруг натыкаюсь на такой пассаж: «Господин Фаст сердится на нас еще и за то, что мы против космополитизма. Неважно, кто первый сказал «э», важно, что космополитизм...» И далее всякие нехорошие слова по адресу космополитизма. Понимаете? Грибачев-то читал книгу Фаста «Голый бог», а там сказано, откуда пошли гонения на «космополитизм». Но признать это перед советским читателем нельзя было. Как ответить Фасту и в то же время не объяснить, на что отвечаешь? Грибачев и придумал такую фразу, которая понятна Фасту и вообще Западу, но совершенно бессмысленна для неосведомленного советского читателя. А я, прочитавший только что Кестлера, понял цинизм Грибачева.

Совсем недавно, в 1966 году, тот же Грибачев накинулся на другого, на сей раз западногерманского писателя — Карл-Людвига Опица. Романы Опица триумфально издавали до тех пор и в СССР и в Восточной Германии, много платили, приглашали в эти страны. Увидев, каково положение за железным занавесом в

действительности, К. Опиц не выдержал и написал сатирический роман «Большевита». Статья Грибачева, на сей раз выдержанная в менее хамском тоне (времена меняются!) тоже сослужила хорошую службу русской интеллигенции, помогла лучше оценивать писания западных левых.

Для чего я рассказал эти два эпизода — два из многих? Для того, чтобы намекнуть честным западным либералам, что у них есть отличный способ помочь русской интеллигенции. Пишите правду о Советском Союзе, господа, а не исходите в своих сочинениях из предпосылки, что холодная война кончилась, и теперь надо похлопывать коммунистов по плечу. Холодная война прекращена только одной стороной — западной. Прислушайтесь — услышите гром московских пропагандистских пушек.

Я боюсь, что либерально настроенные люди на Западе поймут меня так: чтобы помочь русской интеллигенции в борьбе с диктатурой, надо перестать критиковать капитализм. Я ни в коем случае так не думаю, ибо это означало бы конец демократии, да и вообще было бы верхом наивности с моей стороны. Дело совсем в другом: надо просто понять, что строй в Советском Союзе ни при каких условиях не может быть альтернативой. Что этот строй только в одном смысле лучше германского фашизма — в своем отношении к евреям и цыганам. Во всех остальных отношениях советский строй гораздо хуже гитлеровского (жизненный уровень людей, технические достижения, пропаганда, численность заключенных в лагерях, цензура, ограничения в передвижении жителей, образование, медицинская помощь, сельское хозяйство — сравнивайте, что хотите). Кроме того, лидеры КПСС намного лицемернее нацистов. Те выражали свои людоедские стремления с примитивной откровенностью, чем отталкивали либералов; эти применяют фразеологию, на которую все левые клюют как рыба на жирного червяка, — мир, труд, свобода, равенство,

братство и счастье. Не уподобляйтесь же рыбе, господа, червяк насажен на смертоносный крючок!

Остается сказать несколько слов по поводу отношения сегодняшней русской интеллигенции к западным либералам — к этим «прогрессивным» друзьям КПСС.

Какого-то одного определенного отношения к ним пока нет — во всяком случае, нет ненависти. Часть интеллигенции — и не малая — прислушивается к ним всерьез, а часть даже принимает их точку зрения за «мнение Запада» (не забывайте, что противоположных мнений в России не публикуют, и русский читатель воспитан на том, что существует о д н о правильное мнение, а остальные ложны). И если некие «прогрессивные» люди на Западе сомневались, например, в подлинности записок Пеньковского, неодобрительно отзывались о действиях Синявского и Даниэля (были и такие), бранили Светлану Сталину за то, что она покинула родину, то их точка зрения тоже преподносилась советскому гражданину как «мнение Запада».

Но часть интеллигенции — наиболее мыслящие люди и те, кто побывал на Западе и понял истоки просоветских настроений среди левых — уже относится к западным либералам несколько иначе. Большей частью это отношение — снисходительное. Хорошие, дескать, люди, но что с них взять — ничего ведь в нашей жизни не понимают и верят, будто у нас социализм. Когда приезжий левый пытается затеять откровенный разговор со своим советским коллегой или знакомым, тот обычно уклоняется от резкой критики режима. Даже иногда не из страха, а потому, что либералу, пылающему гневом против капитализма и американских зверств во Вьетнаме, очень трудно объяснить истинное положение вещей в получасовом разговоре. И либерал получает те ответы, на которые рассчитывает. Как я говорил уже в первой главе, русский человек гостеприимен и общите-

лен, но полностью он раскрывается исключительно редко и только в абсолютно своей среде.

Есть небольшая прослойка русских интеллигентов, понимающая положение как оно есть. Эти люди видят, что либералы с Запада невольно стали оружием партии в грязной войне против свободной мысли. И иногда у них вспыхивает ненависть, но они, повторяю, люди тонкие и умные — они не дают воли этой ненависти. Они понимают, что среди «великих и прогрессивных» лишь немногие просто продаются, а остальные искренне заблуждаются. Но эти люди в России пока не видят, каким образом можно вывести западных левых из их заблуждений, если даже открыто публикуемая на Западе правда об СССР на них не действует.

Лишь некоторые, особенно наивные поступки левых — всегда хорошо рекламируемые советской прессой — выводят многих русских интеллигентов из себя. Так было с уже упомянутым мною отказом Ж.-П. Сартра от Нобелевской премии, так было со стокгольмским «трибуналом», судившим президента США Джонсона за войну во Вьетнаме. Из России это предприятие лорда Рассела и того же Сартра выглядело примерно так, как если бы в 1944 году кто-нибудь стал судить Уинстона Черчилля за войну в Африке. Кроме того, русские помнят, что лорд Рассел еще не так давно числился в советской пропаганде «фашистским мракобесом и человеконенавистником». Немудрено, что такие ультралевые выходки вызывают у мыслящих людей в России (увы, пока только у них), мягко говоря, раздражение.

Во всех западных странах левые страшно любят писать о «происках» Центрального Разведывательного Управления США — Си-Ай-Эй (в России его называют ЦРУ). В статьях, публикуемых в Советском Союзе, американские и прочие левые с серьезным видом рассказывают, как Си-Ай-Эй тайно субсидирует различные организации, как граждане США протестуют против дей-

ствий Си-Ай-Эй и так далее. Авторы этих, возможно, правдивых статей стараются доказать, что за ужасная организация это самое Си-Ай-Эй. И не понимают они, бедные, что страшные сказки об американской разведке вызывают у русского читателя только веселый смех. Читатель думает так: если даже все это святая правда, то какая детски невинная у них разведка. Им бы наш КГБ — они бы знали, как протестовать против его действий! Подобные публикации только укрепляют русских читателей во мнении, что западные «прогрессивные» — своего рода младенцы, которые никогда не вырастут. Они играют в свои демократические игрушки — ну и пусть играют, если это им нравится. Что у нас творится на самом деле — им никогда не понять.

Итак, в целом отношение русской интеллигенции к либералам и радетелям свободы на Западе — неплохое. Добродушное отношение, несмотря на приносимый вред. Но я не уверен, что все левые на Западе будут рады узнать о таком к ним отношении. Они ведь вполне искренне считают себя борцами, идущими впереди, и полагают, что гостеприимные и хлебосольные советские друзья относятся к ним всерьез.

V

Ученые говорят, что континенты не стоят на месте, они медленно движутся. Этот дрейф континентов нельзя заметить, но он продолжается. Россия в смысле общественно-политическом — как раз такой дрейфующий континент. Сильного и определенного движения в какую-либо сторону вы в ней не заметите, и многие серьезные люди считают, подобно итальянскому коммунисту Пазолини, что «революция в России остановлена». Мы, однако, лучше поймем происходящее в стране, если будем говорить не о движении, а о дрейфе.

Дрейфующий корабль или льдина в океане никогда не следуют по прямой. Они отклоняются вправо, влево, отплывают назад, описывают зигзаги и петли. Моряки в дрейфе не знают, где они окажутся завтра или через час. Жители моей страны понятия не имеют, что ждет их на следующее утро — повышение или снижение цен, арест писателя или публикация очень смелого произведения, разрыв дипломатических отношений или восстановление дружбы с Китаем, возведение секретаря ЦК партии в сан «генерального» или его неожиданное смещение. Яростный идеологический нажим сменяется периодом относительного смягчения, потом выясняется, что это смягчение было «ошибкой прежнего руководства», слухи о захвате власти Шелепиным оборачиваются его изгнанием из ЦК, призывы к пользованию только общественным транспортом и атаки на «частников», имеющих собственные автомобили, вдруг заменяются разговорами об увеличении производства автомобилей личного пользования, враждебный властитель Франции и известный антикоммунист генерал де Голль оказывается другом, а выдающийся коммунист Мао Цзэ-дун превращается в заклятого врага. Еще больше всяких «движений», «починов» и «кампаний» умирает и забывается, едва появившись. То «трудовые паспорта» для всех граждан, то антирелигиозная кампания, то крики, что советские космонавты будут первыми на Луне, то сообщения о ненужности дорогостоящей лунной гонки, то «добровольцы — в Сибирь», то «борьба с тунеядцами», то разрушение собора в Клайпеде, то организация общества по охране памятников, в том числе церквей... Поверьте, так можно исписывать страницу за страницей.

Самое странное чтение в России — это чтение старых газет, например, годичной давности. Мелькают имена, ныне запрещенные к упоминанию, идет речь о каких-то «движениях за передачу станков на заводах под

социалистическую сохранность рабочим» (а читатель уже знает, что это было объявлено бюрократической затеей), через каждое слово упоминается «двадцатилетний план», а о нем давно нельзя говорить — и так далее.

Это и есть дрейф, неопределенность движения, отсутствие цели. Но посмотрите на карту дрейфа, скажем, нансеновского «Фрама» или советских полярных станций в Северном ледовитом океане. Из всех зигзагов, петель и отклонений возникает все же некая основная линия перемещения — льдину из Ледовитого океана, например, выносит в конце концов на открытую воду Атлантики. Есть общее направление и у дрейфа, в котором лежит сегодняшняя Россия.

Не все еще отдают себе в этом отчет, но миллионы русских уже чувствуют инстинктивно: центральная власть в стране ежедневно и непрерывно слабеет. Многие приказы и громовые постановления Кремля попросту игнорируются на местах, и никого даже нельзя за это наказать, потому что неизвестно, кто, собственно, игнорировал. Во исполнение постановления областные организации тоже приняли соответствующие решения, на бумаге все чин по чину, а дела никакого не сделано. Если начинать полное расследование, доискиваться до виновных, то придется потратить много дней, и список подлежащих наказанию будет неимоверен. Это понимают в центре — и не проводят расследования. Вместо этого «спускают» на места новое постановление, которое так же точно не выполняется.

Или возьмите печать. В прежнее время острая критическая статья в «Правде» против, скажем, какого-нибудь директора совхоза была могилой для такого человека. В сталинские времена часто могилой в буквальном смысле, а потом — в смысле жизненной карьеры. Доводов человека никто не выслушивал, аргументы газеты не проверялись, ибо сомневаться в обоснованности высказываний «Правды» было страшной крамолой. Челове-

ка единогласно исключали из партии, выбрасывали с работы, иногда отдавали под суд. Потом в «Правде» появлялась коротенькая заметка — «По следам выступлений»: такой-то и такой-то в результате вмешательства «Правды» разжалован, такой-то отдан под суд и прочее.

Теперь совсем не то. Влияние даже «Правды», не говоря уж о других газетах, резко упало. С газетами спорят, указывают на «неточности» в статьях и отнюдь не спешат с расправой над людьми. Часто даже верные и хорошо аргументированные газетные обвинения по адресу местных чиновников повисают в воздухе, потому что местные власти хотят «прикрыть», сохранить своего человека. Советским газетам предписывается быть настойчивыми и добиваться определенных последствий каждого выступления. Они, бывает, по несколько раз возвращаются к одной и той же теме, настаивают на наказании «виновных». В конце концов слышишь в редакции такое: ну, слава Богу, по статье о беспорядках на Южно-Уральской железной дороге мы выпросили выговор начальнику отдела пассажирских перевозок — теперь можно сдать дело в архив. «Выпросили выговор» — это ли не унижение для недавно всесильных «Правды» или «Известий»!

Эта своеобразная эрозия власти — вовсе не результат демократизации, проводимой сверху. Руководители страны не только не хотят ослабить контроль — они даже не понимают, что он слабеет и думают, будто все идет по-старому. Неправильно также думать, что пресловутая частичная децентрализация промышленности — экономическая реформа — есть добровольное смягчение центрального контроля. Совсем нет! Реформа была неизбежна как единственное средство хоть немного укрепить экономику, доведенную до распада центральным бюрократическим руководством. Лидеры не хотели никаких реформ — они сегодня самые консервативные ли-

деры на свете, — но перед лицом все большего и большего отставания от свободного мира им пришлось стать реформистами. Реформа, таким образом, явилась лишь новым признаком ослабления центральной власти. Она, со своей стороны, порождает цепную реакцию психологических последствий, еще более расшатывающих авторитет Кремля. Причины же ускользания власти из рук ЦК партии — значительно более общие.

Это, во-первых, идеологическая эрозия, наличие которой признают сквозь зубы даже в самом ЦК. Там без конца обсуждается вопрос о «действенности пропаганды», идут разговоры о необходимости ее «интересной подачи», о поисках новых форм. Но «действенность» падает и падает. «Идея становится материальной силой, когда овладевает массами» — изрек в свое время Ленин. Партийное руководство Советского Союза не располагает больше какими-либо привлекательными для населения идеями, и материальные силы руководства неуклонно слабеют.

Затем, конечно, отсутствие животного страха перед власть имущими. Даже секретарь ЦК не может теперь «стереть в порошок» неугодного ему подчиненного. Сталинская «тихая ликвидация» или, пользуясь выражением Оруэлла, «распыления» людей больше не происходит. Я имел уже случай высказать на этих страницах мою точку зрения о том, почему невозможен возврат к «распылению». Добавлю только, что добрая воля руководителей здесь абсолютно ни при чем.

Третья причина вытекает из первых двух: молодое поколение, не доверяющее пропаганде и не испытывающее прежнего смертельного страха, не желает слепо повиноваться приказам свыше. Категорического «так надо!» уже недостаточно для мотивировки распоряжений. Молодые просят объяснений, но единственно верного объяснения — желания сохранить власть — партийные лидеры открыть не могут. И они все чаще наталкивают-

ся на неповиновение и все чаще ничего не могут с этим поделать.

Замечательно, что в России есть немало людей, недовольных ослаблением центральной власти. Я не имею в виду откровенных сталинцев, вздыхающих по «добрым старым временам», хотя есть и такие. Я говорю о людях среднего и старшего поколений, до того привыкших к ярму, что без этого предмета одежды они чувствуют себя неуютно и растерянно. Об отсутствии «твердой руки» вздыхают на всех уровнях — от ЦК до заводского цеха. Необходимость самостоятельно принимать даже незначительные решения ставит в тупик многих людей, воспитанных в атмосфере простого повиновения. Тем более, что угроза ответственности за принятое решение по-прежнему висит над ними. Раньше ответственность в глазах подчиненных нес старший начальник, отдавший приказ. Он, в свою очередь, получал приказ свыше в готовом виде, так что на промежуточных бюрократических звеньях лежала лишь обязанность передачи директив и частичной их детализации. Человек, привыкший за всю свою жизнь к такому стилю работы, естественно, теряется, когда указание свыше не поступает, а снизу спрашивают, что делать. И он, уходя от ответственности, часто говорит: решайте, мол, сами, теперь не старые времена. Это тоже расшатывает авторитет и престиж власти в России..

Но все-таки людей, вздыхающих по «твердой руке», — меньшинство. Большая часть населения, особенно те, кому нет еще сорока, никакой нужды в «твердой руке» не испытывают. Напротив, десятки миллионов русских ныне активно предубеждены против власть имущих. Не только слово «бюрократ», но и слово «начальство» звучит теперь по меньшей мере иронически. Раболепное уважение к большим и малым «вождям» практически выветрилось, и само слово «вожди», применявшееся раньше к членам Политбюро ЦК, начисто исчезло из

употребления. Больше того, сказать сейчас о них «вожди» где-нибудь на собрании — значит навлечь на себя неприятности: могут обвинить в насмешливом отношении к руководителям партии и правительства.

В стране начинает складываться положение, описываемое старой русской поговоркой: Бог свое, а черт свое. Никакие постановления, обещания и даже угрозы Кремля не принимаются обывателем излишне серьезно. Ладно, мол, покричат и перестанут, нечего особенно волноваться.

Люди в России все больше охладевают к так называемой «общественной работе» во всякого рода добровольных и полудобровольных организациях; от общественной работы стараются отвертеться всеми правдами и неправдами. А так как все общественные организации — комсомольская, профсоюзная, содействия армии, редколлегия стенной газеты и прочие — должны существовать в каждом советском учреждении, на каждом предприятии, то людей в них все-таки избирают и назначают. Но эти «общественники» в подавляющем большинстве лишь числятся таковыми и никакой работы не ведут. Если появляется наивный «активист», готовый всерьез вести общественную работу, или человек, желающий сделать таким образом свою карьеру — его моментально и с удовольствием «нагружают» дюжиной разных обязанностей и относятся к такому покровительственно-иронически.

Замирание и формализация «общественной работы», еще недавно столь важной в России, — еще один серьезный признак эрозии идеологии и власти.

Центр тяжести жизни советского гражданина все больше смещается, так сказать, в личную сторону. Идеологическое разочарование и отсутствие веры в мудрое могущество властей ведет к поискам каких-то новых ценностей. В последнее время граждане России уз-

нали слово «хобби», и число людей, обладающих своим особым увлечением, множится на глазах.

Но среди этих «хобби» — не только собирание спичечных этикеток, рыбная ловля или шахматы. Одним из таких «хобби» стала религия. Простите мне цинизм, но это правда.

Новые, большей частью молодые, прихожане церквей и члены многочисленных сект идут в религию не за спасением души (приходя, они не знают ни о первородном грехе, ни о спасении), а для заполнения душевной пустоты х о т ь ч е м - т о. В Советском Союзе есть формальная свобода отправления религиозных обрядов, есть полная свобода антирелигиозной пропаганды, но нет, даже на бумаге, свободы пропаганды религии. Священники знают, к каким последствиям ведет любая их активность, и не занимаются вербовкой прихожан. Тем интереснее бурный рост приходов, что рост этот — естественный. Молодые люди, родившиеся при Сталине, венчаются в церквах, костелах и синагогах, крестят детей, исповедуют умирающих, соборуют и отпевают покойных.

Своим, особым образом, приобщается к религии и интеллигенция. Просвещенному интеллектуалу, да еще иногда с партийным билетом в кармане, неловко идти на богослужение. И он занимается собиранием старинных икон — разумеется, ради их художественной ценности — и совершает паломничества в Киево-Печерскую лавру, в Загорск, в Суздаль, во Владимирские соборы, в церковь Покрова на Нерли — понятно, из интереса к древней архитектуре. У него дома, когда собираются знакомые, идет разговор о пропорциях церковного ансамбля в селе Коломенском, о восстановлении суздальских монастырей, о Сергие Радонежском. Кстати, об этом православном святом, чьим именем названа лавра в нынешнем Загорске, недавно с большим почтением написал журнал русской интеллигенции «Новый мир».

Интеллигентные люди в России пополняют сейчас недостатки своего образования, читая потихоньку Библию и Евангелие. Разговоры на библейские темы очень в моде. Буквально взрыв интереса к этим темам произошел после опубликования в журнале «Москва» романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», где весьма своеобразно излагается история Христа и Понтия Пилата. Но не надо менять местами причины и следствия: не опубликование романа подняло интерес к религии, а оно стало возможным именно вследствие ослабления идеологического гнета и тяги к духовным ценностям. Стоит еще добавить, что скоро, впервые в истории советского режима, будут выпущены библейские истории для детей (в нерелигиозной, так сказать, форме), переложенные патриархом детской литературы Корнеем Чуковским.

Рост религиозных чувств серьезно тревожит партийных руководителей. Но — и это еще один признак ослабления их власти — они решительно ничего не могут против этого предпринять. Последняя атака на церковь в начале 60-х годов, когда было закрыто не менее 10 000 храмов, привела лишь к подъему религиозной волны. И сейчас административный нажим на церковь явно и сильно смягчился, храмы постепенно открываются вновь, обрастают прихожанами. Излишне говорить, что никакого «изменения курса» по отношению к религии в ЦК не произошло — там рады бы покончить с религией хоть завтра, — но просто не имеют сил и средств для борьбы.

Последнее и очень важное обстоятельство, которое нужно отметить, — замедление роста партийных и комсомольских рядов и изменение их социального состава. Люди очень явственно сторонятся сегодня как партии, так и комсомола. В отличие от священников, партийные секретари имеют и право и обязанность вовлекать новых членов в свои «приходы». Членство в партии дает человеку определенные преимущества в смысле карьеры и

связанных с ней материальных благ. И все же численность партийцев и комсомольцев растет очень туго. Люди, которых начинают «вовлекать» в партию, изыскивают всякие предлоги, чтобы отказаться от подачи заявления. Особенно показательно то, что в партию вступает все меньше рабочих и крестьян.

Последнее обстоятельство — постепенное превращение партии в 13-миллионную организацию чиновников — вызывает настоящую панику в Центральном Комитете. Недавно опубликованные цифры говорят как будто, что рабочие и крестьяне все еще составляют больше половины членов КПСС, но в ЦК знают, что это иллюзия: в «рабочих» числится техническая интеллигенция, а в «крестьянах» — председатели колхозов, работники сельских районов, то есть опять же чиновники.

Что до комсомола, то на закрытом пленуме ЦК этой организации была оглашена поистине страшная цифра: за три года (1962 - 1965) из комсомола выбыло пять миллионов человек. Заметьте, что в России не подают заявлений о выходе из комсомола (то есть сегодня подают, но лишь смелые одиночки); молодежь, как было доложено на том же пленуме, поступает так: переходя из школы в институт или на завод, с одного места работы на другое, переезжая из города в город, юноши и девушки «открепляются» в своих комсомольских организациях и получают в запечатанных конвертах личные карточки для «прикрепления» на новом месте, но там не «прикрепляются», а просто рвут карточку, а заодно и свой комсомольский билет.

В сегодняшней России невозможно найти ни одного общественного процесса, который шел бы в обратном направлении — то есть, к упрочению, усилению позиций власти. Вспышки ярости партийных боссов, все эти судилища над писателями и юными демонстрантами за свободу — нормальная составная часть одряхления диктатуры. Отдельные вспышки такого рода способны чуть-

чуть повлиять на дрейф — увести страну немного вправо или назад. Но повернуть главную линию дрейфа на 180 градусов власть не в состоянии.

Меня спрашивают: чем же это кончится? На это можно дать довольно определенный ответ. Однопартийная власть в России вступила в свой последний период — в период заката. Она либо распадется, либо переродится — по югославскому или какому-нибудь другому образцу. И для этого не нужно ни войны, ни иного катаклизма. По-моему, не нужно даже боевой подпольной организации. Оружие, которого еще не хватает моему народу, — правда. Правда о мире, о режиме в стране, о себе самом. Слабеющая власть уже сейчас не может остановить проникновение в страну правды — еще менее успешно сможет она делать это в дальнейшем. И дрейф России кончится выходом в открытый океан свободы.

Когда? Как?

О, если бы знать!

Конец

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I Моя большая страна 5

Глава II Его Величество рабочий класс 44

Глава III Наши славные хлеборобы 89

Глава IV Опасная наука 120

Глава V Творцы подспудных перемен 162

Глава VI Журналисты — подручные партии 219

Глава VII Дружба народов 262

Глава VIII Россия в дрейфе 287